

Юрий Дружников

ДВА С ПОЛОВИНОЙ



романа

Юрий Дружников
ДВА С ПОЛОВИНОЙ
РОМАНА

По рог

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Юрий Дружников

Два

С ПОЛОВИНОЙ

романа

Издательский дом «ПоРог»

Москва

2006

УДК 821.161.1(73)-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Д 76

Юрий Дружников

Д 76 Два с половиной романа — М.: ИД «ПоРог», 2006 — 528с.
ISBN 5-902377-25-0

Что за чертовщина «два с половиной»? Под этой обложкой впервые оказались вместе два самых парадоксальных романа Юрия Дружникова и один микророман. Так получилось, что они больше известны на Западе, чем в России. Странные герои живущего в Калифорнии русского писателя мечутся по глобусу от Урала до Мексики в поисках иллюзорного счастья, как и сам автор, который о смешном пишет грустно, о грустном — смешно, о банальном — оригинально, а о глупости — умно. У читателя есть шанс проверить это самому.

*На обложке картина Леонида Лившица
«Натуральная жизнь»*

© Юрий Дружников, 2006
© Издательский Дом «ПоРог», 2006
© И. Резников, оформление, 2006

ISBN 5-902377-25-0

Д 76

Суперженщина,

ИЛИ

Золотая

корона

для

моей

girlfriend

роман

Часть первая

ПОТРЕПАННЫЙ ПАРУС ЛЮБВИ

Есть лишь три вещи,
о которых стоит писать:
любовь, смерть, деньги.

Эрнест Хемингуэй

1.

Притворив дверь в аудиторию, я написал на доске тему, начал говорить и вижу, что этот старик опять сидит прямо напротив кафедры. Расселся, смотрит мне в рот и, сопя, вместе с воздухом втягивает в себя через нос, похожий на сношенный детский ботинок, все, что я рассказываю. Не каждый день попадают столь увлеченные студенты.

Лекции мои по русской поэзии Серебряного века согласно расписанию, составленному безмозглым компьютером, которому без разницы что поэма что

.....

теорема, начинаются в восемь утра. Студенты опаздывают, сидят сонные, медленно приходят в себя. Да еще курс этот читается в основном по-русски. Понимание у американских слушателей не блестящее, а спросонья хуже, чем днем. Если переспрашивают, приходится кратко пояснить на общедоступном английском.

Речь сегодня идет об истоках символизма и, в частности, трех сборниках Брюсова, утверждающих эту волнительную тему. Сам я давно уже не волнуюсь. Декларирую, правда, эмоционально, но это внешнее, просто привычка. Говорю весьма автоматически, без всяких бумажек, — таков с годами выработанный профессионализм. Медленно, немного актерствуя, с паузами читаю Брюсова:

— Я одною мечтою волнуем:
Умирать, не поверив мечтам,
Но пред смертью припасть поцелуем
К дорогим побледневшим губам.

Меня слушает также старый развесистый инжир, растущий вплотную к окну и, чтобы лучше слышать, прилепивший резные потные листья к оконным стеклам. Под деревом блестит медная мемориальная дощечка, сообщающая, что некая леди посадила этот инжир в дар Калифорнийскому университету. Из-за инжира, вымахавшего до крыши, солнце не проникает в аудиторию, а лампы включать неохота: они дневного света, и у одной из них, прямо надо мной, дребезжит дроссель.

У меня наготове несколько хорошо отрепетированных экспромтов. Студенты, кроме тех, кто досыпает после загульной ночи, смеются, когда, проверяя

.....

яность их мозгов, я выдаю из припасенного очередную шутку. А чтобы не скучно было самому, разглядываю сидящих, одного за другим.

О, да! вас, женщины, к себе воззвал я сам
От ложа душного, из склепий, с перепутий,
И отдавались мы вдвоем одной минуте,
И вместе мчало нас течение по камням.

Жуткий образ вечного любовника, за которым толпой тянутся бывшие и нынешние подруги. Вот уж действительно злой рок Брюсова.

По лицам в аудитории вижу, что слова мои булькают у студентов в ушах, как пузырьки в кипящем чайнике, или шуршат, как прибой на близлежащем берегу Тихого океана. Некоторые сидят как вкопанные, иные даже с блеском в глазах, но без особого энтузиазма, как обычно на лекциях слушают любой другой учебный материал вроде статистики или программирования. В общем, накапливают то, что придется удержать в памяти до ближайшего экзамена, а после него выбросить из головы на ненадобность.

В классе две трети — девочки, есть симпатичные, с коленками и прочее, но и они спозаранок не в лучшей форме. Принесли с собой завтраки, едят, потягивая через трубочки кофе из картонных стаканчиков, потом начинают причесываться. Одна полулежит, задрав ноги на спинки стульев, будто в гинекологическом кресле. Слева передо мной молодая мать-одиночка вынула грудь и сует сосок в рот младенцу. Мать белая, ребеночек черный. Он корчит рожи, отплевывается и косит глазенки на меня: видимо, дитятю больше интересуется не молоко, а проблемы русского символизма.

Рядом с кормящей студенткой — тут я задерживаю взгляд — сидит старик с козлиной бороденкой и гривой ярко-рыжих волос, окружающих загорелую лысину. Бронзовая физиономия прорезана глубокими морщинами и обветрена, кожа шелушится. Одет, как все, в майку и шорты, сильно волосатые ноги — в сандалиях без носков. На майке нарисована улыбчивая корова с выменем, похожим на воздушный шар. Из рта коровы выпархивает облачко слов: «Non fat only!»*.

Вообще-то возраст иных студентов меня уже давно не удивляет. Люди средних лет вдруг решают сменить профессию и устремляются в университет. Пожилая леди, с тоской отулыбавшись двадцать лет за стойкой в банке и сбежав на пенсию, мечтает занять себя чем-то более романтичным, например, керамикой.

Помню, семидесятилетнего с гаком бывшего морского пехотинца, которого во время Второй мировой войны занесло под Мурманск. Мужик сидел у меня на лекциях по истории цензуры несколько лет назад. Всю жизнь, объяснил он, ему не давали покоя выражения, которые слышал от русских моряков, но в словарях ничего подобного не отыскивалось. Выражения те я, как вы догадываетесь, понял, но точно перевести их на английский не было никакой возможности. «Ничего! — воскликнул престарелый морской пехотинец. — Буду употреблять их в оригинале».

В семинаре для молодых писателей в прошлом году объявился почтальон по имени Боб, который двадцать семь лет, разнося почту, ходил от дома к дому с ультразвуковым прибором на шее, отпугивающим собак. Чтобы скоротать время, Боб что-то бормотал себе под нос в ритме собачьего лая. Он дорифмовал-

* «Только обезжиренное!»

.....

ся до того, что к пенсии ощутил себя поэтом. К несчастью, по документам он значился Робертом Фростом, и это, как вы понимаете, был капкан. В нью-йоркском «Новом журнале» Александр Пушкин печатал стихи, но он хотя бы действительный потомок. Сперва он гордо подписывался Александр А. Пушкин, но постепенно пришел к разумному выводу, что спокойнее жить под псевдонимом, разгласить который было бы с моей стороны неэтично.

Словом, настоящий совет престарелому студенту Роберту Фросту был немудреным: взять псевдоним, ну хотя бы Bob Postman, то есть Боб Почтальон. Недавно в престижном литературном журнале «Потомак ревью» мне попались стихи с подписью под ними: Bob Postman. Выходит, почтальон не зря бормотал под лай собак, разнося письма.

Символизм Серебряного века продолжал между тем сам собой излагаться, частично улетая в никуда, частично втягиваясь ушами студентов и ноздрями сидящего напротив старика. Воеет, как пылесос! Или нет, скорее, как изношенный кондиционер. Сколько же ему лет?

Для американцев в некотором возрасте календарь останавливается. Да уж наверняка за семьдесят пять. А выглядит вполне спортивно, не смыкает глаз от утомления, смеется, когда смеются все, хотя и с задержкой. На лекции приходит загодя, чтобы занять место получше, свеженький, прямо из душа. Сидит, обняв стоящий на коленях рюкзачок с привязанным к нему велосипедным шлемом, и шевелит губами, как я вскоре сообразил, бормоча про себя слово в слово, будто молитву, то, что произношу я. Такой преданности русскому символизму от юных студентов не дожدهмся.

.....

У нас в Калифорнии вообще-то великое множество более занимательных, приятных, а главное, практически полезных вещей, чем мои лекции. На кой леший дался ему Серебряный век? Но и этот вопрос проскочил в подкорке мимоходом, через какую-то боковую извилину, пока я договаривал заключительные фразы. Полтора часа истекло; в двери уже маячила тощая фигура профессора Пита Хейтера, специалиста по Хемингуэю.

Выйдя на улицу, я мгновенно очутился в муравейнике. Со всех сторон и во всех направлениях студенты мчались на велосипедах, роликах и досках, чудом ухитряясь не сбивать друг друга. Возле меня резко тормозили, что-то спрашивали, исчезали. По дороге я задержался у киоска со сладостями, взял стаканчик кофе — бескофеинового, без сахара и безвкусного. На ходу посаывая эту бурду из трубочки и пробираясь через велосипедный хаос, заспешил в свой офис на приемный час.

Вереница студентов уже сидела на полу вдоль коридора, возле моей двери, в ожидании: я топал пешком, а они на велосипедах. Рыжий старик с ботинкообразным носом тоже сидел на полу, — в самом хвосте. Заходили по очереди. Быстро разобравшись с вопросами, просьбами и жалобами, я отглотнул остывший кофе. Тут старик оперся о косяк двери и застыл.

— Не отрываю? — хрипловато спросил он. — Мне очень нравятся ваши лекции, сэр. Весьма содержательные!

Понятно, что не ради дежурной похвалы он возник. Пожав ему руку, я жестом указал на стул. Он представился:

— Меня зовут Кен. Кен Стемп.

И сопя уселся, опустив на пол шлем и прижав рюкзачок обеими руками к животу. Мне померещилось,

что с шеи его свисает на веревочке крест, но, разглядев, понял, что это ключ от велосипедного замка.

— Чем могу помочь? — механически спросил я, выбирая неотложные письма из горы на столе.

— Мне срочно надо взять русский.

Господи, как часто слышишь это «срочно»! И не только от глупых людей... Почему они идут ко мне, а не к лингвистам?

— Язык? — уточняю. — Запросто! Для этого вовсе не обязательно ходить в университет. Загляните в книжную лавку на кампусе: на днях видел там пособие «Русский за 15 минут». Откройте — и...

— Открыл, сэр, — сморщив нос, разочарованно прогундосил он. — За пятнадцать минут не получается.

— К какому числу вам нужен русский?

Насмешка прошла мимо него, не задела.

— Желательно немедленно.

Оставалось только вздохнуть. Весь разговор шел, естественно, по-английски. Однако лекции, которые его так вдохновили, читались по-русски. В классе он весьма живо реагировал, посему пришлось полюбопытствовать:

— Не трудно вам слушать лекции на русском?

— Напротив, очень легко, — вежливо улыбнулся он. — Ведь я не понимаю.

— Чего же вы не попросите перевести непонятное место?

— До вас еще не дошло, — уточнил он. — Кроме сказанного по-английски, я аб-со-лют-но ничего не просекаю.

Тут уж я если не удивился, то взглянул на него с интересом.

— Ни единого слова?

.....

— Почему же? — обиделся он. — Знаю *пирожки, товарищ, ню ладна... и топ-топ*. «Топ-топ» мама говорила, когда я был маленький. Она знала польский и русский. Однако вы эти слова почему-то не употребляете.

— Послушайте, дорогой Кен! Этот же курс я читаю по-английски, правда, в следующей четверти. Может, вам прийти туда?

— Ни в коем случае! Я вбираю музыку.

— Какую музыку?

— Музыку русской речи. Слов я, к сожалению, пока еще не ловлю... Впрочем, кое-что... Кстати, кто такой — Который? Этого человека вы часто упоминаете... Известный поэт-символист?

Стало ясно, что он не скромничает насчет уровня своего понимания.

— Местоимение это! — мрачно выдавил я.

Кен поскущел.

Почему американцы обращаются вдруг к русской сфере — всегда загадка. Мотивы различны: от необходимости, связанной с большим бизнесом, до простой скуки. Одна студентка два года зубрила русские поговорки и сыпала их, как орехи из мешка. Зачем они ей, ведь сегодня никто поговорками не выражается? «А чтобы на танцах болтать такое, чего никто не понимает, — объяснила она. — Парни просто балдеют».

Мы не спрашиваем, зачем студенту русский. Каждый сам рано или поздно захочет объяснить свою тягу в надежде получить совет. Вот и Кен когда-нибудь расколется. Но оказалось, не когда-нибудь, а тут же.

— Мне очень срочно, по жизненным показаниям, нужен ваш язык, сэр, — повторил Кен. — Моя новая girlfriend — русская, совершенно без английского. Необходимо с ней общаться...

-
- И как же вы собираетесь взять за рога русский? На мгновение он задумался.
 - Знаете, откуда ребенок берет язык? Из воздуха.
 - Простите за нескромность: сколько вам?
 - Восемьдесят четыре, — Кен оглядел себя и пригладил козлиную бородку. — А что?
 - А то, что вы уже не ребенок.
 - Но я в полном порядке!
 - Не сомневаюсь ни секунды. Так вот: у нас хорошие инструкторы и великолепные программы для работы с говорящими компьютерами. Приходится каторжно долбить лексику, грамматику, диалог, перевод и прочее. Через три года...
 - Три года?! Да я сейчас в нее влюблен, а объясниться не могу.
 - Наймите переводчика, черт побери!
 - Уже думал об этом. Но получится как-то не комфортно: в кровати я с моей girlfriend, а под кроватью переводчик.
 - Действительно...
 - И вот я решил на ваших лекциях убить двух зайцев разом: вбираю в себя язык и заодно поэзию, — огромными ноздрями он втянул воздух, демонстрируя свой метод. — Знание русской поэзии в моей ситуации тоже исключительно важно, прямо-таки остро необходимо!
- Озабоченный несколькими неотложными делами, я пропустил мимо ушей последнюю его фразу, а зря. Все повторяется в подлунном мире, и все меньше удивляешься. Даже молодые американцы тратят годы нудного труда на овладение чужим языком, чтобы сделать его своим ремеслом: ездят в российскую глубинку на практику, учатся пить водку, чтобы понять ненормативную лексику. А восьмидесятичетырехлет-

.....

ний Кен Стемп хочет взять язык с ходу, из воздуха. Ему, видите ли, надо объясняться с новой бабой.

— Стало быть, она из недавних эмигранток, — скорее констатировал, чем спросил я, глядя на него и прикидывая ее возможный возраст.

— Вы угадали!

По нынешним временам этой русской может быть и восемнадцать, чего особенного? А то и меньше, но с нимфетками в Америке строго: сядешь сразу, а выйдешь, когда нимфетка уже будет на пенсии. Впрочем, эмигрантки, в отличие от американок, вряд ли, встав с постели, побегут в полицию.

— Конечно, она недавно из России! — воскликнул Кен гордо. — И между прочим, она — тоже выдающийся поэт двадцатого века.

Оп-па! Этот бодрячок все-таки заставил меня удивиться.

— Выдающаяся поэтесса? Как ее фамилия?

— Не помню, — смутился он. — Имена с трудом отпечатываются в моей памяти, утомленной службой. Ее зовут Лилия. Глядится она оч-чень секси! Гений чистой красоты, как сказал один ваш поэт. Кто именно, если вам нужно, я постараюсь вспомнить позже. Главное, что она девушка моей мечты!

— Не сомневаюсь, коль скоро она вам так нравится.

— Нравится? Да я, если хотите знать, от нее без ума! Даже яхту решил отдать старшему сыну, чтобы не отвлекала меня от Лилии. Я чувствую, как молодею с каждым днем. Скоро смогу плюнуть на диету. И язык возьму, я упертый!

Повесив на одно плечо рюкзачок, а на другое шлем, старик отчалил из кабинета, разочарованный моим скепсисом.



2.

Нет, Кен Стемп не только не обиделся, но приперся опять. Каждый имеет право ввалиться к вам в приемные часы, нести любую чушь, и вы обязаны доброжелательно слушать. В коридоре толпились студенты, у них были вполне практические вопросы. Дождавшись своей очереди, Кен расселся капитально, и никакими намеками его не удавалось выкурить из кабинета. Он сиял. Ему нужен был слушатель. Ему не терпелось поделиться избытками счастья. Как все американцы, преуспевшие в деле, он обожал рассказывать о себе.

— Мне было года три, когда родители приплыли в Калифорнию из Польши...

Отец и мать Стемповски считали себя социалистами еще на родине, но их родина в светлое будущее спешить не хотела. Кто-то надоумил, что Америка для этого созрела, и они перебрались за океан. Для упрощения жизни портной Стемповски отрезал ровно пятьдесят процентов букв своей фамилии, выкроив, таким образом, первую половину — Стемп, а к сыну пришел простое американское имя Кен. Осталось осуществить заветную цель, для которой Америка созрела.

— Все было бы неплохо в Соединенных Штатах, если бы не отсутствие социализма, — сказал Кен. — Первая мировая война подточила Европу, но и тут, на западе США, сладкой жизнью не пахло. И чем тяжелей мои родители работали, тем больше мечтали о всеобщем рае.

— Где они сейчас? — не подумав о его возрасте, спросил я.

— В раю, — просто ответил Кен.

Польский язык он совсем забыл, а может, и не знал толком никогда. Новую европейскую войну оттаранил в военной разведке в Германии, побывал в разоренной Польше, оттуда вывез дочку бывших соседей, училку английского языка, женился на ней, она родила ему двух сыновей. Умерла его жена пятнадцать лет назад.

— Теперь у меня пятеро внуков, — он поднял руку, продемонстрировав пять пальцев, — но играть с ними не хочется. Я устал на госслужбе и теперь отдыхаю на пенсии. Точнее, на трех пенсиях: военной, штата Калифорния и по старости. Так что я застрахован от нужды и медицинских расходов. Уйдя на пенсию, я понял, как скучно быть чиновником.

— Каким чиновником? — поинтересовался я.

— Служил в Collection Agency.

Суть этой службы я плохо представляю. От встреч с данным ведомством Господь меня пока хранил. Слышал только, что это Агентство по собиранию долгов.

— Чем же вы занимались, если не секрет?

— С утра до вечера сидел на телефоне, вымогая деньги у злостных должников. У тех, кто добровольно не платит и скрывается. Например, у алиментщиков. Или у алкашей, которых оштрафовали за то, что пили на улице или сели за руль. Или у родителей, если их ребенок чего-то натворил. Разыскивал через полицию и звонил им. Говорят, даром только сыр в мышеловке, но и это не в Америке; за все здесь надо платить. Например, человек вышел из тюрьмы, и после пребывания за решеткой, как в гостинице, обязан по закону заплатить. Немного, но должен: сорок один доллар за каждый просиженный месяц.

— Неужели? Вот не знал!

— Потому что не сидели. Сядете — узнаете.
— А если человек отказывается платить?
— Хе! За то мне и начисляли зарплату! Один сиделец упорно отказывался: «Тюрьма была не такая хорошая, — возражал он, — чтобы я за нее платил». Накладываю арест на его банковский счет. Обращаюсь к работодателю — изымать из зарплаты. «Ваш ребенок, — говорю я родителям, — разбил камнем в парке лампочку, и придется заплатить штраф пятнадцать долларов. А ввести этот штраф в компьютер будет стоить сорок семь долларов. Выбирайте, о'кей?» Или вот: поймали парня, который возле общежития подглядывал в окна за девочками. Каждый вечер, когда студентки раздевались, принимали душ и все такое прочее, этот сталкер приносил складное кресло, пиво, располагался на пригорке между деревьями и имел свой кайф.

— А вы-то тут при чем?
— Кресло и пиво больше всего возмутили судью. Он сказал: «Ню ладна!» — и присудил штраф один миллион долларов.

— Где же парнишке взять миллион? Грабить банк?
— Опять для этого был я. Ему прописали платить в казну по тридцать долларов в неделю. Когда сталкер забывал отправить сию небольшую сумму, я звонил с вопросом: «У тебя не возникло желание посидеть за решеткой?» И агентство получало очередной чек.

— Погодите! Выходит, он все выплатит через шестьсот лет?

— Через шестьсот сорок один год. Значит, клерки в Collection Agency без работы не останутся. Так я обрабатывал четыреста человек в месяц, пополняя бюджет штата Калифорния. Скажу вам откровенно:

.....

то был хороший опыт по изучению плохих людей. Мой серебряный век! Но — труд изматывающий: ведь норма — до двухсот звонков в день. Конечно, моя военная дисциплина пригодилась, но дома я только спал. Может, поэтому, когда умерла жена, я не нашел себе подруги. Дети разъехались, я бобылял. И вот теперь... Наконец-то!

— Ну как ваша любовь? — спросил я, полагая, что, рассказав мне про свою girlfriend, он уйдет.

Кен жаждал этого вопроса и обрадовался зацепке перейти от дел к чувствам.

— Мы продолжаем сближаться, — торжественным шепотом произнес он. — Теперь — на идеологической основе.

— Это как?

Мельком я настороженно взглянул на Кена, ибо мыслишка о его психическом неблагополучии уже проскакивала у меня в подкорке.

— Как вы относитесь, — сделал паузу он, пристально взглядываясь мне в глаза, — к социалистическим идеям?

Российское прошлое выработало в нас некую иронию к такого сорта людям. На этот скепсис повлиял теперь западный плюрализм. Но не совсем.

— Видите ли... Это очень хороший вопрос, — промямлил я, чтобы не навязывать своей ориентации.

Но оказалось, Кен вовсе не нуждался в моем ответе.

— Перед вами убежденный социалист, как и мои родители. И мы с Лилией с этого пути не свернем!

Теряя последнюю надежду на спасение, я приуныл:

— Неужели нет хоть какой-нибудь альтернативы?

— Зря сомневаетесь! Вопрос только времени. Сложно руки я не сижусь.

— Готовите революцию?

— Э-э-э... Не такую, как большевики. Медленную. Пишу письма протеста империалистам типа Макдоналдса, Сороса или Гейтса. Протестую против... да против всего! Макдоналдс продает жареное мясо и таким образом повышает холестерин у нас в крови. Сорос транжирит свои деньги — они нужны простому народу. А Гейтс, этот сопляк, вообще хочет установить тотальный компьютерный контроль над человечеством!

— Империалисты отвечают на ваши письма?

— Отвечают... Не лично почему-то. Секретари их благодарят меня за конструктивную критику. И ничего не меняется! Однако же я не сдаюсь. Купил новый компьютер и пишу, пишу, пишу... Вы пьете кока-колу?

— Молодежь ее хлещет, а я вообще-то в рот не беру.

— Очень разумно! Значит готовите себя для жизни при социализме.

— В каком смысле? — опять испугался я.

— Да ведь кока-кола своим обилием сахара всех нас превращает в диабетиков, чтобы в светлом будущем мы страдали.

— Ах вот оно что!

— Конечно, я протестую письменно, но шансы невелики. Когда Россия и Польша перевернулись вверх ногами, я загорелся. Вот где будет социализм с человеческим лицом! Они могут. Надо только наладить поступление денег в казну. И я решил им помочь открыть Collection Agency. Ведь там это еще нужнее, чем в Штатах!

— Неужели открыли?

— Представьте себе, теперь — да! В Москве. С помощью Лилии я нашел канал к их коммунистам. Они

.....

попросили займы деньги на развитие идеи. Дал сколько мог. Там составили списки злостных неплательщиков, скрывающихся от правосудия.

— И стали им звонить?

— В том-то и дело, что позвонили только один раз. Первый же должник сказал, что если они позвонят второй раз, он пришлет киллера.

— А деньги, которые вы им одолжили?

— Пишу им, спрашиваю, но ответа почему-то нет...

— Знаете, в России говорят: берешь на время, отдаешь насовсем.

— Ха! Позвольте я запишу это выражение. Ведь мне надо открыть Collection Agency в Варшаве... Провал эксперимента еще больше убедил меня в целесообразности ваших коммунистических идей.

— Моих?! Но я от них бежал...

— И зря! Макдоналдс, и Сорос, и Гейтс, и ваши новые русские, которые роют себе капиталистическую яму, вели бы себя совсем иначе при социалистической плановой экономике. В ней — будущее человечества. Именно это сближает меня с моей любимой Лилией. Она — настоящий товарищ!

— О, господи! Родство душ! — воскликнул я в восхищении. — Наконец-то в нашем графстве будет своя маленькая парторганизация!

С юмором у Кена имелись сложности, возможно, из-за вредной работы в Collection Agency.

— Несомненно! — кивнул он. — Однако нам с Лилией нужен общий язык не только для проведения партсобраний...

«Для чего ж еще?» — хотелось съязвить. Но зазвонил телефон. В аудитории собралась публика слушать лекцию писателя из Чехии, меня просили представить его собравшимся.

— Может, я вас задерживаю? — спохватился Кен.
— Что вы! Мне было очень приятно.
Пожав его волосатую руку, я убежал.

3.

В субботу утром мы с женой поехали лечить мои старые кости в Уилбер Хат Спрингс. Лера позвонила туда накануне и зарезервировала два места.

Начинался стандартный осенний солнечный день. Прохладный ветер дул с океана, но, перевалив через горную гряду, изрядно ослаб и потеплел, так что можно было открыть в машине крышу. Рисовые поля зеленели по обе стороны от Пятого фривея, ведущего в Канаду, но туда мы сейчас не собирались: до Уилбер Хат Спрингс — горячих источников — от нашего дома час с небольшим.

Выйдя с Пятого фривея на Двадцатую дорогу, мы стали петлять по серпантину, забираясь все выше в горы, а потом, возле горной речушки, свернули на узкий уступ, и колеса запрыгали по камням между скрюченными деревьями, цепляя высохшие кусты.

Через пять миль пришлось остановиться, открыть железные ворота, потом опять остановиться, чтобы их закрыть, — все гости тут на самообслуживании. Еще миля тряской дороги, и вот неухоженный парк Уилбер. Слева — калитка, ведущая к ваннам, справа — старомодный деревянный особняк. У входа девушка за конторкой, дочь хозяйки, берет с носа за визит тридцать пять баксов плюс калифорнийский налог.

Все тут почти по-домашнему, даже обувь снимают на терраске. Электричества, телевизора, музыки —

.....

ничего такого в Уилбере нет. На кухне кто-то громы-хает кастрюлями, в гостиной на диване некто спит, закрыв лицо журналом. Главное — покой, сказал бы даже, освобождение от условностей. Жизнь в Уилбере, говорят, остается такой же, как в середине прошлого века, когда индейцы лечились здесь от всех болезней.

Автомобиль у входа надолго оставлять нельзя, чтобы не нарушать девственность пейзажа. Пришлось зарулить на парковку и минут пятнадцать топтать назад пешком. Когда я вернулся, Лера уже разделась и сидела в каменной ванне. Точнее, во второй, ибо там их три. Первая чересчур обжигающая, третья — чуть теплая. Горячая вода из серного источника, бьющего из-под земли, перетекает из одной выдолбленной в скале ванны в другую, остывает и оказывается в бассейне для плавания, так что можно выбрать температуру по вкусу.

Специфический серный запах, впрочем, довольно приятный, висел под обширной кровлей. Каменные ванны продолговатые, в каждой поместится человек пятнадцать, если не больше. Народу, несмотря на уикенд, немного.

Несколько мужчин и женщин средних лет (видимо, одна компания) сидели по горло в горячей воде, изредка перебрасываясь словами в облачке пара. Двое молодых людей, очутившихся здесь, наверное, в первый раз, полулежа в шезлонгах, с изумлением пожирали глазами обнаженных женщин. Три молоденькие японки, похожие на подростков, не скрывая любопытства, разглядывали у проходящих мужчин то, что обычно скрыто, и, хотя делать этого здесь нельзя, фотографировали — правда, только себя.

Все прочие леди и джентльмены были равнодушны друг к другу. Или, по меньшей мере, делали вид.

.....

Плюхались в ванны, застывали, как крокодилы, вылезали, шли к бассейну или к ручью, лежали в шезлонгах под тенью деревьев, перекидывались репликами или читали.

Поскольку одетым оставался один я, надо было уравниваться с остальными, что я и сделал. Вода в первый момент обожгла, но тело быстро адаптировалось, и осталась одна приятность. Вокруг дремали в легкой дымке горы, покрытые низкими деревцами. Мелкие облачка, видимые сквозь щели в кровле над ваннами, плыли не спеша, навевая сонливость.

Не знаю, насколько серные ванны лечат, но всякие боли утихомириваются, стрессы отмокают, заботы улечиваются, и сам весь становишься легче. Блаженство! В какое-то мгновение кажется, вот-вот вознесешься на небо. Но потом видишь вокруг себя в изобилии женские прелести и понимаешь, что с вознесением лучше не спешить. Родена бы сюда вместе с французскими импрессионистами — не пришлось бы им нанимать натурщиц.

Лера потянула меня за руку, чтобы я не очень залеживался в ванне, и мы отправились в тень — остыть и обсохнуть под развесистым дубом.

— Сдрасуйте! — воскликнул почти по-русски человек и тут же перешел на нормальный английский. — Вы тоже лечите артрит?

Вздыхнув, я рассеянно кивнул:

— И все остальные болезни — тоже...

Тут он бодро вскочил со скамейки и расставил перед нами руки, загораживая проход.

— Артрит сближает души, — он засмеялся, довольный своей шуткой, и обратился к моей жене: — Мне кажется, ваш муж меня от неожиданности не узнал... Я его студент Кен Стемп.

.....

Отступив на шаг, он оглядел Леру с головы до ног и, с шумом втянув носом воздух, причмокнул и объявил:

— Вы замечательно выглядите, мадам.

Комплимент, поскольку все раздеты, звучал несколько фривольно.

Сам-то голый Кен не выглядел тем бодрячком-студентом, а скорее напоминал немощных старичков-натурщиков, которых рисовали классики. Он охотно объяснил, почему остался неузнанным:

— Раньше я красил волосы в рыжий цвет, а теперь мне надо выглядеть постарше.

— Чего вдруг? — не понял я. — Вы ведь вроде влюбились...

— Вот именно! Не могу же я смотреться моложе моей девочки, и теперь, как видите, крашу волосы в черный цвет с проседью.

Он хихикнул, повернулся и позвал:

— Лилия! Делай топ-топ здесь...

Русский у него, несомненно, стал богаче, но на счет его выбора я, говоря строго между нами, засомневался.

Со скамьи торжественно поднялась длинная, как жердь, старуха неопределенного возраста с прилипшими к животу желтыми грудями, между которыми болтались крупные, как спелый виноград, янтарные бусы — ее единственная одежда, если не считать красных туфель на высоких каблуках. Все тут ходили босиком, и каблуки делали ее наготу в определенном смысле неуместной: нагие женщины на высоких каблуках ходят, как известно, в других местах.

Вблизи, однако, она оказалась приятней. Уж конечно, не Елена Прекрасная, но и не Баба-Яга. Видимо, из-за макияжа цвет лица у нее разительно отли-

.....

чался от остального тела. Высокий, бледный от пудры лоб и нарумяненные щеки почти гладкие, только шея, грудь и живот в морщинах. Шоколадные волосы казались, а может, и были париком — коротко стриженные и оформленные в виде множества геометрически организованных завитков вокруг лба, больших, слегка затемненных очков и загорелых ушей.

Возраст, как заметил еще Мопассан, выдавали и руки, которые пожилые француженки прятали в длинные, по локоть, перчатки. У нее был ярко-красный маникюр. Количество колец превышало число слегка скрюченных пальцев. Сухие колени несколько торчали вперед, будто она собиралась вот-вот сорваться со старта.

Внимательно оглядев мою жену, она отошла от нее подальше, чтобы избежать сравнения. И зря. По-своему эта женщина была красива. Некий волшебный флюид или дурман распространялся вокруг нее — не в силах я объяснить, что именно: не хватает знаний в оккультных науках.

Впервые в жизни я подумал, что женское тело настолько совершенно, что возраст его меняет, но испортить не может. Что-то остается от совершенства линий, и даже, клянусь — ведь думалось об этом при стоящей рядом жене, — сохраняется сексуальная привлекательность. Плюс приобретается нечто (как бы выразиться точнее?) ветеранское. Так старого солдата украшают шрамы. Тело становится вечным. Голые старухи прекрасны — говорю с полным основанием, вы меня не переубедите. Будь я художником, умолил бы эту женщину мне позировать.

— Вот и Лилия, моя girlfriend! — гордо сообщил Кен, глядя на нее с восхищением. — Я вам о ней рассказывал. Можете беседовать с ней по-русски. Знае-

те ведь, для меня это чисто музыкальное удовольствие.

Я ей поклонился:

— Можно по-русски?

— Нужно по-русски! — тряхнула головой она. — Ведь я ничегошеньки не понимаю на тутошнем тарбарском наречии.

Лилия была выше Кена на голову, и он продолжал с восторгом пожирать ее глазами снизу вверх. Мне нравилось, что она, в отличие от многих пожилых женщин, нисколько не стеснялась ни своей наготы, ни старости.

— Скажите ей, что вы тот самый профессор, у которого я слушаю лекции, — встрял Кен. — Объясните ей, что уже совсем скоро я заговорю по-русски, и ей не будет со мной скучно.

Жена моя с тревогой подняла глаза, мгновенно почувствовав, что меня не только заставляют говорить чужие мысли, но и принуждают выступить в качестве лжесвидетеля.

— Ваш друг Кен, — перефразировал я, — с увлечением знакомится с поэзией и стремится освоить язык.

— Да что он может понять в поэзии? — возмутилась она и передразнила: — Пирóжки... Русский его просто ужасен!

Она вдруг вспомнила, что митингует голая, и, прикрыв одной рукой обвисшие груди, а другой еще кое-что, стала напоминать Венеру, если бы у той сохранились руки. Или, точнее, пародию на Венеру. Впрочем, линия плеч у Лилии сохранилась красивая, балетная, как у Майи Плисецкой. Не лицо, и уж никак не фигура, но низкий и глубокий бархатный голос ее почудился мне знакомым. Наверняка я слышал этот голос, но, дай Бог память, где и когда?

— Может, заодно переведете то, что я решил, наконец, ей объявить? — опять пристал Кен, не давая нам возможности хотя бы перебраться парой ничего не значащих слов, а ведь сам предложил с ней пообщаться.

— Что именно? — спросил я.

— Скажите ей, что я люблю ее безумно, как ваш Ленский то ли Татьяну, то ли Ольгу. Что ни одна женщина в мире не производила на меня такого глубокого впечатления, как она, а у меня их было до и после жены... ну, скажем, несколько десятков. Объясните ей, что я привез ее в Уилбер Хат Спрингс потому, что мне хотелось посмотреть на нее, так сказать, в естественном виде. Нельзя же, черт побери, жениться, не посмотрев. Тут, в Уилбере, я понял, что она прелестней, чем Мэрилин Монро и Джулия Робертс вместе взятые. И я прошу ее руки. Нью ладна?

Он с обожанием глядел на нее, как говорится, раздевающим взглядом, что звучит смешно, поскольку именно раздевать-то уже было нечего. При этом объяснялся он мне, ибо она не понимала.

Не то чтобы я растерялся, но замешкался. Мне показалось, Лилия и без перевода уже сообразила, о чем речь. Но я ошибся.

— Вот так всегда, — вздохнула она. — Бормочет какую-то чушь и думает, что всем интересно. Чего ему теперь от меня надо?

Открытость этой женщины в расчете на то, что Кен не понимал, несколько смущала. Но хамские слова Лилия произносила мягко, почти ласково, как бы с усмешкой. И вообще, у нее было что-то от родного московского бомонда.

— Бывают странные сближенья, как давно замечено. Тут, возле заборчика, цвели несколько лилий — я вижу

.....

их в Калифорнии в разных местах. Это удивительные фиолетовые цветы: стройные, длинные стебли совершенно без листьев. Называется такой цветок (уж не знаю, какой романтик до этого додумался) *naked woman* — голая женщина.

Кен покрутил пальцем в воздухе, напоминая про перевод. Я глянул на жену в надежде, что она это делает. Лера отрицательно покачала головой, прошептала:

— Делай сам. Предложение — мужская работа...

Пришлось мне предлагать Лилии руку и сердце, хотя и не свои.

Думается, нет женщины на свете, которая хотя бы не замерла, когда ей делают предложение. Едва я произнес вышеприведенный Кеновский монолог, опустив на всякий случай, статистику сексуальных связей, умолкла и Лилия. Только взгляд ее перебежал с Кена на меня.

Она растерялась. Скорей всего, не могла решить, серьезно то, что ею услышано, или спланированный розыгрыш. Ситуация, согласитесь, неординарная. От напряжения у Лилии выступили слезы. Ее стало жаль.

Кен, пребывавший в непонимании в связи с паузой и недовольством на ее лице, решил выдвинуть новые весомые доказательства серьезности своих намерений.

— Зачем ей жить в доме для престарелых? Свой дом, скажите ей, нам покупать не надо, он у меня в Сакраменто, на берегу реки. Не модерн, но недавно отремонтированный, вполне просторный, на четыре спальни. На крыше черепица, оконные рамы и водостоки новые. И земли два с половиной акра. Расположено высоко, так что паводок даже сад не залива-

ет. Уютное гнездышко. Яхту я отдал сыну, но теперь возьму обратно, и мы будем наслаждаться плаванием по Тихому океану. Вдоль побережья, без героических переходов. Поднимем парус нашей любви!

Неужели поэзия Серебряного века произвела-таки на него некоторое воздействие? Пришлось мне перевести и вторую половину его предложения. Лилия захлопала густо накрашенными ресницами, смахнула из-под них пальцем слезинки, скривила рот, вроде как бы усмехнувшись, и вдруг спросила после еще одной длинной паузы:

— Он что — издевается надо мной?

— Что вы! Кен абсолютно серьезен.

— А если серьезен, зачем предлагает подобные глупости? Я уже была замужем восемнадцать раз официально, а фактически — со счета сбилась. Да он просто идиот!

Тут она убавила громкость и без всяких эмоций пробормотала:

— Этого переводить не следует, молодой человек. А переведите вот что...

Глаза у нее лихо сверкнули, улыбка возрожденно-го счастья озарила мгновенно помолодевшее лицо. Взглянув на Кена, она кокетливо хлопнула ресницами и, сделав некое замысловатое вращение нижней частью торса, прошептала:

— Да, дорогой! Если ты настаиваешь, я согласна.

Кен подпрыгнул на месте, как мальчик, которому пообещали, что дадут самому сесть за руль.

— Yes, я понимать! — радостно крикнул он.

Плечи его расправились, впалая грудь стала, надуваясь, округляться. Он шагнул назад, создавая дистанцию между собой и нами, засопел, втягивая воздух, как мою лекцию, и вдруг запел:

— The fire of love within me burning,
 You touched so deeply this soul of mine,
 Please kiss me more, oh kiss me, darling,
 Each kiss as sweet as chrism or wine!
 Kiss as sweet as chrism or wine...

Я поспешно оперся рукой о спинку скамьи — на всякий случай, чтобы не рухнуть в горячую ванну. Перевод был его собственный. Кен двадцать раз приходил ко мне в офис, советуясь то насчет рифмы, то насчет смысла, но мне и в голову не могло прийти, что он запоет романс. Позвольте привести оригинал, и вы поймете, почему я так удивился.

В крови горит огонь желанья,
 Душа тобой уязвлена,
 Лобзай меня: твои лобзанья
 Мне слаще мирра и вина!
 Слаще мирра и вина...

Мало ему было Серебряного века, полез в Золотой! В тишине, которую нарушало только журчание воды, перетекавшей из ванны в ванну, соло обнаженного певца привлекло всеобщее внимание. Молодые люди, флиртовавшие в беседке, заплодировали. Женщины повыныривали из бассейна и, разложив груди на камнях, уставились на нас. Кто-то крикнул:

— Bravo!..

Солист раскланялся вполне элегантно. Баритон у Кена, хотя и осипший немного, звучал очень даже ничего.

— О чем это он пел? — спросила Лилия у моей жены. — Мелодия вроде знакомая.

— О любви к вам.

— Заливается соловьем, — отреагировала Лилия, — а из него труха сыплется.

— Это мой подарок невесте! — просияв идеальными белоснежными фарфоровыми зубами, слегка виновато молвил Кен. — Я немного пою в комической опере. Да-да! В хоре... И пока еще меня не выгнали...

Он указал пальцем на горы, за которыми село солнце и перешел на русский:

— Лилия, darling!* Дэлай топ-топ на аутомобил.

И звонко шлепнул ее по попке как маленькую девочку. Она кокетливо погрозила ему пальцем, скривленным артритом.

Быстро, как всегда бывает здесь в горах, опустились сумерки. В доме стали зажигать свечи. Мы с Кеном оделись и вместе пошли на парковку, оставив женщинам больше времени привести себя в порядок. По дороге Кен пел арии из оперетт, радовался, как ребенок. Он был счастлив.

Вернувшись обратно, я вылез из машины, чтобы попрощаться.

В старомодном дорогом малиновом платье Лилия выглядела, на мой взгляд, менее привлекательной. Видимо, у природы было больше вкуса, чем у нее. Зато теперь, одетая, она своим представительным видом убедила меня в мысли, что я когда-то ее видел. Точно, видел! Может, все же спросить ее фамилию? Надо было сделать это раньше, но не сообразил.

Пока я размышлял, Кен усадил Лилию в свой грузовичок, захлопнул дверцу и, кивнув нам, полез за руль. В окно Лилия произнесла с печалью:

— Дожила... У меня всегда был свой шофер и сперва «Эмка», потом «Победа», потом «Волга». Но ни-

* драгоценная!

.....

когда в жизни меня не транспортировали на грузовике!

Она вела себя так, будто весь мир знает, кто она такая.

Прощаясь, Кен помахал нам рукой, и грузовичок скрылся в пыли. Мы с Лерой тоже забрались на сиденья, и я стал потихоньку спускаться каменистым пыльным серпантином в долину к Двадцатой дороге.

Вот тут под монотонный шелест кондиционера плотину моей памяти наконец прорвало.

4.

Не узнал я ее в Уилбер Хат Спрингс. Но если б и вспомнил, не подал бы виду. Когда привыкаешь, всеобщая нагота не мешает разговорам, но Лилия попала туда первый раз. Возможно, ей и не хотелось представляться в столь специфических условиях? И неизвестно, охота ли вам, чтобы кто-то вспоминал ваше прошлое. Может, в силу некоторых обстоятельств, лучше старое забыть? Странно все же, что ее не узнал. Впрочем, я помнил эту даму только в парадной одежде.

Как-то, еще задолго до эмиграции, я случайно стал свидетелем следующей картины. Зимним московским вечером посередине улицы Горького шла вихляющей походкой пьяная женщина, скидывая с себя одежды. Волосы ее развевались на морозном ветру. Позади обреченно брел мужчина и одежду ее подбирал.

Милиционер засвистел было, но она, уже в одних чулках, тут же ухватила его под руку, стащив с него фуражку и нацепив на себя. Голая в милицейской

фуражке — это было, доложу вам, зрелище! Страж порядка в панике схватил фуражку, оттолкнул женщину от себя и, не оглядываясь, скрылся в ближайшей подворотне. А женщина под мерцающим в свете фонарей легким снежком шла еще долго. Толпа прибывала, валила за ней по тротуарам. Машины останавливались посреди дороги, шофера выскакивали поглазеть. Наконец подкатила, зауллюлюкав сиреной, вызванная кем надо «скорая помощь». Четверо дюжих санитаров грубо схватили брыкающуюся красотку за руки и за ноги, затолкали в машину и влезли за нею, торопливо захлопнув дверцы. Кто-то из толпы гоготнул:

— Щас в дороге все ее попробуют...

Странная штука память: никакой связи с тем, что происходит. Или все же есть скрытые ассоциации? Потому что я немедленно представил себе официальное заседание в Союзе писателей: важная поэтесса Лилия Бурбон направляется на сцену, приближаясь к трибуне, на ходу раздевается и вполне обнаженная, как в Уилбере, начинает вещать.

Зал замер в предвкушении скандала, а партийные бонзы в президиуме, растерявшись, не знают, что с ней делать: отправить в психушку, исключить из партии за аморалку или, сделав вид, что ничего не видели, тихо эту историю замять.

Не могло такого случиться при тогдашней несомненной сознательности граждан, допущенных на важные заседания, и теперь я хихикнул. Лера спала, откинув сиденье. Услышав смех, она приоткрыла глаза, но я промолчал, и она опять задремала. Вокруг лежала непроглядная тьма. Надо увеличить скорость, чтобы влиться в Пятый фривей, и я включил дальний свет. Стайка мошкеры прошуршала по ветровому стеклу.

Конечно, я знал новую подругу Кена по советской половине своей жизни: по редакциям, по Дому литераторов, по кухонным посиделкам. Впрочем, все мы, несколько поколений, знали Лилию Бурбон с детства.

Книжки с ее стишками для детей расплывались миллионными тиражами по всей Руси Великой, да что там — по всему просоветскому лагерю. Видел я ее множество раз, в основном на экране телевизора, доводилось и встречать. Встречать-то встречал, а знаком не был. Лилия Бурбон числилась в ответственных секретарях Союза писателей, принадлежала к управленческой элите, к самой верхушке, и ходила, никого, кроме аппаратчиков, не замечая. Нет, не ходила — она себя носила.

Низковатый бархатный голос ее эхом докатывался до нас с трибун писательских собраний, на которых кого-нибудь прославляли или разоблачали. Звучал он довольно часто и по радио. Разбудите меня посреди ночи теперь в тихой калифорнийской пустыне, и я вам выкрикну горячие строки, повторив все ее интонации. Не прочитать ли нам теперь хором?

Произносить будем с чувством, певуче, громко, чтобы нас услышали в Кремле. Три-четыре:

Мы, дети великой советской страны,
Хотим, чтобы не было в мире войны.
Но если на Родину враг нападет,
Нас Сталин великий на бой поведет!

В поздних изданиях Сталина сменил Ленин, потом почему-то Пушкин, а Брежнев, кажется, не удостоился. Но были у нее и остроумные стихи, всякие шутки-прибаутки про нерях, про ленивцев, про упрямых, или, как писали критики, про отдельные недостатки в воспитании детей, которые надо устранить.

За воспевание и устранение она получала ордена. Несомненно, ее положение и ее премии, Сталинские и Ленинская, обязывали. Она ездила за границу принимать участие в форумах борьбы за мир и за счастье детей — всегда в сопровождении переводчиков и консультантов. Когда на Западе разгоралась очередная кампания в защиту советских евреев, она выступала с опровержениями.

— Вот, например, я, — с улыбкой заявляла она. — И депутат, и лауреат, и женщина, — разве меня преследуют? Наоборот! Мне созданы нашей партией и правительством все условия. Только при советской власти я смогла стать тем, кем я стала...

Как ни странно, то была сущая правда. Разве что внешне она подражала актрисе Лили Лэнгтри, да и то в молодости. Сделавшись поэтом, да еще функционером, она нагуляла жирок. Стихи ее стали шедеврами партийной литературы.

Наверное, человеческое вовсе не было ей чуждо, но регалии обязывали. Однажды она заступилась за кого-то, ей лично симпатичного, кажется, за Галича, изгонявшегося из Союза писателей. Ее вызвали наверх, припугнули, что отберут бляшки, дачу и выкинут из издательских планов книжки. После покаяния она больше никогда не высывалась.

Лилия Бурбон периодически омолаживалась, но постепенно всем стало заметно, что двадцатый век — ее ровесник, а век тогда перевалил за две трети. Я был молодым, когда ее считали старухой, а теперь и сам купил бы где-нибудь хороший возраст, да нигде не продают, даже в Америке.

Сплетен про нее ходила уйма, и чем официальной Лилия держалась, тем байки расползались красноре-

.....

чивей. Что было в них правдой, а чего сочиняли окололитературные остряки? Некоторые детали теперь вспомнились.

В кулуарах старые писатели в подпитии рассказывали, что до революции видели ее вечерами на улицах Петрограда, — она приехала из провинции и стояла на Невском в ожидании клиентов. Большевики начали заваруху и вербовали трудящихся женщин этой категории в свою партию. Лилия влилась в ряды борцов. Тут она трудилась бесплатно, обслуживая активистов в партячейках.

Рассказы эти казались мне злопыхательством, но однажды в пивном баре Дома журналистов ко мне подсел пожилой интеллигентный человек с заплывшим лицом и мешками под глазами. Он уже пребывал в легком подпитии. Не узнать его было невозможно, о чем я сразу ему сказал:

— Не отпирайтесь: вы — Андрей Гастонович Бурбон.

— Точно! Я самый, — усмехнулся он, польщенный.

Книжки его для маленьких сохранились у меня дома — бабка их читала дочке. Там была и его фотография. Теперь я его разглядывал вблизи. Одет он был аккуратно, хотя и в поношенный синий костюм с цветастым жилетом и сиреневой бабочкой в белый горошек — такой же, как на фото. Бабочка тогда была вызовом, прямо-таки политической акцией.

Молодым Андрей Бурбон тусовался в группах футуристов и эгофутуристов, рисовал кубы и круги à la Malevich, дружил и ссорился с Бурлюком, Маяковским, Бенедиктом Лившицем. Лавина писателей покидала родину, он же, не то чтобы поверив новой власти — как раз наоборот, абсолютно индифферентный к любой политике, почему-то застрял. А ведь ему-

то, с его не подходящей к тем временам поднаготной, как раз и следовало драпать, задрав штаны, впереди всех и прямым ходом на родину предков, в Париж.

— У меня, юноша, была шикарная комната в Камергерском переулке, — мечтательно вспоминал Андрей Гастонович, прихлебывая пивко, — жалкий остаток шестиэтажного дома, которым владели мои родители до заварухи, но по тем временам кое-что. Если б не мое отвратительное происхождение, я мог бы преуспеть в новой литературе. Да разве это беллеттр? От их писак навозом несет, cher ami*. Проституировать в искусстве, как некоторые, мне противно. Я, батенька мой, а-ри-сто-крат!..

В общем, Бурбон остался в Москве, в голод выжил и одно время думал, что советская революция будет как французская: сначала жестокой, а потом все кончится хорошо. Но хорошо что-то не становилось.

Прошло время, и потомок французских королей, как многие другие из пишущей братии, нашел свою щель: стал печатать стишки про птичек и зверушек в детских журналах, рассказы про малышей. Детские книжки выходили миллионными тиражами, на гонорары можно было существовать.

— Вы слышали про Лили Лэнгтри? — допив кружку пива и заказав еще одну, вдруг спросил он.

Я отрицательно качнул головой.

— Вот видите! Невежество стало всеобщим. А Лили Лэнгтри была великой актрисой в начале века, первой красавицей Англии, а то и всей Европы. Открытки с ее личиком продавались на каждом шагу и в России тоже. Я ее видел на сцене в Лондоне — глаз, молодой человек, не оторвешь. Бесконечная овация,

* друг милый.

.....

мы завалили сцену цветами. У моей французской родни оказались связи на высоком уровне, и после спектакля меня провели к Лэнгтри за кулисы.

— Вам повезло, — вставил я, чтобы поддержать разговор.

— Еще бы! Она переодевалась, сие тоже было волшебное зрелище. Прощаясь, она великодушно подала мне руку, и я её пальчики поцеловал. Я целовал ей руку, дошло до вас? Об этом мечтали тысячи мужчин по обе стороны океана! Да что вы понимаете! Вам бы только в кровать завалиться. А я... я чуть рассудок не потерял после той встречи, но во втором визите мне было отказано.

Андрей Гастонович залпом вылакал всю кружку, и глаза его набычились.

— Вспомнил, — осенило меня. — Лили Лэнгтри была любовницей короля Эдварда Седьмого, я читал...

— Хм... Значит вы не стопроцентный невежда. Между прочим, король Эдвард — тоже мой дальний родственник, но об этом — т-с-с-с... Он тогда много путешествовал, и газеты прозвали его «дядюшкой Европы». Конечно, она спала с королем, — с кем же еще может спать такая женщина? Впрочем, про нее говорили всякое... Эдвард называл ее «Лили с Джерси», потому что она родилась на острове Джерси, возле Франции. Я уехал в Париж, потом вернулся в Москву. Шли годы, я смотреть не мог на других женщин. И вдруг увидел ее на трамвайной остановке у Никитских ворот.

— Галлюцинация? — спросил я.

— Закажите еще пива, месье, а то горло пересыхает... Нет, это была она! Тот же овал лица, такая же модная шляпка с лентами и цветами, а главное — челка на лбу, едва приоткрывающая игривые мысли, которыми полнится ее головка. Тогда писали, что имен-

но челка сводила с ума. Челка свела с ума короля Эдварда и — вашего слугу... Эта женщина стояла и ждала трамвая, а трамвай не шел.

У Андрея Бурбона крыша поехала, а он начал еще одну кружку пива.

— Как же она попала из Лондона в советскую Москву? — спросил я.

— Как раз об этом я с ней, изумленный, заговорил.

Оказалось, она приехала не из Лондона, а из Петрограда, поступила на курсы стенографисток-машинисток, жила в коммуналке у подруги, но — бывают же мистические совпадения — ее тоже звали Лилия. Лишь потом Бурбон узнал: петроградская красотка просто-напросто по фотографии копировала Лили Лэнгтри. Та же модная шляпка с лентами и цветами, а главное — та же челка. Сходство-то Андрея Бурбона и погубило. Однако на шляпке и челке сходство заканчивалось.

Русской Лилии исполнилось двадцать три, и была эта мамзель в большом порядке. Она стала приходить к Андрею Гастоновичу печатать рукописи и вскоре начала задерживаться после работы. Варилла ему картошку и все чаще оставалась ночевать. Через полгода она его обоженила.

Бурбон сочинял стихи про птичек и зверушек, а Лилия ему помогала: перепечатывала, отвозила в редакции, получала гонорары. Пыталась сама сочинять, но он издевался над ее опусами, доделывал, переписывал. Однажды Андрей отвез ее стихи, им доведенные до печатных кондиций, в «Пионерскую правду». По просьбе редакции он сочинил Лилии правильную революционную биографию. Из текста следовало, что в годы вооруженной борьбы за правое дело она стояла плечом к плечу с лучшими из лучших в передовых рабочих отрядах.

.....

Плечом к плечу она не стояла, а лежала. И не плечом к плечу, а плечами к плечам. И не с лучшими, а со всеми. Но та страница ее биографии больше не существовала. Миру явилась детская пролетарская поэтесса Лилия Бурбон. Возникла она очень кстати, потому что началась чистка и самого Андрея разоблачали в печати как чуждого новой литературе буржуазного элемента.

Приходилось выживать, и выход был найден вполне резонный. Теперь его стихи печатались под ее именем. Лилия Бурбон быстро стала популярной в детских журналах и издательствах. Она познакомилась с редакторами, писателями, и стала спать с ними, что несомненно способствовало ее поэтическому росту. Выступала в школах, клубах, детдомах, потом по радио, потом по телевидению. «Начинаем пионерскую зорьку. Сегодня у нас в гостях замечательная...» И так далее... Ее то и дело принимали то в почетные пионеры, то в почетные октябрята. На снимках в газетах у нее на шее развевался красный галстук. Мне даже кажется, в чем-то она переплюнула своего мужа и учителя, оказалась талантливее и, уж наверняка, практичнее.

В клубе писателей ее увидел сталинский командарм Бердичевский. Вскоре они сошлись и поселились в Доме правительства на набережной. С Бурбоном она развелась. Откуда я это узнал? Сын Бердичевского от первой жены учился вместе со мной на филфаке и мачеху Лилию недолюбливал. Однажды он мне поведал семейную тайну:

— Когда к нам пришли с арестом, мачеха спрятала отца между пожарными дверями и предложила себя трем энкаведешникам. Те не устояли. Отец тем временем забрался в соседнюю квартиру, дозвонился Сталину, и тот, видимо, решил с арестом повременить.

— Это же героический поступок! — сказал, помню, я тогда.

— Дурак ты! — отреагировал мой сокурсник. — Отца же все равно взяли, только не дома, а на работе...

Арестовали его отца позже, когда у Лилии начался роман с Ягодой, и Ягода решил убрать ее командарма-мужа, чтобы не мешал. Ее не тронули ни тогда, ни потом, а почему, об этом мы можем только гадать.

Когда чистка закончилась, Андрей Бурбон опять стал пописывать для детских журналов, но стихи его проходили теперь со скрипом, все чаще отвергались. Появилось, он чувствовал, какое-то препятствие вовсе не политического характера. Но какое именно? Однажды он пришел в Детгиз, надеясь получить давно обещанный, но все время откладываемый под разными предложениями договор на книгу. Директор, человек старого покроя и потому с остатками совести, долго мялся:

— Прямо не знаю, как с вами поступить... У нас в портфеле договора на пять книг одобренной наверху писательницы Бурбон. А теперь еще и вы — опять Бурбон! Что же это, — скажут нам, — бурбонизация детской литературы? Меня по головке не погладят. Знаете, я лично хорошо к вам отношусь. Так вот, возможен единственный выход...

Про этот выход Андрей Гастонович поведал мне тогда в пивном баре Дома журналистов с гневом:

— Вы только подумайте! Это как же так? Я, Андрей Бурбон, голубая кровь, потомок французских королей и русский дворянин! — глаза его налились кровью, и он ударил кулаком по столу так, что кружки подпрыгнули, а за соседними столиками умолкли разговоры. Все уставились на нас, и он зашипел: — Я взял в жены эту подзаборную шлюху Лильку Шапи-

ро, дал ей свое родовое имя, сделал ее человеком, обучил стихосложению, ввел, понимаете, в литературу, а теперь мне говорят: «Возьмите псевдоним»?!..

После той исповеди я не раз встречал Бурбона все в том же буфете Дома журналистов. Андрей Гастонович становился все более неразговорчивым, брал взаймы, никогда не отдавал. Бабочку сменил на галстук с засаленным узлом, потом галстук носить перестал. Все больше пил, попал в вытрезвитель, раз вышел зимой раздетый на балкон, пытаюсь почитать стихи трудовому народу, и был забран в психушку (поговаривали, что не без содействия бывшей жены) и закончил земную житуху, упав на эскалаторе в метро.

Ближе к городу поток машин увеличился. Надо было заставить себя отогнать печальные воспоминания и сосредоточиться. Заработали дворники, отмывая со стекла налипшую мошкарку. Жена проснулась и позвонила сыну. Отпрыск обещал навестить нас со своей girlfriend, и Лера на всякий случай сообщила, что мы уже подъезжаем к дому. Я стал думать о делах предстоящей недели. Жизнь куда-то двигалась, хотя и неизвестно, куда именно.

5.

Естественно, Кену я и не заикнулся о том, что вспомнил, хотя из мужской солидарности, наверное, следовало. Он радостно сообщил, что Лилия старше его, но не сказал, на сколько. Мужчины вообще должны бы выбирать подруг старше себя: жизнь наша короче, умираем мы раньше. Но почему-то логика пока не работает, и чем жены моложе, тем мы счаст-

ливее. Кто знает, может, когда-нибудь вкусы и потребности мужчицкой половины человечества изменятся с точностью до наоборот и будет криком моды жениться на пенсионерках? Вот Кен уже сейчас в экстазе от гипотетического будущего. Сам того не подозревая, он оказался в авангарде прогрессивного человечества, самоотверженно пошел на риск, можно сказать, на эксперимент. Больше того, ее старшинство лишь вдохновляло его.

— Вчера мы гуляли по рынку, — сообщил он мне, подойдя после очередного занятия.

Собираясь уйти из аудитории, я сложил в папку контрольные и натягивал пиджак, который снял посреди лекции.

— Значит, роман продолжается?

— Еще бы! На рынке рядом оказался один русский и великодушно помог нам с Лилией поговорить. Ей очень тяжело. Там, она говорит, ее знала каждая собака, а здесь — никто.

— А собак здесь она спрашивала? У нее есть дети?

— Нет, дети помешали бы ее литературной славе, считает она.

— Почему, собственно, она эмигрировала? Бежала от славы?

— О, она процветала при социализме: крупный счет в банке, дача, личный шофер, бесплатные курорты. Но после ее стали преследовать.

— За что?

— Как за что? За убеждения! Между прочим, — тут Кен поднял руку, ибо я собирался уйти. — Вы с Лениным не были знакомы? Лилия уверяет, что он тоже пережил эмиграцию.

Вопросы его всегда оказывались интересными.

— Не довелось, — ответил я. — А что?

.....

— Лилия мне сказала, что у нее с Лениным была интимная связь. Кажется, у него была жена, толстая и некрасивая. Лилия, как вы убедились, изящна, она даже училась балету. Ее кумир — Айседора Дункан из Сан-Франциско. Видите? У моей невесты глубокие связи и с Калифорнией. Правда, впоследствии они с Айседорой рассорились из-за ревности к какому-то алкоголику. Кажется, его звали Есенин...

Он гордился ее интимными связями.

Прошло несколько суетливых дней.

На венчание нас пригласили заранее и, понятно, не вполне бескорыстно: Кену мог понадобиться переводчик. Молодожены (написал это слово и смутился, но никуда не денешься) готовились к торжеству с поистине американским размахом, который Лилии предстояло освоить.

Кен позвонил сыновьям, уведомив, что их папочка решил официально жениться, и велел приехать, дабы познакомиться со своей последней невестой. Сыновья обрадовались, стали без хитростей обсуждать нюансы.

— Вообще-то зачем жениться, пап? — сказал младший из Стемпов, Джордж, компьютерщик из Силиконовой долины. — Что это тебе даст, кроме бюрократических забот и ответственности? Живите себе вместе, как мы с Кейси. На кой тебе юридическая тягомотина?

— Молодым не понять, как мы можем любить, — заметил Кен, рассказывая об этом.

Подготовка к бракосочетанию заняла месяца два напряженной работы. Мне вспомнилась свадьба в Самарканде, на которую пригласил нас когда-то приятель. Автоинспекция перекрыла движение в целом квартале. Поставили стол на улице для семисот человек. На перекрестках с обеих сторон дежурные с

красными повязками принимали подарки — конверты с деньгами. Кто богаче, тот должен класть сумму побольше, вот и весь ритуал. На ум это пришло не случайно. Что-то в скромной американской свадьбе есть от традиций Востока, хотя и компьютеризированных. За ценой мы, естественно, не постоим.

Почта принесла написанное торжественным стилем приглашение с просьбой ответить, примем ли мы участие. Тем временем жених с невестой отправились в универмаг «Мейсис» и там вместе с экспертами составили точный перечень вещей, которые гости могут подарить им на свадьбу. Жена моя поехала покупать.

В свадебном отделе «Мейсиса» она набрала на компьютере имя Ken Stamp и получила длинный список отобранных молодыми подарков, за которые гостям предлагалось уплатить. Список начинался изделиями китайского фарфора, а заканчивался постельным бельем и автоматической кормушкой для попугая. Возле каждой вещи стояли название фирмы-изготовителя, особые приметы, цена и два числа: количество нужного и количество уже оплаченного гостями, пришедшими за подарком раньше вас. Продавщица поинтересовалась, какую сумму Лера готова израсходовать.

— Неблизкие лица, — уточнила она, — тратят обычно от пятидесяти до ста долларов.

Жена уплатила за электрическую вафельницу, а самого подарка не видела — все дары доставят новобрачным централизованно.

В католической церкви на Четырнадцатой улице народу было немного, большей частью зеваки и случайные туристы. Колыхалось пламя свечей, запах их настраивал на торжество. Играл орган, а когда

.....

умолк, молодой священник гомосексуальной наружности, тощий, с плоским и бесцветным лицом, обратился к Кену и Лилии со стандартным словом от имени Господа.

— Женитьба есть отражение любви Христа к церкви, — сказал святой отец. — Берешь ли ты, Кен, эту женщину в бедности и богатстве, в беде и счастье, в болезни и здоровье?

— I do, — кивнул Кен.

— Обещаешь ли любить ее до конца твоих дней?

— I do, — повторил Кен, прибавив по инструкции:

— И все мое будет твое.

Затем с этими же вопросами священник обратился к Лилии. По виду ее казалось, невеста все понимает в ритуале. Но она долго не отвечала — не потому, что размышляла, а потому, что ответ надо было произнести самой по-английски.

— I do, — прошептал ей на ухо Кен.

— I do, — повторила она.

Священник положил тонкие костлявые пальцы им обоим на плечи и, глядя куда-то в потолок, прогундосил:

— Объявляю вас мужем и женой.

Спросив Кена шепотом, купили ли кольца, он громко обратился к каждому из молодоженов, надевая по золотому колечку:

— С этим кольцом ты в браке от имени Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь! Скрепите вашу любовь поцелуем.

Церковь затихла. Кен поднялся на цыпочки и вытянул губы вперед. Лилия поняла. Она присела немного и нагнула шею, чтобы жених мог до нее дотянуться. Раздался звук, будто кто-то громко потянул с ложки горячий суп, и губы сомкнулись. Дети и вну-

ки Кена, сидевшие в первом ряду, подняли камеры, замелькали вспышки.

Молодых окружили друзья семьи, одетые, как и он, в черные смокинги, будто они всю жизнь только и делали, что женились или ходили статистами со свадьбы на свадьбу. Лилия в белоснежном платье, взятом напрокат и несколько великоватом, казалась (не подворачивается лучшее сравнение) старухой-графиней из «Пиковой дамы», по ошибке здесь очутившейся. Впрочем, я опять злобствую, а ей было не легко. Никто не спросил, католичка ли она, да это ее и не волновало. Она озабоченно оглядывалась, с кем бы перемолвиться по-русски.

— После свадьбы, — объявил мне Кен, с нежностью поглядывая на жену, — мы немедленно отправляемся в путешествие по Тихому океану в Канаду. Яхту я уже переименовал: была «Синяя птица», а теперь будет «Lilie».

— Лилия поплывет на «Лилии», — убого сострил я.

— Само собой, я капитаном, а она простым матросом, — хихикнул он. — Можем и вас пригласить с женой...

Ну, разумеется, им ведь требуется переводчик.

— Сунете меня под кровать?

— Что вы! Там салон плюс три каюты! Хотите, завтра съездим, обследуете мою яхту? Она божественно красива, голубка моя...

О яхте он говорил с таким же вдохновением, как и о новой жене. С одной он меня уже познакомил. Не хватало еще знакомиться с другой.

— Минуту внимания, леди и джентльмены! — крикнул Кен собравшимся. — Лилия и я приглашаем всех в ресторан «Порт Руж» на бульваре Дель-Пасо!

.....

Кухня там — пальчики оближешь. Столы уже накрыты. Прощу, пане!

Ух ты! Он и по-польски может. Извинившись, я сослался на дела, из-за которых нам придется сейчас отчалить, и подошел к мадам Бурбон попрощаться.

— Поздравляем, — я поцеловал ей руку.

— Чего ему приспичило на мне жениться? — наклонившись ко мне, будто мы с ней заговорщики, прошептала она. — Ведь он дряхлый старикашка! Может, я зря уступила? Правда, говорят, он богат. Из природной скромности я ничего не узнала о наших капиталах. Хотелось бы все-таки выяснить... Не знаете, на сколько мой новый супруг потянет? Выясните у него, дружок!

— Ой, нет! — испугался я. — О капиталах спрашивать в этой стране не принято.

К чрезмерной открытости русских эмигрантов я давно привык. Возможно, это объясняется отсутствием старых близких знакомых — поделиться-то с кем-нибудь надо. Вот и слышишь порой откровения, которые вовсе неохота знать.

— Подумайте только, — продолжала она. — Хочет, чтобы я взяла его фамилию. Я — всемирно известный поэт Лилия Бурбон, а он кто такой? Пускай он возьмет мою!

Мне пришлось надуть щеки, чтобы остаться серьезным. Вот уж точно: история повторяется как фарс.

6.

Лекцию я начал, как всегда, в восемь утра, и студенты сидели не более сонные, чем обычно. Но прямо передо мной никто не сопел, втягивая носом воз-

.....

дух, место оставалось пустым. Сперва я даже похихикал про себя по этому поводу: молодожен наш отсыпается после первой брачной ночи. И тут вспомнил: они ведь ушли на яхте в Канаду.

Еще через день, едва начав лекцию, я с некоторым удивлением обнаружил, что на месте Кена Стемпа, который чуть не стал Кеном Бурбоном, сидит она, мадам Бурбон. Не прерываясь, я кивнул ей и продолжал говорить о раннем Маяковском и Лиле Брик. Лилю Брик я знал, встречался несколько раз, пил вместе чай и не только чай. Теперь мне пришло в голову, что обе Лили чем-то схожи.

Сперва Лилия слушала меня с каменным лицом, лишь презрительно скривила губы, когда я пошутил. Недовольство всем на свете есть приметная черта большинства всезнающих русских эмигрантов, чего бы они не видели и не слышали. Вы их не интересуете. Даже если все у них в порядке, на вас они — ноль внимания. Оживают, только когда можно пожаловаться, чтобы все вокруг чувствовали себя перед ними виноватыми.

Постепенно Лилия начала оглядываться на молодых студенток, поправляя то свое ожерелье, то серьги, то прическу, словно старалась не отстать от них. Но студентки-то все без бижутерии, в шортах и майках, небрежно причесаны и без всякого make up* — сейчас такой стиль. Она оделась, как на бал. В элегантном сиреневом платье в обтяжку, с неумеренным количеством золота в ушах и на руках, а на шее крестик, то есть, простите, ключик от велосипедного замка на веревочке.

Вдруг, наверняка бес меня попутал, я прервал годами накатанный плавный ход лекции о Цветаевой,

* косметика.

.....

пробормотал что-то о переключке поэтов через годы и быстро, поскольку время поджимало, вернулся к уже пройденному Брюсову. Мне захотелось чем-то расшевелить Лилию, и стихи само собой приплыли из моей студенческой юности:

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свёрнутый, запечатлённый свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярём железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся от века — на тебя!

Едва я закончил лекцию, мадам Бурбон-Стемп подошла ко мне.

— Конечно, вы молитесь... Я оценила ваш ход конем, молодой человек. Мой первый муж Андрей Бурбон часто читал эти стихи мне, но сам так не смог бы написать. Кстати, они с Брюсовым были приятелями. Рассказала бы вам, но я больше люблю говорить не о других, а о себе.

— Где ж мой лучший студент Кен? — в пику ей весело спросил я. — Возится с яхтой?

Лилия осуждающе посмотрела на меня из-под очков.

— Он умер.

Ничего себе юморок. Но глаза ее набухли слезами.

— Как — умер? — растерялся я. — Когда?

— После свадьбы, — всхлипнув выговорила она. — Он... он повез меня из ресторана на грузовике не к себе домой, а в гавань, хотел показать яхту. «Тут мы будем бай-бай», — сказал он и стал поднимать парус.

— Ну еще бы! — вспомнил я. — Он же собирался в плаванье сразу после свадьбы...

— Я была в ужасе, но он ведь переименовал яхту в мою честь, и я молчала. Трос заело. Кен тянул изо всех сил, а парус не подымался. Он напрягся, вдруг захрипел и сел. Вытер пот со лба, закрыл глаза и сказал: «Ню ладна». Вижу, он не дышит. Помчалась на берег, остановила полицейскую машину. «Скорая» прибыла, а он уже холодный... Хорошо хоть, что умер не от меня, а от яхты... Дома тяжело сидеть одной, вот я и приехала сюда...

Она замолчала, стала прикладывать к глазам бумажную салфетку. Потом добавила:

— Адвокат сообщил, что все сбережения Кен оставил мне.

— Хоть какое-то утешение в вашем несчастье.

— Еще бы! С паршивой овцы хоть шерсти клок. Только яхту я обязана подарить его старшему сыну. Зачем ему? Что, сам не может купить?

— Когда похороны? — спросил я, хотя хотелось спросить: «А вам зачем яхта?»

— Похороны? Да вам-то он кто?

— Он мой студент.

— Сегодня в четыре...

.....

На Четырнадцатой улице, возле той же церкви, в которой два дня назад было их венчание, свободное место на парковке нашлось легко. Войдя в храм, я присел на скамью в последнем ряду и огляделся. Дубовый гроб, отделанный резными украшениями, — в центре на высоком постаменте. Такое же трепещущее пламя свечей. Народу меньше, чем тогда. В тот раз я не обратил внимания, что современный зал больше напоминает молодежный клуб. Портрет Спасителя, только что снятого с креста, висит на баскетбольном щите, в углу сложены джазовые инструменты.

Тот же молодой бледный священник читал молитву, периодически останавливаясь на положительных качествах усопшего, затем пошел вокруг гроба с кадилом. Запах благовония докатился до последних рядов. Заиграл орган.

Умер потомственный рыцарь социализма, думал я. Взял да и сделал топ-топ в никуда. И пред смертью припасть поцелуем к дорогим побледневшим губам не успел. Надежда построить в Америке светлое будущее убавилась еще на один шанс. Разве что вдова продолжит здесь борьбу за дело его жизни?

Лилия сидела в первом ряду, по соседству с кеновскими сыновьями и их подругами. На ней черная шляпка с вуалью — уж не знаю, на каком гараж-сейле удалось такую раздобыть. Впрочем, грех брюзжать в данной ситуации. Неожиданно мадам Бурбон-Стемп поднялась и стала глазами искать кого-то. Увидев меня, сделала несколько шагов в мою сторону, жестом прося подойти к ней.

— Велите священнику, чтобы гроб открыли.

— У католиков, — возразил я после паузы, — это не принято.

— Не ваше дело! Переведите ему... Я настаиваю, чтобы гроб открыли! Надо убедиться, что он там лежит...

Спорить с ней тут глупо. Приблизившись к священнику, я наклонился к его уху и передал просьбу вдовы. Он, не дослушав, отрицательно покачал головой. Лилия стояла рядом.

— Дочь моя, — испуганно сказал он, что прозвучало слегка нелепо, поскольку он годился ей в правнучки. — Но это же невозможно! Это... против правил...

— Мадам настаивает, — прошептал я. — Она всемирная знаменитость, так сказать, звезда. Не лучше ли в виде исключения приоткрыть гроб, чтоб избежать скандала?

Священник, поколебавшись, сделал знак службе, тот замер от удивления, но перечить не посмел. Верхнюю половинку крышки открыли — покойник стал виден по пояс.

В гробу Кен Стемп в свадебном черном костюме, черноволосый с благородной проседью лежал, если уместно такое сказать, с ухмылкой. Может, это только почудилось, потому что атмосфера похорон была не слишком торжественная.

Вдова подошла к открытому гробу, постояла, словно замороженная, поцеловала покойника в лоб, потом вдруг приникла губами к его губам.

Прихожане, и без того молчавшие, казалось, затаили дыхание. Наконец, после долгой паузы, живые губы оторвались от мертвых, и Лилия зарыдала, как принято в России, но никоим образом не в Америке. Присутствующие терпеливо ждали. Священник перекрестил Лилию, пробормотав «God bless you!»*, и

* Благослави вас Господь!

.....

тихонько отстранил от гроба, а служба поспешно захопнул крышку.

Ничего страшного не случилось, небеса не разверзлись, молния не ударила, гром не прогремел. Вдова уселась на место. Церемония вошла в свою колею.

В отдалении выстроился хор — человек двадцать женщин, похожих на монашек, и мужчин, одетых в смокинги. Еле слышно прозвучал удар камертона. Хор вдруг запел а саррелла дружно и весело:

— Красотки, красотки, красотки кабаре!
Вы созданы лишь для развлечения...

В зале никто не удивился, кроме, наверное, Лилии, потому что здесь принято провожать человека из жизни в таком стиле, как он любил жить. Покойный сам пел в этом хоре, в оперетте «Сильва», поставленной местным любительским театром. Теперь ему пели его коллеги.

Когда хор умолк, выступил прихожанин, сосед и друг Кена, который не пел, но сказал, что он, как человек глубоко верующий, счастлив встретиться с Кеном Стемпом здесь, в церкви, где покойный, католик по рождению, очутился, к сожалению, лишь второй раз. Выступавший еще немного подумал и добавил:

— Жаль, что последний. Но хорошо, что теперь уж Кен с Богом навсегда...

Прошло несколько дней, и Лилия опять появилась в моем классе. Она пришла в белой майке, шортах и почти уравнилась с другими студентками. На груди ее было написано полукругом *Lilie Bourbon*, а ниже, в овале, увитый лавровыми ветками красовался ее собственный портрет, сделанный, наверное, в начале

.....

века. После лекции она подошла и, заметив, что я разглядываю фото, сказала:

— Это мне сварганили в одной мастерской. Красиво, правда? Но не думаете же вы, что я пришла ради того, чтобы показать эту майку?

— У вас дело?

Она оглянулась на стайки студентов вокруг.

— Я бы предпочла разговаривать без посторонних ушей.

— Тогда пойдёмте ко мне в офис.

По дороге она молчала. Остановившись у киоска, я взял ей и себе по стаканчику кофе без кофеина. В кабинете усадил Лилию на стул и пальцем нарисовал в воздухе знак вопроса.

— Покажите-ка мне список, кого у вас тут проходят, — попросила она.

Я стал загибать пальцы:

— Белый, Гумилев, Хлебников, Маяковский, Волошин, Мандельштам, Пастернак...

— Все они были плохими поэтами! — заявила она категорически. — Ничтожные люди! Отвратительные любовники!

— Почему вы так думаете?

— Да они все со мной спали. Все! Кроме Хлебникова, конечно, который последнюю ванну принял до революции, а со мной встретился после. И все они мне читали себя, вместо того, чтобы послушать меня. Володя Маяковский уйму стихов посвятил мне.

— А Лиля Брик?

— Когда я ушла к Боре в начале двадцать третьего года, Володя подарил их Лильке Брик. Даже имя менять не пришлось. И «Про это» поэма для меня написана. Там посвящение: «Ей и мне» — кому, вы думаете? Ну да ладно! Все это былём поросло... Соб-

.....

ственно, явилась я к вам, чтобы возмутиться: почему меня не изучают в вашем университете? Я пойду в администрацию, потребую.

— Это мысль!

— Иронизируете, молодой человек? Да знаете ли вы, что я тоже хлебнула свое? И еще как! Теперь можно признаться, — она оглянулась на открытую дверь, не слышит ли кто, и понизила голос. — Ведь я двоюродная племянница Льва Давидовича.

— Неужто Троцкого?

— Естественно! И дядя любил гладить меня по голове. Были фото — я их все до единого сожгла. А ведь в любую секунду родство могло обнаружиться, и тогда мне хана!

Смотрел я на Лилию, и тут вдруг меня осенило. Ведь при ином раскладе строчки в ее стихах вполне могли бы зазвучать и так:

Но если на родину враг нападет,
Нас Троцкий великий на бой поведет!

Судьба-таки играет всеми нами, без исключения — от великого Троцкого до великой Лилии Бурбон, да и нас с вами фатум захватывает походя, не спрашивая и не советуясь. Остановите быстрое течение современной жизни, задумайтесь на минуту, вернитесь во времени назад.

Значит так: изменись тогда хлипкая историческая конструкция, зацепись случайно за шестеренку зубец другого колесика — и вместо Горького с Маяковским основоположницей метода социалистического реализма становится великая пролетарская поэтесса Лилия Бурбон. Стало быть, ей, а не Горькому отдают особняк Рябушинского. Она назначается лучшим, талантли-

вейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие именно к ее персоне становится преступлением.

Итак, ее изучают в школах и вузах. Ее ставят на постаменты в виде гипсовых бюстов, бронзовых памятников и мраморных барельефов везде и всюду. И повсеместно мемориальные доски: «В этом доме такого-то числа Лилия Бурбон чихнула два раза». В ее честь переименовывают библиотеки и школы. Кто сосчитал, сколько у нас улиц с именами вождей и их подголосков? Таких названий по всей России тыщи. В конце концов, разве «Проспект Лилии Бурбон» хуже звучит? А Институт мировой литературы имени Лилии Бурбон? И Нижний Новгород назывался бы не город Горький, а город Бурбон Бурбонской области.

Но... сие не состоялось, дамы и господа, и теперь уж, наверное, в таком ракурсе не повернется. То есть переименования-то опять будут, куда от них денешься? Только бурбонизация всей страны уже, скорей всего, не произойдет. Впрочем, как знать...

— Славистам, или как там их у вас называют, — прервала мои неуместные фантазии Лилия, — давно пора проходить в Серебряном веке меня. В сущности, если хотите знать, Серебряный век — это я!

Под давлением аргументов, столь страстно приведенных Лилией, и под гнетом воображения приходится, как ни глупо, согласиться, что в каком-то смысле эта женщина опять права.

— Хм... Трудность лишь в том, — мягко возразил я, — что каждый профессор в здешних университетах сам решает, каких писателей и в каком разрезе предлагать студентам.

— Вот вы и решите! Я, между прочим, ходила в библиотеку: там моих книг до фига, — не меньше, чем у этой воображалы Ахматовой.

— Видите ли, в германских университетах есть такое правило: начинать изучать писателя не ранее, чем через пятьдесят лет после смерти. Бесспорно, мы в Америке, и вы — поэтесса особая. Но все же...

— Не называйте меня поэтессой! Звучит оскорбительно. Я — поэт.

— Да ведь это обозначает женский род, только и всего. Не отрицаете же вы свой женский пол?

— Мне кажется, голубок, вы недостаточно серьезно ко мне относитесь. Думаете, я старая дура, которая сочиняла под дудку большевиков.

— Ну, как вам сказать... — замылся я, не желая ее обидеть.

— Ах бросьте! Видала я их в гробу. Моим любимым поэтом был Франсуа Вийон. Я бы с удовольствием писала, как он, а то и лучше, но кто бы стал печатать? Мой друг Илья Эренбург этого бродягу переводил.

Лилия вдруг сомкнула рот и, выдержав долгую паузу, выразительно зашептала нечто, совсем не похожее на то, что всю жизнь сочиняла сама:

— На корточках усевшись, дуры,
Старухи все, в вечерний час
Мы раскудахчемся, как куры,
Одни, никто не видит нас.
Все хвастаем, в который раз,
Когда, кого и как прельстила.
А огонек давно погас —
До ночи масла не хватило.

Глаза у нее слезились. Трудно сыскать что-нибудь более полярное — месье Вийон и мадам Бурбон. Разница между ними больше физических пятисот лет. А сей-

.....

час я подумал, что он писал про нее, и именно это при-
близило ее к нему. Конечно, она писала свою проход-
ную чушь, а любила читать Франсуа Вийона! Ведь его
героини такие, как она, вышедшие в тираж жрицы люб-
ви. Вы скажете, она хуже: вийоновы проститутки зара-
батывали на жизнь телом, а она торговала еще и душой.
И вот теперь опять торгует. Проституция во Франции
цветла, но была запрещена, и в своем «Большом завеща-
нии» пьяница, преступник и гений Вийон, называл кур-
тизанок оружейницами, может потому, что они были
всегда во всеоружии обслуживать кого угодно. Но ниг-
де у Вийона нету, что его героини сочиняли стихи.

— Я, голубчик, — грустно молвила Лилия, — ста-
рейший поэт России. Никто не жил так долго. И ник-
то так долго не оставался молодым. Я пережила всех.
Всех! Даже Ягода не знал, сколько мне в действитель-
ности лет. И уж наверняка мне никогда не было боль-
ше лет, чем моему мужчине. Кен узнал случайно. Выз-
вался пойти оформить мне социальное пособие и уви-
дел мои документы. Как вы догадываетесь, они тоже
неточные: я забыла, сколько раз убавляла себе воз-
раст, но удивительно, что мой девяносто один год его
нисколько не испугал.

— Он был настоящий американец, — согласился я.

Оказывается, ей девяносто один — я начал путать-
ся. За одну только бодрость духа она достойна ува-
жения. Много лет, в сущности, не зная ее, я ее прези-
рал, а Кен, ни слова не понимая, с первого взгляда
влюбился, и для него она стала светом в окошке. Не-
ужели нужно было увидеть ее голой, во всем ее жен-
ском величии, чтобы и мне ее зауважать?

— Ох и дура я была! — опять перебила она мои
размышления. — Скинула себе пять лет, когда эмиг-
рировала. Надо было убавить пятьдесят.

.....

— Как это — убавить?

— Как, как? — передразнила она, сделав детскую гримасу. — Запомните раз и навсегда: женщине должно быть столько лет, сколько ей в данный момент нужно.

— Бальзак говаривал, что герцогине никогда не бывает больше тридцати...

— Он так говорил? Чепуха! Бывает, и тридцать — слишком много. В цивилизованной стране право женщины на любой возраст, какой она пожелает иметь, должно быть записано в конституции. Пока же приходится делать за денежки. Не знаете, кто этим занимается?

— Чем именно?

— Экий вы несообразительный! Кто возраст может убавить? Мне пришлось в голову написать правду.

— Говорят, мексиканцы... А можно спросить: какую правду?

— Да мне, дружок, на самом деле через месяц исполнится девяносто шесть и, стало быть, останется только четыре года до ста. Я давно об этом думаю: лучше бы мне при рождении написали возраст «100 лет», а потом год за годом убавляли бы...

— Но тогда вам бы сейчас было четыре годика!

— Нет-нет, сейчас мне надо ровно сто! Ведь каждому, кто дожил до ста, американский президент шлет личное поздравление и ценный подарок. Плевала я на его подарок: теперь у меня от мужа целое состояние, и я сама могу что угодно купить. Но приветствие президента... Соображаете? Известность на всю Америку...

Хм... Девяносто шесть — это факт или тоже игра в прятки поэтессы с человечеством?

— Может, пойти в сознанку, Лилия? Покаяться?

— Да вы что?! За обман могут лишиться права на американское гражданство. Правда, у меня есть немецкий паспорт, израильский, канадский и еще какой-то, не помню, не говоря уж о советском. Но американский, ежу понятно, лучше!.. Ах, чуть не забыла, объясните мне, дружок, что сие значит?

Она порылась в сумочке и протянула официальную бумагу. Пришлось мельком взглянуть. Судя по названию: «Last Will and Testament of Ken Stamp*»? — то было завещание.

— Нет-нет, — поспешил отказаться я. — Надо обратиться к адвокату. Вовсе в этом не разбираюсь.

— Да вас никто не просит разбираться! — возразила она. — Тони Гобетти, мой адвокатишка, между прочим, настоящий итальянец, хотя у него бабушка из Одессы. Он заявил, что все состояние моего мужа принадлежит мне.

— Великолепно! В чем же проблема?

Глаза у нее стали злыми.

— Но потом он оговорился, что есть какое-то ограничение. А переводчица чего-то бормотала — двух слов не понять. Переведите малюсенький кусочек. Вот где-то здесь...

Вздохнув, я прижал палец к указанному ею месту. «Движимое и недвижимое имущество, счета в банке и ценные бумаги, — прочитал я глазами, — в случае моей смерти переходят во владение моей жены Лилии Бурбон-Стемп, которая, разделяя со мной политические взгляды, должна употребить все эти средства на строительство социализма».

Я почесал затылок.

— Ну, что там? Что?! — с нетерпением спросила она.

* «Последнее желание и завещание Кена Стемп»

.....

Перевел как можно более точно.

— Какого еще, к дьяволу, социализма?! — воскликнула она. — Мне жить не на что.

Она прикусила губу.

— Тут так написано, Лилия...

— Ну, уж пусть выкусят! Что-нибудь я придумаю. На такой вздор денег не дам! Это я вам говорю, я, Лилия Бурбон!

Глаза у нее набухли слезами, и она их не вытирала. С шеи свисал на веревочке похожий на крестик ключ от велосипедного замка.

— Вы тоже, как и Кен, ездите в университет на велосипеде? — спросил я, чтобы сменить тему.

— Что я — рехнулась? — она вынула бумажную салфетку и стала осторожно прикладывать к глазам. — Наняла себе шофера с машиной, русского мальчика лет семидесяти, простоватого, как ослик. Думаете, легко держать личного шофера, когда пособие такое маленькое? Я, правда, еще в Германии получаю пособие и в Канаде — они пока не знают, где я живу... До чего я докатилась: у меня даже приходящей домой массажистки нету! Теперь надо хотя бы продать вещи, которые прислали к свадьбе.

— Верните подарки в «Мейсис» и заберете деньги.

Было видно, что она не поверила этой простоте, но не возразила.

Мои глаза опять остановились на велосипедном ключе, свисавшем у нее с шеи.

— Велосипед его я соседям продала. А ключ... — она взялась двумя пальцами за веревочку на шее и помолчала. — Кен всегда его носил. Вы не поверите, но я успела влюбиться... Мужчинам этого не понять. Я полюбила первый раз в жизни по-настоящему, и вот...

.....

Что тут возразишь? Может, впервые в жизни она выполнила обещание быть верной мужу до конца его дней: брак-то продолжался девять часов.

Едва заметно усмехнувшись, Лилия тихо прибавила, как бы заклиная саму себя:

— Ношу ключ в память о моем последнем муже...

Неожиданно вздрогнув, она попятилась назад.

— Чего вы испугались?

— Там кто-то есть!

— Где?

— За окном! — она протянула туда обе руки.

— Но это четвертый этаж — кто же с улицы может сюда заглянуть?

— Как это — кто? Он! Кен явился сюда!

Я просунул голову в полуоткрытую фрамугу. Внизу за деревьями виднелась ярко раскрашенная коробка драмтеатра, слева от нее окна кафедры музыки, из которых доносились звуки рояля, справа — кафедра живописи. Велосипедисты, как муравьи, двигались по обоим тротуарам, между ними прополз двухэтажный студенческий автобус. Больше ничего.

— Успокойтесь пожалуйста. Нет там никого! — заверил я Лилию.

— Ваша наивность меня уже не удивляет, — назидательно заметила она, озираясь. — Ведь Кен повсюду летает за мной, следит и особенно ревнует к мужчинам.

— Ах да, конечно! — только и оставалось мне произнести.

Она еще побродила по кабинету, разглядывая портреты классиков Серебряного века и мурлыча себе под нос что-то, похожее на стихи. Наконец повесила на плечо сумочку и пошла к двери. Взявшись за двер-

ную ручку, она вдруг обернулась и с некоторым задором спросила:

— Кстати, нет ли у вас на примете достойного меня мужчины? Только не такого старого, как Кен. И чтобы говорил по-русски. Я не привыкла жить одна.

Часть вторая

ТАНГО С ПРЕЗИДЕНТОМ

«Просто рисуй их, как видишь,
и черт с ними», — писал Хемингуэй.
Он утверждал правдивость своих рассказов,
важную для писателя. Но ушел далеко от правды,
чего мичиганцы до сих пор не прощают ему.
Пит Хейтер,
биограф Хемингуэя

1.

Отчитав лекцию о романах Тургенева, я побрел из класса в свой офис, прячась в тени деревьев от жутких ультрафиолетовых лучей. Была в разгаре весенняя четверть. Горло мое, осипшее, несмотря на прицепляемый к галстуку микрофон, нуждалось в теплой жидкости. Остановился купить стаканчик кофе и по дороге сосал его через трубочку, когда кто-то затопал сзади, догоняя меня, и сильно хлопнул по плечу.

.....

Это оказался коллега с кафедры англоязычной литературы, профессор Пит Хейтер. В прошлой четверти его лекция следовала за моей, и, ожидая, пока я закончусь, он маячил в дверном окошке, тычась носом в стекло. Теперь мы читали в одно время в соседних аудиториях.

Кличка его у студентов — Дятел. Он и вправду похож на птицу: поджарый, с длинным носом, и, когда говорит, слегка раскачивается, будто хочет клюнуть вас в плечо.

Не то чтобы я удивился фамильярности (в Америке скоро и студенты будут похлопывать профессоров по плечу), — странно было, что это сделал он, человек в футляре, чопорный, отстраненный от всеобщей суеты, никому не близкий, проводящий время за чтением архивных бумаг и микрофишей в библиотеке от открытия до закрытия. Он и питается для экономии времени в студенческой забегаловке на восемьсот посадочных мест, куда всегда попадает восемьсот первым и стоит в очереди.

Биограф и комментатор Эрнеста Хемингуэя, Пит Хейтер в молодости изъездил абсолютно все места, где знаменитый писатель точно или по слухам жил либо бывал. Об одном выдающемся открытии профессора Хейтера в области хемингуэеведения американские газеты писали как о сенсации.

Открытие Пит сделал возле городка Петоски, в штате Мичиган. Молодой Хемингуэй жил в тех местах, на озере Валун, в летнем коттедже «Уиндемеа» у своих родителей. Там он написал книгу рассказов о хулиганистом Нике Адамсе, очень похожем на самого рассказчика. Там же между ловлей рыбы и игрой в теннис обхаживал Айрин Голдстейн, самую красивую девочку городка, с которой у него ничего не получилось.

Но если верить добытому профессором Хейтером в доме для престарелых у самой старушки Айрин письму к ней пятидесятилетнего Большого Дядьки Эрни, как Хем называл себя, писатель любил ее всю жизнь.

Писем Хемингуэя по всему миру раскидано немало, и им никто не удивляется. Сенсацией стал обнаруженный Хейтером электрический столб, возле которого знаменитый писатель первый раз женился. К столбу этому газетер Хем, одетый по-фронтовому в униформу итальянского Красного Креста времен Первой мировой войны, прижал свою другую подругу Хадли Ричардсон. Обхватив ее вместе со столбом, Хемингуэй сообщил ей, что был ранен на войне 227 раз пулями и шрапнелью в разные места. Теперь он ранен двести двадцать восьмой раз — ею, причем в самое сердце. Хем поцеловал Хадли и сделал предложение.

К сожалению, мемориальной доски на столбе все еще нету, хотя Хейтер пробивает ее у тамошних властей лет десять и никто не сказал ему «нет». На двери туалета с очком во дворе коттеджа родителей маэстро висит табличка: «Здесь сиживал Эрнест Хемингуэй». А на его, так сказать, брачном столбе — ничего нет! Уже и столб-то, который обнимал классик, рухнул, электрики поставили новый, бетонный, который никогда не сгниет. И все давно «за», а дело не сдвигается.

Ну, если более серьезно, то Хейтер написал три книги и сто двенадцать статей, предисловий и комментариев, охватив все стороны жизни классика. Наверняка профессор знал об этом великом охотнике, любителе кошек, пьянице, бабнике и Нобелевском лауреате, а также его многочисленных подругах и четырех женах — Хадли, Полин, Марте и Мэри — больше, чем сам бородач Хем. При этом биограф был абсолютной противоположностью знаменитому писателю.

.....

Все, кто только хотел знать, знали, что худощавый и высоченный, как уличный фонарь, Хейтер, которому шестьдесят четыре, — убежденный холостяк. Отчего он всю жизнь сторонился женщин, оставалось загадкой. Даже с хорошенькими секретаршами, которые с каждым, кто рядом, общаются так, будто сию секунду, прямо на рабочем месте, готовы на все, Пит контактил строго по делу, отводя слегка косящие глаза на экран ближайшего компьютера.

Как обо всех закоренелых холостяках, предпочитающих и на работе беседовать больше с мужчинами, о Пите ходили разные слухи — в основном, насчет его голубой ориентации.

В университете у нас, да и вообще в Калифорнии, если уместно об этом упомянуть, принадлежность к данной группе людей дает, коли индивиду охота выпячиваться, даже некоторые преимущества: голос меньшинств сегодня сильнее голоса толпы, и Америка такие голоса слушает охотно. Если же человек не выпячивает своих гомосексуальных склонностей, то сие никого не колышет. Даже за спиной говорят осторожно, чтобы случайно не обидеть человека.

Так вот, в применении к профессору Хейтеру все это совершенно не соответствовало действительности. В его аскетическом равнодушии к мирским страстям наличествовало нечто не просто академическое, но и почти монашеское. Если он и пылал однополрой страстью, то только к Хемингуэю и только в интересах американской литературы.

Теперь, хлопнув меня по плечу, Хейтер вдруг, как мне показалось, немного смутился. Опустил глаза в землю, потом глянул на небо. Предки его из Ирландии, оттуда приезжали люди напорстые, чего он со мной деликатничает?

— Послушай, коллега, — сказал он неестественным для него полупшепотом, — перекрещиваемся с тобой в каких-то дурацких комитетах и на собраниях, а почему ни разу не поланчевали вместе?

Не зная, что ответить, я пожал плечами. В самом деле, почему?

— Это всегда поправимо, — промямлил я.

— Вот! И я так думаю! — обрадовался он, словно боясь, что я откажу. — В даунтауне открылось симпатичное местечко, где хозяин кормит пока что очень даже ничего, ресторанчик «The Mustard Seed»*. Посидим. Растолкуешь мне хотя бы, что за бардак происходит в России, а то я ничего не понимаю. Давай сегодня, а? Может, прямо сейчас?

Все на университетском кампусе заняты плотно, и о совместном ланче (русские словари упрямо пишут «ленч», но никто в мире так не говорит) у нас принято договариваться заранее, хотя бы за неделю. Чего вдруг Питу приспичило? Российские проблемы никогда его не волновали, а если теперь он, прослышав что-то, заинтересовался, то открой «Нью-Йорк Таймс». У меня дел по уши на кафедре, а дома лежат три неоконченные рукописи. Но если ланч отложить, Хейтер обидится.

Короче, сговорились: через час он за мной зайдет.

2.

Явился он минут через сорок и ждал, опершись о дверной косяк. У меня ушло некоторое время, чтобы развязаться с приемом студентов, и мы отправились

* «Горчичное семечко».

.....

пешком в даунтаун (хотя надо сказать «в центр города», все равно это даунтаун).

По дороге говорили о ничтожном, даже о погоде. Я его не торопил, полагая, что он сам раскроет причину срочной совместной трапезы, но все-таки пытался догадаться, чего ему от меня столь спешно понадобилось. Скорей всего, попросит поддержать при голосовании в академическом сенате — «за» или «против» какого-нибудь нововведения. Или рекомендацию для его аспиранта. А может, захотел издать в России перевод своей биографии Хемингуэя?

В «The Mustard Seed» нас посадили лицом к лицу за маленький столик у камина. В нем лежали натуральные дрова, но холода давно прошли, камин до осени не понадобится.

— Бутылку «Короны» и салат «Цезарь» с итальянской заправкой, — решительно заказал Пит. — А ты не хочешь пивка?

— Бутылку «Saint-Pauli Girl», — заказал я официанту.

Велев подать мне, кроме этого бременского пива, которое я очень уважаю, чашку бостонского протертого супа из креветок и кальмара и салат с тунцом, я спросил Пита — просто так спросил, чтобы не молчать:

— Что слышно у вас на кафедре? Деньги опять урезали?

Официант поставил нам по бутылке с пивом. Хейтер налил себе, с жадностью отхлебал полбокала и вытер салфеткой рот.

— Дьявол ее забери, кафедру! Гори она синим пламенем!.. Я вот что хотел спросить...

Он глянул на меня испытующе, все еще в сомнении, можно ли мне доверять, и отвел глаза в сторону,

на дрова в камине. Мне показалось, что из-за нервничания правый глаз у него стал косить чуть больше.

— Последующее строго между нами, ладно? — Пит отхлебнул еще пива. — У тебя в классе в конце прошлой четверти замечена одна симпатичная студентка. После она исчезла... Как ее зовут?

Я прикусил губу. Разговаривать на эту тему по ряду не вполне понятных причин у нас не принято. Администрация университета периодически настойчиво предупреждает в конфиденциальных письмах, что флирт на работе вообще, а особенно между теми, кто учит и кто учится, крайне опасен для вашей карьеры. Кампания против сексуальных домогательств перешла все разумные границы. Не так глянете на студентку, а она, обиженная низкой оценкой, заявит в суд, что вы ее домогались; она-де стальной, морально устойчивой монолит, и плохая оценка — месть за ее несговорчивость. И пойдет тяжба...

Но в данном случае даже не в этом дело. Убежденный, я бы сказал, легендарный холостяк, Пит Хейтер обратил свой отстраненный взор на мою студентку, а у него самого их в классе полсотни — вот от чего можно вдвойне опупеть. Однако пришлось сделать вид, что все так и должно быть. Придумывая ответ, я помолчал.

— Какая из них? — наконец выговорил я. — В моем классе не одна — все симпатичные.

Пит, похоже, решил, что мне из, так сказать, политико-административных или личных соображений не хочется назвать ему имя.

— Значит, не хочешь сказать... Ты что, сам на нее глаз положил? — ревниво спросил он.

Факт, что Пит, по своей монастырской наивности, думает, будто весь мир просто не может не влюбиться в какую-то девочку, на которую он обратил внима-

.....

ние, тоже настораживал, хотя бы своей дикой серьезностью. От безостановочного гуляки Хемингуэя преданный ему до мозга костей биограф в смысле жизненного опыта ничего не перенял.

— Да брось ты! — поспешил я охладить его, поняв, что не отшутиться. — При чем тут мои симпатии? Просто класс большой. Как хоть она выглядит?

— Не прикидывайся! Ты прекрасно знаешь, о ком я...

— Клянусь, понятия не имею! Какие-нибудь приметы?

— Э-э-э, чрезвычайно благородная леди, статная, с бусами на шее. У нее такой европейский вид... Конечно, уже не девушка, но еще оч-чень ничего.

Тут до меня дошло. Значит, стоя в коридоре и глядя через дверное стекло внутрь, когда я затягивал лекцию, он-таки разглядел, что она не девушка.

— Это, вероятнее всего, Лилия Бурбон.

— Лилия Бурбон? Вот как! Весьма примечательное имя. Француженка?

— Что-то вроде того... В переносном значе...

Он меня перебил:

— Лилия!.. Цветок благоуханный... Да еще Бурбон... Она что, королевского рода?

— Не на сто процентов. Но муж ее был подлинным родовитым Бурбоном.

— Был? Значит, сейчас она не замужем, твоя студентка?

— Да она вовсе не студентка!

— А кто ж?

— Просто приходила пару раз на мои лекции. Она тебе... всерьез нужна?

— «Нужна» без проверки — слишком опережающе сказано, — задумчиво проговорил Пит. — Хотя... от нее исходят некие флюиды. Ты не почувствовал?

Та-ак! Вот и еще субъект нафлюидился.

Мой покойный студент Кен Стемп прибил к ней наверняка далеко не первым. Но получилось, что оказался не последним, обвороженным этой примечательной особой. Кен женился и умер, Пит на четверть века моложе, но...

Как бы вы поступили на моем месте? Сказать моему коллеге, что его любимая девушка — ровесница Хемингуэя, или промолчать? В конце-то концов, какое мне дело?

И впрямь, стало быть, есть в Лилии Бурбон нечто мистическое, божественное или, наоборот, дьявольское, некая аура что ли, попав в которую, мужчины (уж не знаю, все или только кое-кто из них) готовы потерять независимость, падают перед ней на колени или, говоря по-простому, пристают, как мухи к липучке. Прямо-таки сверхъестественная способность обольщать.

— Знаешь, что меня в ней больше всего поразило? — перебил мои мысли Пит.

Конечно, интересно, что именно.

— Ее спина! — в восторге выпалил он. — Прямая, как редвуд.

Редвуд, или красное дерево, растет у нас в Северной Калифорнии везде. Дерево неприхотливое, резких перемен климата не боится. Кажется, это разновидность секвойи, эдакая гигантская елка, вечнозеленая и постоянно осыпающая засохшие ветки. Возле моего дома несколько лет назад рос огромный редвуд, и я, устав чистить крышу и водостоки, вызвал лесорубов, и его ликвидировали.

Значит, Питу понравилась в профиль ее спина. Спина так спина... Почему бы и нет? Каждый находит в женщине нечто, вдохновляющее больше, чем

.....

другие части ее тела или души. Когда-то один мой приятель даже сочинил шедевр на эту тему. Не знаю, в каких краях сочинитель, но сам перл помню:

Обыщи хоть полстраны,
Обойди хоть пол-Европы.
Лучше нет на свете попы,
Чем которая жены.

А согласно профессору Хейтеру, важнее спина. Сравнение женской спины с деревом, предложенное Питом, оставляю на суд читателей.

Нам принесли еду, я отломил кусочек горячего хлеба и сосредоточился на супе.

— Если она не студентка, — продолжал наседать на меня Пит, — так кто же она, твоя таинственная слушательница?

Его патетика несколько раздражала.

— Она недавняя эмигрантка из России.

— О! Русская?! — Пит вдруг изменился в лице.

— А что, разве это меняет дело?

Спросил я потому, что о русских в Сакраменто сейчас пишут в местных газетах всякое, и отнюдь не всегда только хорошее.

Отечественное ворье, наркоманы и алкоголики вполне успешно прибывают в Штаты по тем же каналам, что и порядочные эмигранты. Молодые русские бездельники угоняют машины, получают сроки. Один совершил убийство, удрал в Украину, сейчас посажен там не без подсказки американской полиции. Читал в газете, что трое здесь сидят за использование в магазине чужой кредитной карточки.

По-прежнему в эту страну легко впускают пострадавших баптистов и пятидесятников, кото-

.....

рых в Советском Союзе действительно преследовали и потому беспрепятственно впускали в США. Но теперь многие, получив письма родственников, что деньги тут просто дают всем приехавшим, таковыми прикидываются. Дошло до того, что в американских консульствах в Москве и Киеве перед тем, как выдать визу, открывают Библию и устраивают маленький экзамен. Но и он не спасает положения.

Среди иммигрантов попадают даже такие, которые не знают, что они иммигранты. Я встретил одну немолодую женщину, она оказалась пятидесятницей. Сюда приехали из Сибири всем приходом от мала до велика. И та, которую я встретил, не знала, что она уже тридцать лет живет в Америке. Помнит, что из родной деревни ее куда-то повезли родственники, но в географии, да и вообще в грамоте, она не сильна: «Мне, говорит, везде хорошо».

— Выходит, она русская! — медленно повторил Пит. — Балшой театыр... Как же, видел «Swan Lake»* в Метрополитен опера... Тшайковски...

Упомянув «Лебединое озеро» и Чайковского, он, бесспорно, потряс меня своей эрудицией. Но как это связано с Лилией Бурбон?

— Не думаю, что она имеет хоть какое-нибудь отношение к Большому...

— Но уж наверняка, — возразил он, — она умеет готовить этот, как его, борщч-щч-шшш...

Невольно я глянул на него с некоторым удивлением, ибо он тут же принялся объяснять:

— Это такой суп из капусты и свеклы, пальчики оближешь... Один раз я ел в русском ресторане в

* «Лебединое озеро»

.....

Сан-Франциско. Я абсолютно уверен: русская леди умеет варить борщ-шч-шшш!

— Может, и умеет, но не поручусь, — сказал я. — А тебе нужен повар?

— Почему — повар? Я и сам неплохо готовлю... У меня, если хочешь знать, целая библиотека кулинарных книг со всего мира. Видишь ли, я подбираю парт-нер-шу.

Конечно, он подбирает партнершу. Кого же еще? Пит спросил:

— А она любит Хемингуэя?

Перестав есть, я уставился на него.

— При чем тут Хемингуэй?

— Как же мне с ней познакомиться? В Советском Союзе, я слышал, старик Хем очень популярен. Может, пригласишь ее на мою лекцию?

— Сперва надо твою пассию найти...

— Придумай что-нибудь, чтобы наши пути скрестились.

В возбуждении Пит так и не притронулся к салату.

Выйдя из ресторанчика, мы разошлись в разные стороны. Вдруг он меня окликнул:

— Послушай, а сердце у нее здоровое?

Он что, лошадь выбирает? Так ведь я не ветеринар... Дьявол его заberi, этого Хейтера, с его заскокками!

— О здоровье следует узнать у ее доктора, если он раскроет врачебную тайну. Хочешь, чтобы она тебе родила?

— Ни в коем случае! Дети — это головная боль.

— Ну, Пит, если ты о болезнях, то я расскажу анекдот. Бабушка спрашивает: «Как зовут этого немца, с которым я уже десять лет живу?» И внучка ей отвечает: «Альцхаймер, бабушка».

Наконец-то Хейтер изобразил улыбку, махнул мне рукой и зашагал прочь. Вопросов, связанных с Россией, в которой Пит Хейтер ни хемингуя не понимает, как я и предполагал, затронуто не было.

Кто бы мог подумать, что Дятел так загорится. А себя мне стало жалко. И без того непрерывно ворчу, что всякие глупости отрывают меня от письменного стола. Вот теперь еще Хейтер требует внимания. Пригласить ее на его лекции, когда она не понимает английского? Впрочем, дело не в Хемингуэе...

Первый раз в жизни мне предстояло заделаться сводником.

3.

Найти Лилию оказалось не очень сложно.

Русских в Сакраменто живет теперь больше семидесяти пяти тысяч, и канал местных теленовостей недавно гордо сообщил, что столица Калифорнии становится Little Moscow*. Это глупость, ибо пятидесятники и баптисты рвутся сюда из Сибири и Украины. Однако же многие эмигранты знают многих, селятся поближе друг к другу, а мало-мальски заметные личности вообще на виду — не один, так другой их знает. К тому же по фамилии просто найти практически любого человека, если он не кинозвезда и не платит местной телефонной компании, чтобы его номер заблокировали секретными кодами.

Короче говоря, ваш покорный слуга, а теперь сватья баба Бабариха, должен звонить Лилии Бурбон.

* маленькая Москва.

.....

Этому не свойственному мне занятию я всячески противился, и поручение Пита Хейтера легло на мою жену.

Lilie Bourbon просто значилась в телефонной книге Сакраменто. После нескольких дежурных фраз о самочувствии и трудностях эмигрантской жизни Лера перешла к самому главному:

— Вы, Лилия, просили моего мужа подыскать вам друга. Вроде бы такой человек объявился, и он хотел бы с вами познакомиться. Понятно, что все неопределенно, но вдруг получится...

— Он чей знакомый? — уточнила мадам Бурбон.
— Ваш или вашего мужа?

Установив, что это знакомый мой, Лилия захотела говорить именно со мной, и, как я ни сопротивлялся, все равно пришлось взять трубку, с которой я отправился в ближайший парк, чтобы как-то компенсировать времяпрепровождение.

Буйная весенняя зелень, которую я не замечал из-за катастрофической занятости, краски и запахи распускающихся в апреле цветов отвлекали и расслабляли. Не то бы начал злиться. Казалось, чего ей мудрить: ответить «да», встретиться с ним самой и решить. Или сказать «нет» и не встречаться. Так сделала бы любая другая женщина, но не эта. Лилия спросила:

— Он белый или черный?

— Белый, даже не загорелый...

Вопросы задавались разнообразные, она переспрашивала по нескольку раз, пока не добивалась объемного ответа. После допросов в известной организации, имевших место в московской части моей жизни, так меня больше никто не допрашивал. К счастью, на этот раз — без риска сесть. Но я недостаточно знал

Хейтера, чтобы удовлетворить любознательность Лилии. И увертывался от вопросов, точь-в-точь как в той самой организации.

— Опишите, как он выглядит.

— Нормально...

— Он достигает моего интеллектуального уровня?

— Мне представляется, конкурентоспособен.

— Это уже кое-что... А хорошо воспитан?

— Вполне.

— Сколько ему лет? Мне надо, чтобы было не более шестидесяти.

— Но ведь... — вырвалось у меня, и я заткнулся.

Фантастическая женщина: самой-то ей девяносто шесть.

— Знаю, что вы хотели сказать! — голос ее посуrowел. — Дьявол меня дернул вам проговориться. Надеюсь, вы ничего не разгласили? Имейте в виду: теперь мне пятьдесят девять лет. Запомнили? Пятьдесят девять и ни копейки больше!

— Но, Лилия, извините меня за нескромность. Каким образом?

— Вы же слышали, что мексиканцы этим занимаются. Мы с моим шофером сгоняли в Мексику, в Тихуану, знаете?

Еще бы я не знал Тихуану... Мы там иногда покупаем сувениры. Это пару часов от Лос-Анджелеса на юг по Пятому фривею. Без остановки пересекаете контрольные пункты на границе. Никого в окошечках на выезде нет. Минута — и вы в Мексике. Тихуана — ядовито раскрашенный (почему-то они там любят стены, вымазанные синим и оранжевым) грязный городишко спекулянтов и держателей борделей.

Смуглые женщины, возможно, и несовершеннолетние, стоят у ресторанчиков и магазинов; если вы

.....

один, показывают вам глазами на занавешенные красными шторами окна второго этажа. Зазывают к себе дешевые халтурщики-автомеханики, такого же уровня зубные врачи, и везде шныряют уила-дилеры, а порусски — шахер-махеры, предлагая услуги в любой области, но тяготеют к фарцовке.

Назад в Штаты на машине с американским номером въехать несложно. Дорога расширяется рядов на двадцать. На будках висят плакатики: «Покажите водительские права». Первый раз, остановившись, я спросил американского полицейского:

— Показать права?

Он устало потер лоб:

— Ну, покажите, если вам хочется.

С тех пор больше не показываю...

— Так что вы, Лилия, делали в Тихуане?

— Как что? Справила себе за скромную цену новую дату рождения. Теперь мне пятьдесят девять. Все чисто!

— И много с вас взяли, если не секрет?

— О! Мексиканцы — настоящие мужчины! «Мадам, — сказал мне Родриго, зубной врач, которого мне порекомендовали знакомые русские из Сан-Диего, — вы так хорошо выглядите, что вам я все сделаю за пятьдесят процентов».

— Сделаю что? — не понял я. — Зубы?

— При чем тут зубы? Новое свидетельство о рождении...

Зная, что у нее нелады с английским, я спросил:

— А на каком языке он вам это сказал?

— На русском, конечно! По-испански я так же хорошо понимаю, как по-английски. Сперва он объяснил, что окончил медицинский институт то ли в Омске, то ли в Томске. Потом засмеялся и уточнил, что

.....

он учился в Омске-Томске сексу со студентками мединститута, а диплом русского врача нарисовал потом себе в Тихуане и теперь под вывеской дантиста улучшает документы.

— Значит, «улучшает»... «Сделаю за пятьдесят процентов»... А от чего? — не понял я.

— Как от чего? — Лилия умолкла, соображая. — Видимо, от какой-то принятой у них суммы... Но вы меня отвлекаете от сути дела. Так что, собственно, представляет из себя этот мой жених?

— Вообще-то он еще не жених...

Она это проигнорировала.

— А на русском он хорошо говорит?

В памяти всплыло, как Лилия возмущалась, что ее покойный муж Кен Стемп еле-еле говорил по-русски, и как она издевалась над его акцентом.

— Говорит! — уверенно заявил я. — Знает четыре слова: «Большой театр», «борщ» и «Чайковский».

— Вы серьезно или дурачитесь? — после паузы спросила она.

Я промолчал. В Америке по непонятной и возмущающей Лилию Бурбон причине, несмотря на ее приезд, продолжали говорить по-английски. На осознание этой суровой истины у нее ушло много времени. Но, видимо, что-то в ней сдвинулось. Может быть, впервые в жизни здесь она почувствовала сопротивление материала: на ее родной язык американский народ упорно не переходил. И теперь она, поняв безысходность ситуации, поразмыслив и поколебавшись, прибавила безо всякой иронии:

— Четыре слова — это уже кое-что... Ему известно, что я — знаменитый русский поэт?

— Думаю, пока не знает.

.....

— Чего же вы его не просветили? Я прежде всего поэт, и только потом — женщина! А где он живет?

— Трудный вопрос. Большею частью, в университетской библиотеке.

— Чем же он занимается?

— Он профессор современной американской литературы.

— Хм... И знает слово «борщ»? Но пусть не рассчитывает, что я буду ему готовить.

— Поведайте об этом ему самому, если возникнет необходимость, ладно? А пока могу я передать привет от вас? Например, сказать, что вы не против встречи...

— Зачем?

— Ну, как жест доброй воли...

— Не вздумайте! Чего доброго, он решит, что я легко согласилась, а это совершенно неприемлемая линия поведения. Мужчины мыслят, как ослы. Морковку перед ними надо всегда держать на расстоянии. Вот что: мы с ним встретимся совершенно случайно. Значит, так, запоминайте...

И она расписала по телефону весь сценарий и мою роль. Таким образом, голову мне ломать не пришлось. Да я бы так и не придумал. Мне предписывалось действовать в строгих рамках инструкции.

4.

В конце рабочего дня, когда уже смеркалось, я пришел в университетскую библиотеку. Оставалось два часа до ее закрытия, экзамены далеко, и в залах посетители почти не встречались. На полках в Славянском отделе я взял несколько книг, выбрал стол непо-

далеку от выхода, накинул на спинку соседнего стула пиджак, уселся и стал перелистывать страницы, делая кое-какие выписки. Это, по крайней мере, не пустая трата времени. Но сколько мне предстояло сидеть, оставалось совершенно не ясным, и я злился на Лилию, а еще больше на самого себя, что вляпался в нелепую историю, нужную мне, как волку жилетка.

Не пролистал я и сотни страниц, когда кто-то сзади больно шлепнул меня по плечу.

— Боже, какое счастье, что я тебя встретил! Ты позарез нужен!..

Явился согнувшийся пополам Пит Хейтер.

— Что случилось? — согласно инструкции удивился я.

Нос его уткнулся мне в самое ухо, лицо покраснелось, глаза, разошедшиеся в разные стороны, нежно сияли. Почему он не сделает простую операцию, чтобы не косить?

— Она здесь! — прошептал он, хотя вокруг никого не было.

— Кто?

— Да Лилия!

— Прости, никак не соображу. О ком ты?

— Господи, твоя студентка с красивой спиной! Или не студентка, все равно... Оказывается, она работает над большим проектом и тоже читает микрофиши в архиве... Как только я ее заметил, еще днем, быстро пересел за проектор рядом с ней. Мы с ней полдня провели вместе как товарищи по оружию.

— А я-то тут при чем?

— Собственно, я бежал в отдел словарей, чтобы взять англо-русский, и тут тебя увидел. Сегодня мне везет! Ты не поможешь? Я не все понимаю, что она говорит, а это принципиально важно.

Он нервно сжимал и разжимал пальцы.

— Послушай, Пит, я, собственно, уже заканчиваю. Жена приходит домой через полчаса, и будем обедать...

Возможно, я переигрывал, войдя в роль, но Хейтер не замечал.

— Пойдем со мной, пожалуйста! — просил он. — Много времени не займет...

Оставалось тяжело и медленно вздохнуть, надеть пиджак и... Короче, мы вошли в лифт.

— Видишь, тебе не пришлось трудиться, чтобы нас познакомиться, — гордо изрек Пит. — Я сам все осуществил!

Пересекая подвал, я кивнул сидевшей за стойкой Лукреции, пухлой негритянке, библиографу отдела фотокопий и микрофиш, и она помахала мне рукой.

В полутьме читального зала я поначалу не узнал Лилию, а когда Пит подвел меня к ней, не мог не оценить ее вкуса. Тело мадам обтягивали изящные узкие белоснежные брючки в крапинку, ярко-красная кофточка подчеркивала немаленькую грудь и, обратив внимание, бусы обмотаны вокруг шеи в немыслимое количество рядов. В этих бусах таилось что-то древнеегипетское, а заодно скрывались морщины. Сидела она, ничуть не горбясь, — в самом деле, редвуд.

— Я почти уверен, что вы знакомы, — сияя, проговорил Пит, приняв своего рода дипломатическую позу.

— Ах, какой неожиданный и приятный meeting!* — артистически произнесла Лилия, очаровательно улыбаясь и протягивая мне руку. — Мы с вами не ви-

* встреча.

.....
делись for a long time!* Оказывается, вы с Питом friends...

Процент вкраплений английского у нее повысился.

— Конечно! — патетически воскликнул Пит, опять в возбуждении хлопнув меня по плечу. — Мы не только коллеги, но и старые друзья. И оба, если вы разрешите, будем вашими друзьями. Мне хотелось бы реализовать счастливую возможность, Лилия: сказать вам, что в вас есть скрытая страсть. Вы напоминаете сказочную принцессу...

Вот для чего я им срочно понадобился! Мы рождены, чтоб сказку сделать флиртом.

Лилия выслушала перевод и сделала вид, что удивилась, но явно осталась довольна комплиментом.

— Неужели вы это разглядели, Пит? Далеко не каждому мужчине это удастся...

Она коротко взглянула на него и тут же потупила черные глаза, или, если настаиваете, очи. Ее намакияженные щеки (то, что моя нью-йоркская знакомая называет «нарисуем свежий деревенский воздух») порозовели еще больше.

Пит, подумалось мне, сейчас взлетит и будет парить под потолком. Но этого не произошло. Он остался на паркетном полу, только поклонился, качнувшись на пятках, и его длинный нос чуть не задел стоявший рядом проектор. А где же главный комплимент — ее спине, прямой, как редвуд? Он что, держит его про запас? Ее длинные, как опахла, фиолетовые ресницы, густо покрашенные или, скорее, приклеенные, хлопали, прикрывая тайные

* целую вечность.

.....

взгляды, которые она на него бросала. От таких взглядов и при отсутствии спины рухнешь на колени!

Из библиотеки мы вышли втроем. Пит выяснил, что у Лилии нет машины, и вызвался отвезти ее домой. Она ответила, что у нее имеется личный шофер, которому надо позвонить, и он за ней приедет. Но прибавила игриво:

— Если настаиваете — подчиняюсь...

На парковке, перед тем как разойтись по машинам, Лилия мне подмигнула, и стало немного жаль Пита, хотя никто его на аркане не приводил. Усаживая ее, он промурлыкал заботливо:

— Я пододвину сиденье, чтобы было комфортно вашей великолепной спине.

То-то же! Слава Богу, про спину не забыл.

Опять я перевел, и Лилия удовлетворенно кивнула, выгнув спину, как кошка, которую погладили. Разве что не замурлыкала.

— Эмигрантам в Америке сложновато, — сочувственно продолжал Пит. — Мы-то все родились за рулем...

— Ах, я бы тоже хотела водить саг, — вдруг размечталась Лилия и надула губы, как обиженный ребенок. — Что я, глупее американок?

Семя попало в благодатную почву. Пит немедленно вызвался научить ее этому нехитрому занятию.

— Для меня не может быть большего удовольствия! — с излишним пафосом воскликнул он.

Тут и повод для сближения, подумал я. Перевел ей сказанное этим влюбленным хемингуэведом, ушел к своей «Тойоте», захлопнул дверцу и вырулил на улицу.

5.

Вот уж не думал, что события будут развиваться с такой скоростью.

Через пару недель мы с Питом сели рядом в комитете по студенческим петициям. Раз в месяц собирается группа профессоров с администрацией и рассматривает жалобы студентов на низкие оценки. Если налицо документы, что кто-то не сумел сдать экзамен, например, из-за серьезной болезни или смерти близких, оценка отдается на пересмотр преподавателю. Чаще же студенты жалуются, что профессор не принял к сведению их участие в бейсбольном матче или опоздание на экзамен из-за дорожной пробки.

В перерыве заседания, когда принесли чай, Пит сообщил мне на ухо, что Лилия под его чутким руководством уже учится водить машину.

— Она делает колоссальные успехи, — сказал он, мысля позитивно, как большинство американцев. — Только пока еще не всегда ровно держит руль. Машина у нее вихляет задом, как проститутка на Мон-Мартре. Из-за языкового барьера мне не удастся ей это толком объяснить, а язык жестов не всегда доходчив. Прошу тебя, окажи мне маленькую услугу, сядь с ней рядом и объясни, как держать руль.

К вечеру мы встретились на парковке возле университетского драмтеатра. Площадка почти опустела. Солнце уходило за горы, и серые тени деревьев удлинились. Лилия мне подмигнула, села за руль белой Питовской «Хонды», а я рядом, на переднее сиденье. Пит разместился сзади, уложив

.....

свои длинные ноги поперек машины. Нажав кнопку, он подвинул ее сиденье вперед.

Лилия решительно завела мотор, и «Хонда» двинулась по проезду вокруг парковки. «Главное — научиться останавливаться», — всплыл в памяти завет бывшего московского таксиста, который учил вашего покорного слугу вождению лет сорок назад в тихих переулках Садового кольца.

— Видишь? — Пит клюнул своим длинным носом в мое ухо. — Мы неплохо едем, а?

Все же он нервничал. «Хонда», как ни странно, двигалась вперед, но вихляла то влево, то вправо.

— Ну как? — Лилия глядела на меня с торжеством жокея, вырвавшегося вперед в заезде.

— Сосредоточьтесь на дороге, — осторожно заметил я. — И, если вам нужен мой совет, не крутите руль туда-сюда. Машина сама едет прямо, если ей не мешать.

— Сама? — переспросила она, крепче вцепившись в руль.

— Сама... Только подправляйте немного...

У нас наметилось некое тревожное ускорение. Оно стало быстро расти.

— Не спешите! — гавкнул сзади Пит. — Учитесь ездить медленно...

В другой ситуации я бы развеселился, услышав этот интернациональный совет. Но теперь только поспешно перевел.

— Она же сама разгоняется, — возразила Лилия. — Я-то тут при чем?

— Жмите на тормоз! — крикнул я. — Быстрей!

— А где тормоз? Помню, где-то был, ускользнул из-под ноги...

Лилия навалилась грудью на руль. Мы мчались вокруг парковки, по кругу.

— Brake! Brake!* — просипел Пит.
— Тормозите же! — крикнул я, одновременно тщетно пытаясь своей ногой сдвинуть влево, к тормозу, ее ступню, намертво приросшую к газу.

Лилия словно окаменела. Я никак не мог исхитриться своей рукой подправить руль, в который она вцепилась, точно в спасательный круг. «Хонда» стремительно неслась вперед, к единственной машине, оставшейся на огромной парковке. Вокруг полно свободного места, но Лилия рулит прямо на этот голубой «Бьюик».

Наконец Пит, просунув руку между передними сиденьями, сообразил рвануть ручной тормоз. Немного накренившись на один бок, мы врубались в заднее крыло «Бьюика», сдвинув его в сторону, что смягчило удар.

Капот перед нашими носами заскрипел и нехотя открылся. Я взглянул на Пита: он побледнел, капельки пота стекали со лба и висели на бровях. Наверное, я выглядел не лучше.

— Никогда не думала, что американский автомобиль — такое тупое животное. Тупей мужчины, — сев на своего любимого конька, Лилия взглянула на меня. — Только последнее не переводите...

— «Хонда»-то — автомобиль японский! — в Пите не к месту проснулась национальная гордость.

— Все равно тупой! Не может даже понять, чего мне надо — тормозить или ехать...

Мы медленно приходили в себя. Лилия все еще сидела, вцепившись в руль. Пит нагнулся, вытащил из бардачка телефон, набрал 911 и назвал номер нашей парковочной площадки.

* Тормоз! Тормоз!

.....

— Вероятно, — заметил он, — в вашем случае, Лилия, в целях безопасности надежнее иметь шофера. Я, безусловно, тоже готов вас подвозить всегда, когда у меня есть время...

Подъехал университетский полицейский, такой же худой и длинноносый, как Пит. Страж порядка пожал нам руки и глянул на разбитый передок «Хонды» и покачал головой.

— Жарко сегодня, — успокоил он. — От этого все...

Он кинул на сиденье фуражку, ласково обнял Лилию за талию, как ребенка, вынул из-за руля и перенес к себе в машину на заднее сиденье. Хейтер ревниво следил за его движениями. Полицейский стал заполнять бумаги. Лилия вдруг насупилась. Пит стал ее утешать:

— Страховка все оплатит...

Степень его нежности возросла.

А я молчал и наслаждался тем, что мы все трое остались живы. Там, рядом с «Бьюиком», растет огромный дуб лет трехсот от роду. Об этом дереве даже писала местная газета, что на его нижних ветвях двести лет назад вешали преступников. В отличие от «Бьюика» дуб от удара с места бы не сдвинулся.

6.

Шут их знает, что между Питом и Лилией происходило, но однажды Хейтер подсел ко мне за столик в студенческой забегаловке. Между двумя лекциями я торопливо жевал пиццу, запивая ее кофе-латте. Я всегда его там пью: в нем мало кофе, зато много обезжиренного молока.

— Не мое дело вмешиваться в твою программу, дружище, — сказал Пит, пластмассовой ложкой прихлебывая чили — мексиканскую бобовую похлебку с острым кайенским перцем. — Но, извини, спрошу чисто по-приятельски... Почему ты противишься расширению тематики?

— В каком смысле?

— Обзорный курс поэзии двадцатого века ты ведешь, а самая выдающаяся русская поэтесса современности остается в нем неупомянутой.

Вторжение в чужие планы преподавания — нахальство беспрецедентное. Никто никогда такого себе не позволяет: ни деканы, ни канцлер университета, ни правительственные чиновники. О коллегах и говорить не приходится. Ведь это же посягательство на академическую свободу! Может, где-нибудь в другой стране сие мыслимо, но только не в Америке. Тот факт, что Пит об этом заговорил, доказывал, до какой степени он подпал под влияние.

— И ты туда же! — возмутился я. — Да кто тебе, мужик, сказал, что она «самая»?! Она сама?

— Она, — невозмутимо признался Пит. — Ее именем скоро назовут библиотеку в Москве. Кстати, это свидетельство того, что она быстро осваивается в Америке. Мы говорим: «Blowing one's own horn»*. И Лилия надувает щеки изо всех сил.

— Ты, Пит, знаешь хоть одно ее стихотворение?

— Пока нет, но...

— Хочешь, почитаю тебе, что помню с детства. Мы все долбили это в школе наизусть. Вот послушай:

* «Дуть в свою дудку».

.....

Хочу воспеть тебя, социализм!
 Где рифму взять под праздничное слово?
 И рифма эта будет — коммунизм.
 Я хоть сейчас туда лететь готова.

Само собой, пришлось перевести это для Пита экспромтом на английский, и получилось не столь эффектно. Но я старался не отступать от оригинала и продемонстрировать весь блеск сего шедевра двадцатого века.

— Нравится? — спросил я, дав ему возможность осмыслить текст.

— Неплохо! — хладнокровно парировал Пит. — Поэт видит себя птицей, летящей в завтра... Между прочим, старина Хем тоже считался леваком и обнимался с Фиделем Кастро, не так ли? Что из того? Никто, кроме русских и вьетнамцев, сегодня не воспринимает эти идеи со страхом. Леваки придают жизни некий аромат.

— Аромат или запах?

— Ладно, запах. Разница какая?

— Такая, что на практике, как видишь, она прилетела туда, где совсем другой аромат!

— Как сказать... У нас эти идеи еще не апробированы.

Не хватало только их тут апробировать! Куда ж мне тогда опять эмигрировать? Знаю по опыту, что объясняться на эту тему совершенно бесполезно.

— Иди ты, Пит, знаешь куда?!

— Куда? — со спокойным любопытством спросил он.

— К Хемингуэю...

Он понял это буквально.

— О'кей! Лилия, хотя она молода душой, — принался рассуждать Хейтер, — близка представителям

.....

потерянного поколения, которому принадлежал дядюшка Хем.

— Интересная мысль, — сказал я.

— Да, мне едва стукнуло двадцать, когда меня с Хемом познакомили. Я мечтал стать известным журналистом, как он. Но когда я его видел, он всегда икал, накаченный виски с содовой, и нес несусветную чушь насчет всемирного братства, которое он, как такой же бородач Маркс, представлял себе в виде общности жен для себя и единомышленников. Теперь я понимаю: то было недовольство жестокостью и лицемерием окружающей жизни.

— Что-то не улавливаю связи, Пит. При чем тут Лилия?

— Сейчас поймешь... Как и Хем, перед лицом жестокого мира Лилия стойко сохраняет свое достоинство. Она мне пожаловалась, что в обиде на весь земной шар. А может, на всю вселенную.

— В обиде? Но за что?!

— Мадам Бурбон считалась крупнейшим поэтом Советского Союза, а ее даже не выдвигали на Нобелевскую премию.

— Она в хорошей компании, — сказал я. — Ни Толстой, ни Набоков премии не получили.

— Но ей еще не поздно! — возразил Пит. — У меня был один знакомый в Нобелевском комитете: он лично жал руку Хемингуэю при вручении ему премии в пятьдесят четвертом, и я его потом интервьюировал. Попробую узнать, жив ли он. Лилия мне говорит, что все ее тело проникнуто и кипит творческими замыслами. В архиве Хемингуэя до сих пор остается ненапечатанное. Может, и у нее найдется, что опубликовать в Америке?

— Опубликуй сперва всего Хемингуэя, Пит.

.....

— Некогда мне Хемом заниматься, — ответил он. — И вообще, этот рыболов-забулдыга мне осточертел!..

Для методиста Хейтера парадоксальное заявление. Ведь дядюшка Хем — то, на что он угрохал значительную часть своей жизни, его хлеб, зарплата, черт побери! Неужто он перенял логику своей русской подружки? Что если он теперь займется изучением ее советского творчества и станет ее биографом, то есть, извините за выражение, бурбоноведом? Ну тогда мы на очередной научной конференции услышим: «Бурбоноведы всех стран, соединяйтесь!»

Усталый актер Евстигнеев печально произносил: «Что меня удивляет, так это люди».

7.

Лилия позвонила и сказала, что ей необходимо срочно со мной встретиться.

— Случилось что-нибудь?

— Это не телефонный разговор.

Боже мой! Здесь, в Америке, где даже международные мафиози в открытую нагло болтают по телефону о поставках наркотиков для целых континентов и по телефону заказывают убийства, советская мадам Бурбон считает, что ее проблемы в трубку высказать нельзя. Может, нечто пострашней наркотиков и террора?

Открыв дверь в офис, она выдержала паузу и прямо с порога агрессивно спросила:

— С какой целью вы меня с ним познакомили?

Я смутился. В самом деле, с какой целью знакомится мужчина с женщиной? Можно предположить,

.....

что цели оказываются разными. Можно также предположить, что чаще всего они знакомятся именно потому, что он мужчина, а она женщина. Хотя, бесспорно, могут быть и другие варианты.

— Ваш друг меня обесчестил, — заявила она с упреком, пригвоздив меня взглядом к креслу, будто честь ее отнял не Хейтер, а я.

— Во-первых, он не друг, а коллега, — на всякий случай уточнил я, чтобы отстраниться и не быть втянутым в качестве свидетеля в очередной скандал с сексуальным домогательством. — Во-вторых, Пит — человек интеллигентный, значит, порядочный...

Хотелось поёрничать, мол, публика кричит: «Давай подробностей!» Но удержался, просто спросил:

— Чего же он натворил, этот нахал?

— Он спросил, здоровое ли у меня сердце.

— И что тут криминального?

— Сердце у меня хоть куда, но бесстыдство — спрашивать женщину о ее органах.

— Пит спросил из вежливости...

— Да вы что! С корыстной целью. Он пригласил меня на танцы.

— Куда?

— Не прикидывайтесь, будто не знаете! Это спланированная провокация. Ведь он маньяк, тангёр!

— Кто-кто?

— Тангер! Без танго жить не может...

— Неужели? Не замечал, хотя знаком с ним с тех пор, как перебрался в Америку...

— Да вы, мужчины, — усмехнулась она, — ничего вокруг себя не замечаете. Но, не сомневаюсь, разболтали, что я в первой молодости танцевала с Айседорой Дункан и что любовник у нас имелся один на двоих, Сергей Есенин?

— Помилуйте! Он вас увидел, влюбился, как мальчик, и попросил с вами познакомиться. Вот и все. Ничего я ему не говорил!

— Плохо! Следовало рассказать! А то выходит, ему все равно, в кого влюбляться...

— Он профессор литературы, а вы поэтесса, или, если желаете, поэт...

— Поэт? Я прежде всего женщина, а потом уже кто-либо еще!

Логика мадам Бурбон восхищала.

— Но раньше вы утверждали обратное...

— Раньше? Как вы не можете понять?! Ведь так просто: все зависит от конкретных обстоятельств.

Теперь Лилия уселась в кресло, вынула из сумочки зеркальце и убедилась, что все оформление, нанесенное на ее лицо, в порядке.

— А как прорезался ваш поэтический дар?

Спросил я не потому, что мне интересно, а просто чтобы сменить тему.

— Мне надо было выразить себя, — успокаиваясь, сказала она. — Я стала интересоваться поэзией, поскольку вскоре после революции запретили стриптиз. Не дай вам Бог попасть в такое время! Мой первый муж Андрей Бурбон был типичный буржуа, совершенно не приспособленный к пролетарской жизни. Я ввела его в литературу... Вы о нем слышали?..

— Не-ет, — быстренько открестился я, чтобы не уличать ее в неправдочке, хотя мы с ее первым мужем выпивали.

Итак, пожалуйста, забудьте, что за первоклассную советскую поэтессу Лилию Бурбон, по меньшей мере до их развода, писал он, русский дворянин и родня французских королей поэт месье Бурбон, которого тогда перестали печатать. Но все же оцените удивив-

.....

тельную способность Лилии все ставить с ног на голову.

— Вы пустили мою жизнь наперекосяк, — сказала она, помолчав. — Самое ужасное, что из-за вас я втянулась, тряхнула стариной и — танцую-таки с Питом аргентинское танго! Наша пара заявлена, он уже уплатил вступительный взнос, и мы готовимся к соревнованиям в Буэнос-Айресе. Слышали, я полагаю? Это на приз Южной Америки.

— Как же, слышал! — я старался не сфальшивить в тоне.

Выходит, не возмущаться она пришла, а сообщить о своей победе.

— Кости хрустят, но и он не мальчик, — продолжала она. — Ложусь в постель мертвая, без надежды, что завтра вообще встану, а утром постепенно оживаю. Нашла прекрасную японскую массажистку. Массаж до — танцую — и массаж после. Только дорого, сволочь, дерет!

— За все надо платить, — посочувствовал я. — Вы осилите, уверен...

— Да, молодой человек, я опять нашла себя в танце. Моя поэзия теперь выливается в танго. Мне скоро снова будет восемнадцать лет...

— Поздравляю!

Вдруг она надула губы и сказала с обидой:

— Вы думаете, я не могла писать лучше Цветаевой? Но приходилось притворяться. Кто не прикидывался, тот плохо кончил. А я... погодите, я еще создам шедевры, от которых закачаетесь. Но сейчас у меня на уме только танго...

Господи, думал я по дороге домой, как великолепно устроен человек. Только что она стояла у гроба мужа, соображая, как лучше выжить в непонятной ей

.....

стране, как самой удержаться на грани жизни, как найти новую опору. Кто бы мог подумать, что подвернется Пит с его неожиданным хобби. А сегодня непредсказуемая Лилия уже переливает свою советскую поэзию в аргентинское танго и делает это в Америке с присущей ей деловитостью. Погодите, такая женщина еще выйдет замуж за какого-нибудь великого американского поэта и тот будет за нее писать. Тогда увидите ее танцы не в русской, но в мировой литературе!

8.

Сватовство оказывалось несколько странным. Заглянув в аудиторию, где заканчивал лекцию Хейтер, и подождав, пока он отпустит студентов, я спросил его о цели знакомства с Лилией прямо.

— Это правда, — отвечивал Пит. — Я тебе еще тогда сказал: мне нужна партнерша. Имелось в виду мое хобби. Вот уже двадцать восемь лет я член клуба тангеров.

— Стало быть, ты — танцовщик?

— А чего тебя так удивило? Танго, коллега, — это драма, которая продолжается несколько минут. В танго, если хочешь, спрессована вся история человеческой любви — от первобытных инстинктов до цивилизации. Танго — уникальная смесь нежности, печали, безысходности и секса, подлинные человеческие страсти. Поверь, посильней, чем в литературе... В танго взаимоотношения полов более выразительны, чем в жизни. Два тела гармонично сливаются в одно, склеить их в движении и музыке — большое искусство.

Притом, заметь, все напоказ, как если бы ты с женой спал на тротуаре Бродвея в Нью-Йорке.

— Кто бы мог подумать, что ты, биограф Хемингуэя, тангоман! А твой любимый классик тоже любил танцевать танго?

— Еще как! Особенно, когда был поддатый.

— Тогда понятно, у кого ты заразился.

— Заразился — это ты хорошо сказал. Шесть раз ездил я в Аргентину повышать квалификацию и выступать... У меня есть дипломы...

— И никто не знает?

— Просто я не афишировал в университете. Но это серьезно, может быть, даже серьезней, чем Хемингуэй. Он меня кормит, а танго — чистый энтузиазм. Следовательно, старикашка Хем — средство, а танго — цель. Так вот, предстоят важные соревнования, а моя бывшая партнерша забеременела.

— Поздравляю!

— Не говори чушь! Не от меня. Мне срочно потребовалась подходящая тангерка с внутренней страстью. Я имею в виду танец, ибо интимные отношения, коллега, мешают в тренинге. Главное, чтобы была стройная спина. Спина на судей производит магическое впечатление. И я ее нашел!

Стало ясно, что мне придется опять пересмотреть свое понимание американской природы, хотя столько лет прожито в этой стране.

— Как же вы общаетесь, если нет ни языка, ни интима?

— Язык движений в танго универсален, старина. Музыка в переводе также не нуждается. Жест, прикосновение объясняют все лучше любого языка.

Интересно! Значит, они перешли в первобытное состояние: общаются жестами.

.....

Видно было, что Пит хочет что-то спросить, но колеблется.

— Сознаю, что это крайне невежливо, — он смутился. — Но сколько все же ей лет?

Опять я растерялся: сказать или соврать? Стыдно обманывать коллегу. Решил расколоться, как под присягой.

— Прости, но ей девяносто шесть.

Пит застыл с широко раскрытым ртом, в который влез бы целиком гамбургер. Казалось, глаза его перестали косить. Он совладал с собой, но уши покраснели.

— Она сказала, что моложе меня. Мне шестьдесят четыре. Выходит, я гожусь ей во внуки... По возрасту мы проходим на соревнованиях в группе пожилых. Как же мне теперь?

— А группы престарелых там нет? Послушай, Пит. Найди другую партнершу, только и делов...

— Но я ей уже обещал! И подходящая спина на дороге не валяется. К тому же... В общем, я ее... уже люблю.

— Ты ж говорил, что это мешает... А как твой прагматизм?

— Мне представилось, что она... Не мог я ее обидеть, не ответив взаимностью...

В этом Хейтер являл собой настоящего американца. Глаза его наполнились слезами. Я стоял рядом, не зная, как его утешить.

— Все будет нормально, Пит. Само собой, как-то образуется. Она в молодости, говорят, была великолепна и сейчас в отличной форме. Сам знаешь, какая спина...

Пит взглянул на меня с надеждой, будто от меня зависело ее омолодить.

— А вы с женой, — вдруг спросил он, — не хотите к нам примкнуть и потанцевать?

Класс наполнился студентами для следующей лекции. Мелкой рысью, на ходу приветливо улыбаясь и раскланиваясь, вбежал аккуратно прилизанный Мао-Санг, профессор китайской литературы, и приходилось освободить для него аудиторию.

Дома за обедом мы с женой обсудили идею Хейтера. Живем однообразно, без развлечений, мало двигаемся. На физические упражнения нет ни сил, ни желания.

— Танго, да еще аргентинское! — загорелась Лера. — Почему бы не попробовать?

— Только не для соревнований! — испугался я. — Никаких Буэнос-Айресов! Тангомания не для меня. Просто попробовать, не более.

Решено на вечер воссоединиться с тангерами. Из чистого любопытства.

9.

Перебравшись в восьмидесятые годы на американский континент, в штат Техас, я вскоре выяснил, что тут танцуют охотно и весело и реализуется это на honky-tonk*. Приятели затащили нас однажды в заведение под загадочным названием «Broken spoke», что значит «Сломанная спица», и нам там очень понравилось.

Хонки-тонк тот был на окраине Остина, столицы Техаса, — простенький, можно сказать, деревенский

* дешевый клуб-казино с танцевальным залом.

.....

дом барачной внешности, однако снаружи и внутри украшенный гирляндами лампочек, цветов и с огромной парковкой.

На стене — колесо от телеги с той самой сломанной спицей. Билеты дешевые. Вдоль стен скамьи из простых досок. На возвышении оркестр: разбитое пианино, две гитары, контрабас, ударник. Мелодии большей частью знакомые. Разыгрывались призы. Периодически выбегала пожилая вульгарноватая особа и, шевеля могучими, как теплоход, бедрами, пела. Порой оркестранты сами пробовали осипшие голоса, и им охотно аплодировала добрая сотня гостей.

Запахи духов и алкоголя, разгоняемые кондиционером, казалось, исходят одинаково от всех. Тут тусовалась публика всех возрастов: от пятнадцатилетних прыщавых девиц, вырвавшихся в материнских нарядах из дома в поисках приключений, до потерявших силуэты старух с фиолетовыми волосами. Мужчины, прибывшие за удовольствиями, в ковбойских шляпах, некоторые в роскошных, отделанных орнаментом сапогах из страусиной кожи, цена которых приближается к тысяче долларов. Среди танцоров много *red neck*'ов, то есть красношеих, — очевидное доказательство их работы под палящим солнцем. Женщины в ярких юбках, взлетающих в движении, открывая то, что вам видеть не положено.

Часть публики — явно недавние иммигранты, больше всего латиносы, бедствующие, обычно готовые на любую работу. Что днем заработали, то вечером пропивают и протанцовывают. Они в одежде с гаражных распродаж, но чистые и тщательно выбритые. Танцуют до полуночи, одни — с роздыхом, другие — без.

За деревянным барьером, напоминающим перила старой дачной террасы где-нибудь в Подмоскowie,

бар: стойка с высоченными табуретками, деревянные лавки и грубо сколоченные столы с ножками крест-накрест. Тут изобилие алкоголя с висящим на стене разрешением на его продажу и скромные закуски. В соседних помещениях играют в карты и бильярд; если очень надо, найдутся и комнаты на час или на два, как пожелаете: со своими кадрами или с местным персоналом за отдельную плату. Последнее нелегально, и потому не с первым встречным.

В большом мире воюют или празднуют, переживают триумф или кризис, а на хонки-тонк каждый божий вечер и далеко за полночь гроыхает музыка и слышен топот сапог из страусиной кожи. Загляните — сами убедитесь.

Теперь, вспомнив хонки-тонк, я подумал, что Пит пригласит нас на что-то аналогичное. Но там танцуют фокстрот, свинг, вальс, тустеп и что-то еще, а вот танго — нет. Танго — берите классом выше. Да еще не простое танго, которое танцуют где попало, но — аргентинское. Оно звучит и двигается в другом месте, особом.

Вне сомнения, глупо идти в классы аргентинского танго, где практикуются фанатики вроде Пита. Разве что заплатить за входной билет — поглазеть на азартных умельцев. Одинокие люди обоих полов, которые не танцуют, захаживают туда потолкаться между танцами среди тангеров в надежде с кем-нибудь познакомиться. Мы с Лерой твердо решили сами попробовать танцевать, поэтому Пит нашел для нас выход.

— Вам нужна milonga, — сказал он.

Милонга так милонга... Не переспрашивая, что это такое, мы согласились и тут же получили соответствующие наставления по части одежды. Пришлось надеть черный костюм, как на похороны.

— Имейте в виду, что туфли должны быть только на кожаной подошве, — выдал последнее распоряжение Хейтер по телефону.

Он заехал за нами на своей белой «Хонде» — ее уже отремонтировали. Механики содрали кучу денег со страховой компании, которая, в свою очередь, увеличила страховые взносы Пита. Полчаса ушло на то, чтобы добраться до апартаментов Лилии и торжественно погрузить ее в автомобиль. Она появилась в блистающем искрами вечернем платье. На груди, как орден, сверкала громадная брошь — золотая морская звезда.

Лилия замерла у машины на несколько секунд, дав нам возможность убедиться в ее неотразимости, и мы вчетвером отправились на милонгу. По дороге Пит разговорился.

— Знаете, что такое танго? Танго — это дуэль.

— Как так? — не понял я.

— Соцсоревнование, — выхватив из контекста знакомое слово «дуэль», пояснила Лилия.

На фривее Пит вышел в левый ряд и прибавил газу.

— Танцевали двое мужчин, охотники за одной женщиной, — продолжал он. — Соревновались в кругу зрителей: кто красивее, кто лучше, кто сильнее. Проигравший даже падал на землю, изображая смерть. Потом шла танцевать женщина, и победитель забирал ее себе.

Где-то я читал, что танго родилось в борделях Буэнос-Айреса, когда в конце прошлого века переселенцы из Европы и Африки ринулись в Южную Америку искать счастья. В заливе Рио-де-ла-Плата корабли выбрасывали этих бездомных на берег тысячами. Были и дуэли, ведь озверевшие от долгого плавания мужики искали себе партнерш, а лучший способ для

знакомства, чем танго, придумать трудно. Говорят, тангеры делают стоя то, что другие люди делают лежа.

Само слово «танго», говорят, идет от латинского *tangere*, что значит «касаться, трогать». И еще по-испански *tangible* — «осязаемый, осязаемый». Танго-мания перекинулось в Штаты, когда хозяева отелей стали устраивать танцы в лобби. В танцевальные вечера номера заполнялись веселей. Возбужденнейшей Европе танго понадобилось в Первую мировую войну по тем же причинам, что и везде: солдатам и офицерам — для осязания. А уж аргентинское танго, с его рыдающими звуками и меняющимся ритмом, то торжественное, то сумасшедшее, с великим множеством фигур, — пошло второй волной по всему миру.

Считается, что танго в каком-то смысле есть отражение жизни. Видит Бог, я за равноправие полов. Можно сорвать глотку, крича об этом. Но чтобы ни происходило в мире с эмансипацией, в танго женщина остается женщиной, а мужчина — мужчиной. Он приглашает ее и ведет ее, а она делает те движения, которые он от нее ждет. Равноправие наступит, когда будет наоборот: она его выберет на танец, и он в ее руках будет извиваться. Это будет означать, что общество низвело женщину с высоты до уровня мужчины. Может, так и будет, но я предпочел бы умереть до того.

Начинать надо с «кабасео»: вы оглядываете зал и выбираете любую женщину, даже ту, которая занята. Поэтому в Буэнос-Айресе с тех пор и по сей день существует «глазное правило» приглашения на танго. Положив глаз, мужчина издали гипнотизирует избранницу, чтобы еще до начала танца она как бы согласилась. Если «да», она, поймав взгляд, чуть прищуривает веки. Если же не хочет, чтобы он подходил,

.....

она делает вид, что его не замечает, смотрит в сторону. Значит, подходить бессмысленно, тебе откажут. Выходит, «кабасео» еще и время вам экономит, — музыка-то уже гремит, и можно успеть пристроиться к другой красоте.

Ну а если начали танец, то уже оба втянуты в любовную игру. Пошла женщина танцевать — вы ею полностью управляете, крепко держа в руках. Если умело ведете, вы демонстрируете культ женщины и она чувствует себя королевой. На примитивном уровне, приклеившись, вы сводите к нулю трудный процесс сближения, да еще ощупываете, и, коль чувствуете, что она не подходит, приглашаете следующую, пока не остановитесь на той, которая годится. А не дай Господи, возник треугольник — тогда драка.

— Пожалуй, теперь дуэль звучит странно, не так ли? — прибавил Пит.

И ведь как в воду глядел.

Лилия всю дорогу больше молчала, хотя обычно ее трудно остановить.

Школа аргентинского танго в Сакраменто распахивает двери для дилетантов по пятницам в восемь вечера. При входе надо выложить наличные, и толстый, как бочка с пивом, контролер в накрахмаленной рубашке с изрядно обтертой подбородком бабочкой ставит каждому на руку коричневый штамп «Уплатчено \$15». Если потом надо выйти проветриться или покурить, то, возвращаясь, ласково суешь под нос контролеру кулак.

По расписанию первый час называется «неформальный класс», за которым следуют танцы до середины ночи. Вокруг нас в небольшом и довольно уютном зале публика бродила солидная, возраст средний и пожилой. Дамы одетые в дорогом модном магазине

«Saks Fifth Avenue»*. На их фоне Лилии явно трудней было казаться такой эффектной, какой она предстала перед нами недавно. Джентльмены передвигались плавно, торжественно, элегантно. Парадная одежда создавала настрой предстоящего торжества. Сказано же: милонга — это вам не хонки-тонк для простолюдинов. Здесь клуб для избранных, посвященных в особый тайный союз.

Так не танцевал я со школьной поры, когда вдруг организовали кружок танцев. Была то мужская московская школа; на занятия к нам приводили прямо противоположный пол в коричневых платьях и белых фартуках. При виде этих созданий с другой планеты некое томление начиналось в груди и растекалось по всему телу. Мы каменели и переставали дышать.

Когда их усаживали на стулья вдоль стены в актовом зале, глаза мои перебегали, не в силах остановиться, от одних стиснутых коленок в капроновых чулках, тогда только появившихся, к другим. Коленки источали некие волны, создавали вокруг себя ауру, делали меня их рабом настолько, что, приблизившись к ним на расстояние протянутой руки, я начинал заикаться.

Преподавательницу взяли из соседнего хореографического училища. Память сохранила ее ядовито-фиолетовые волосы, гренадерские черные усы, а главное — незабываемые мужское имя и женское отчество: Вадима Вандовна.

— Мальчики, постройтесь в ряд! — командовала она. — Ровнее! Еще ровнее! Теперь начинайте мед-

* Магазин фешенебельной одежды на Пятой авеню в Нью-Йорке с филиалами по всей Америке.

.....

ленно двигаться в направлении девочек. Не хватайте их, они не стулья! Положите правую руку им на талию. Не ниже, кому сказано?!.. Не сближаться! Не сближаться, вы не для того сюда пришли! Дистанция между грудью и бюстом десять сантиметров... Учтите, буду замерять линейкой!

За расстроенным роялем сидела сморщенная старушка-таперша. Казалось, у нее не хватит сил нажать на клавиши, однако по команде Вадимы Вандовны она начинала играть, то и дело морщась от фальшивых звуков. Официальная ложь и реальная жизнь распались и тут. Нас учили выделять «па» балльных танцев: полонеза, па-де-труа, па-де-патинера, а на подпольных вечерах отплясывали буги-вуги. На уроке пения звучала «Широка страна моя родная», а в компании:

О Сан-Луи, Лос-Анжелос!

Объединили в один колхоз...

Ненавижу себя за воспоминания, всегда глуповатые и всегда вылезавшие не известно зачем.

Началась милонга без эффекта. Вытолкнув нас с Лерой на середину зала, Пит с Лилией скромно уселись в углу. Час мы послушно переставляли ноги под руководством доскообразной и при этом весьма изящной в движениях инструкторши миссис Мартинец, чем-то (возможно, хриплым баском) похожей на мемуарную Вадиму Вандовну, только исключительно любезной и без линейки.

Сперва милонга шла в отсутствие всякой музыки, под хлопки высоко поднятых над головой ладоней миссис Мартинец. Скакать спустя полвека мне стало немного трудней и томления в груди от вида женс-

.....

го пародировалась, да и насчет дождей — суровый реализм: они в наших краях заканчиваются в апреле, а начинаются в ноябре. Тенор выдавал куплет за куплетом, и мы, публика, находились в гипнозе танго.

Все на всех здесь обращали внимание, изучали друг друга, и в этом один из смыслов мероприятия, называемого милонгой: тусовка тангеров с любовно-сексуальной начинкой. Народу немного, на площадке всегда оставалось свободное пространство, и разглядывать каждую особь и каждую пару удавалось во всех ракурсах, что называется, насквозь. Наконец-то я увидел моего коллегу профессора Хейтера с Лилией в процессе священнодействия.

Трудно иметь более неподходящую для танцев фигуру, чем у него, но мужчина, в отличие от женщины, не может или не хочет себя видеть. Пит и в танце раскачивался, как дятел, каждый раз ударяя партнершу носом в темя. Может, в Буэнос-Айресе так и надо, а я ничего не понимаю? Он говорил, что шесть раз принимал участие в соревнованиях, а я случайно узнал от Лилии, что всегда он шел вне конкурса и просто платил за право участвовать. Но кавалером он являл себя галантным, всячески старался помочь своей партнерше продемонстрировать ее вызывающую женственность, и этого нельзя было не оценить.

Лилия в его руках извивалась почти грациозно и почти воздушно. Занятия балетом оставляют отпечаток на всю жизнь, даже при наличии артрита. Та самая спина, которая не ускользнула от внимания тангера Пита Хейтера, демонстрировалась безупречно. Не стану кривить душой: девочкой она, несмотря на все ухищрения, не выглядела, но, со скидкой на ее вечную молодость, танго получалось у нее очень даже неплохо.

.....

После пары выходов на площадку Пит по-прежнему улыбался, хотя и подустал. Он присел к нам за стойку в баре. На носу его висела капелька пота. Лилия поглядывала на своего партнера с некоторым презрением. Или, может, это мне только померещилось? Глаза ее, полные огня, сверкали, лишь грудь подымалась и опускалась часто. Она его уморила, а сама хоть бы что...

Внезапно оркестр заиграл нечто веселенькое. В центре площадки началось какое-то действие, и внимание публики обратилось туда.

— Что там? — спросила Лера бармена.

— Наш новый босс, — произнес тот, ловко взбалтывая коктейль.

Оказалось, празднуется день рождения хозяина заведения. Сам он сошел слегка вразвалочку со сцены в черном смокинге, лакированных туфлях, широкополой мексиканской шляпе и при бабочке — пышущий здоровьем добрый молодец, совершенно не гармонирующий со всем происходящим. Ему поставили стул посреди зала, и он уселся в широком кольце зрителей.

В круг из публики незаметно просочилась девица, которая начала исполнять перед хозяином танец живота. И в танце стала постепенно скидывать с себя одежду. Каждую снятую деталь туалета она бросала сидящему на стуле имениннику. Тот демонстрировал публике эту деталь, целовал ее и опускал на пол. После очередной снятой вещицы часть публики яростно аплодировала, поощряя девицу к дальнейшим подвигам, а другая часть удивленно и даже с возмущением перешептывалась. Музыканты принялись играть быстрее.

— Так это же стриптиз! — вдруг воскликнула Лилия с изумлением.

.....

— Но зачем? — отреагировал Пит. — Так здесь не принято. У нас не хонки-тонк! Это там нанимают профессиональную стриптизерку за полсотни долларов, чтобы потешить публику. А тут милонга! Небось, сам хозяин и привел девочку.

Раздевшись и повертевшись перед именинником, красotka прыгнула к нему на колени, обняв за шею, а затем вскочила, подхватила с полу одежду и, ловко просочившись сквозь толпу, исчезла в двери за сценой.

— Ну и что в ней привлекательного? — съязвила Лилия.

— Да в общем, ничего, — согласился Пит, осторожно обнял Лилию и обратился к нам: — Целомудрие моей girlfriend оскорблено.

Лилия пожала плечами.

— Я б этой девочке продемонстрировала, — шепнула Лилия мне, — как делать настоящий стриптиз. Да Пит меня не поймет...

Она засмеялась, довольная собственной шуткой. А может, и не пошутила вовсе? Лилия вдруг отвела от себя пальцы Хейтера, потому что к ней, протянув вперед ручищи, спешил хозяин заведения.

— Мадам, кто бы мог подумать! — с театральным пафосом произнес он на довольно хорошем русском, хотя и с акцентом. — Какое счастье вас здесь встретить!

— Родриго! — воскликнула Лилия. — Издали не узнала, молодой человек. Будете богатым!

— Как же, знаю эту русскую поговорку, — ответил он. — Обязательно буду!

Они обнялись и поцеловались, как закадычные друзья, и Лилия нас познакомила.

— Вот тот самый гениальный Родриго Гонзалес из Тихуаны... Я рассказывала, помните?

— Гениальный — это ты немножко преувеличиваешь, детка.

— Детка? Вы слышали? Он зовет меня «детка»! — пришла в восторг Лилия. — Очаровашка, не правда ли?

— Здорово! — сказал мне Родриго вполне по-нашенски, будто мы с ним уже выпивали, и оглядел с ног до головы Пита. — Как видите, теперь я — владелец этого заведения. Приятель получил заем в банке, выкупил под процент эту школу аргентинского танго у двух танцоров из Сан-Франциско, и я нанял их же преподавателями.

На вид Родриго было лет двадцать семь, ну, может, тридцать, не больше. Волосы до плеч, как у Паганини, длинные усы, плавно обтекающие с обеих сторон большие, пухлые губы. Шляпа с огромными полями, загнутыми по бокам, подвязана под квадратной челюстью тесемками так, что щеки выступили вперед. Вспомнилось, что рассказывала Лилия.

В мексиканском городке Тихуане, где топчутся сомнительные личности со всего американского континента, Родриго подрабатывал дантистом и за скромную сумму улучшал документы. Зато теперь он — владелец танцевального заведения в Сакраменто, хотя и оформленного не на его имя.

— В России не соскучишься! — Родриго не без удовольствия принял за воспоминания.

Туда Гонзалез попал из мексиканской глубинки, где отец его держит ферму спортивных лошадей. До шестнадцати лет парень оставался неграмотным и не прочитал ни одной книги. Папа купил ему свидетельство об окончании средней школы. Родриго с приятелем решил путешествовать по миру: других посмотреть и себя показать. Застрял он в одной шестой час-

.....

ти суши — то ли в Омске, то ли в Томске, где вроде бы все же слегка поучился в мединституте.

— Тогда еще существовал Советский Союз, — объяснил он нам теперь. — Мне хотелось им понравиться, и я назвался троцкистом. Троцкий-то — знаменитость не только в Мексике, но и строитель коммунизма в России. Не так ли? А они почему-то испугались. Стали меня допрашивать, даже грозили посадить.

Гонзалез заржал молодым жеребцом, выпущенным из стойла.

— Еще бы! — усмехнулся я. — Они испугались, что вы с вашими троцкистами втянете их в строительство коммунизма во всем мире, и им стало жалко денег.

— Значит, я правильно сделал, сказав им, что на самом деле я больше люблю танцевать и плевал на коммунизм? Почему же они привезли меня в аэропорт и отправили в Париж?

— Чтобы вы не плевали на коммунизм.

— Нет, русские — странные господа! Они думают, что 1917-й год — это год их революции. А для всего человечества это год Великой революции Танго, охватившей весь мир.

За словом в карман Родриго не лез. На довольно бойком английском он весело рассказал, как недавно к нему пришла, а точнее, приехала женщина средних лет и изъявила желание изучать танго. Она сидела в инвалидной коляске. Родриго не хотел ее брать, но существует федеральный закон, по которому нельзя отказывать гражданам в правах на том основании, что они инвалиды, и она пожаловалась в какую-то общественную организацию. Пришлось зачислить ее в класс.

На уроках она пыталась ритмично кататься под музыку вперед и назад. Но на том проблема прав человека не закончилась. Когда перешли от изучения

.....

элементов непосредственно к самим танцам, кавалерам следовало приглашать дам. А ее никто не приглашал. Теперь эта любительница танго подала в суд за дискриминацию. Судья вынес решение: владелец заведения обязан сам, раз он имеет такую ученицу, приглашать ее и плясать с ней.

— Вы только подумайте, — жаловался Родриго. — По постановлению кретина-судьи я обязан, держась за поручни коляски, танцевать танго с этой идиоткой, то есть дергать коляску туда-сюда.

— Как романтично! — воскликнула Лилия.

— Да лучше я найму бугая за пять долларов в час... А сейчас ты будешь танцевать со мной, детка! И без всякой коляски.

Тут усматривался обидный намек на возраст Лилии, но она не заметила или предпочла не заметить. Тем более что Родриго пригласил ее тоном, не терпящим возражений, и рявкнул тенору с бандонеоном в руках:

— Франциско! Давай «Vuelvo al sur»!!..

Франциско кивнул музыкантам и плавно растянул бандонеон, дав некий прерывистый трагический сигнал: «Вернись на юг». Другой бандонеонист растянул этот звук на более высокой ноте и оборвал. После мертвой короткой паузы к ним присоединилась скрипка, запела флейта, аккорды рояля задали ритм. Публика расступилась, давая площадку хозяину и его даме.

Признаться, там было на что посмотреть: здоровенный и при этом в танго весьма маневренный Родриго и худая, прямая, как редвуд, Лилия слились, будто давным-давно они танцуют вместе.

Дистанции между ее бюстом и его грудью не осталось никакой, это все заметили. Реальный возраст

.....

Лилии куда-то улетучился, остатки бывшего задора, без сомнения, выплеснулись наружу. Сексуальные их па не раз вызывали дружные аплодисменты: она ухитрилась поднять ногу так, что платье ее задиралось до пояса, а каблук упирался ему в копчик: всадница прищпоривала своего коня.

Хотя кондиционеры изо всех сил гнали холодный воздух, температура на милонге заметно повысилась. Возможно, энергия этих двух танцующих разогревала атмосферу. Откуда-то появился фотограф со старомодной камерой и стал их щелкать с разных сторон в надежде, что леди, выхваченная хозяином из толпы, раскошелится.

Пит прислонился к стене, желваки на его щеках двигались.

— Она великолепна, Пит! — прошептал я, чтобы не молчать.

— Может, и великолепна, — отреагировал он, — но не со мной.

Вид у него был кислый. Он сгорбился и еще больше стал похож на дятла.

Танец закончился, когда Франциско издал на своем бандонеоне последний пронзительный звук. «Че Бандонеон», как его уважительно называют леваки в Южной Америке, что значит «Товарищ Бандонеон», вздохнул, сочувствуя танцующим, и умолк. Родриго галантно подвел Лилию к нам. Щеки ее пылали, глаза под полуметровыми приклеенными ресницами слезились. Она сияла.

— Ах, как он танцует! — громко, чтобы Родриго, перебрасывающийся репликами с публикой, услышал, воскликнула она. — Он лучший тангер Сакраменто, настоящая звезда! Его бы взяли в Голливуд, да ему это не надо.

Если вы хотите заполучить мужчину тепленьким, как-то раньше объясняла она, его надо утопить в лести. Он размякает и становится готовым на все. Теперь она демонстрировала эту тактику в действии.

Родриго захохотал.

— Как договорились, детка! — многозначительно бросил он ей, подмигнув и удалился.

Лилия понизила голос и, глядя вслед Родриго, сказала Лере:

— Такой мальчик омолаживает женщин. У него опыт по обузданию диких лошадей, так что со мной ему справляться легко.

Пит предложил Лилии потанцевать с ним аргентинское танго «Эль Чокло», но она подняла на него глаза с недоумением и, хлопнув ресницами, заявила, что утомилась. А когда Родриго опять направился к ней, усталость ее как рукой сняло.

— Женщины бывают двух типов, — многозначительно прошептала она. — Одни возмущаются, когда мужчины к ним пристают, другие возмущаются, когда к ним не пристают. Я отношусь ко второй категории и поэтому живу так долго.

— Давай еще попляшем, детка, — обратился к ней Родриго, приблизившись вплотную.

Судя по всему, такое обращение Лилии нравилось. Она наградила Родриго обворожительной улыбкой и положила руку ему на плечо.

Теперь они танцевали прощальную «Кумпарситу». Музыканты из кожи лезли вон, чтобы угодить хозяину заведения. Товарищ Бандонеон трагически рыдал в руках Франциско. Галантно раскланявшись, Родриго с Лилией опять вернулись к нам. Пит выглядел растерянным. То есть я хочу сказать, что всем стало

.....

ясно: Лилия утекает меж его пальцев и перетекает в объятия Родриго.

— Видите, моя поэзия трансформируется в танго, — стараясь скрыть тяжелое дыхание, подмигнула нам с Лерой Лилия. — Погодите, обо мне еще заговорят.

— Пит сказал, что ваше имя присваивают библиотеке в Москве.

— Это я решила, что пора присвоить. В Москве еще не знают...

Всерьез она это или — такое чувство юмора?

Пит сидел хмурый, пришибленный и нервно то сжимал, то разжимал пальцы. Потом шлепнул ладонью по столу и стал уговаривать меня еще выпить. Сперва я отмахнулся: и так уже прилично накачались. Но стало жалко его, я кивнул. Подали кувшин маргариты, густой от ледяного порошка, разлили по стаканам.

— Сукин сын! — пробурачал Пит.

— Кто?

— Этот Гонзалез. Ведь он нарушил кабасео! Не получил на расстоянии никакого глазного согласия, схватил мою женщину и уволок.

Возражать бесполезно. Но ведь они вроде были уже знакомы. И потом, Родриго тут хозяин, так сказать, заведующий танцами, — кто может ему отказать в его собственном заведении?

— Прости ее, Пит.

Не отвечая, он заглотнул маргариты, потер виски, будто вспоминая что-то, и выпалил:

— Такое со мной второй раз.

— Что именно? — не врубился я.

— Вторично меня бросает партнерша. Двадцать семь лет назад в Буэнос-Айресе женщина, которую я обожал, ушла с инженеришкой из Германии. Она за-

.....

явила: «Танго — это одно тело с четырьмя ногами. А мы с тобой — два тела. Для слияния в одно тело мне нужен другой парнишка». В четыре утра я плакал в ресторане в порту, пил черный кофе и поклялся себе, что никогда не женюсь.

Ну что ему сказать? Мы выпили еще по стакану маргариты, остальные шесть или семь порций ушли из кувшина в Пита. Я подумал, что все-таки изучение Хемингуэя не прошло для Хейтера даром. Сегодня его верный биограф имеет шанс переплкнуть биографируемого им главного алкаша Америки.

Пит долго молчал, а потом проямлил заплетающимся языком:

— Вот что я с-скажу тебе, к-коллега: это т-ты во всем в-виноват!

— Я?! Но в чем?

— З-зачем ты меня п-познакомил с этой п-пикой д-д-д-дамой?

Вот так всегда. Я же и виноват. Добро наказуемо.

Он наклонил кувшин с остатками маргариты, подождал, пока ледяная крошка рухнет в бокал, допил, слизал соль, прилипшую к кромке, и набычился. Левый глаз неудачника стал косить еще больше, хотя больше было некуда.

— Вызови его на дуэль, — предложил я.

— Но д-дуэли в Америке з-запрещены!

Сто раз себе твердил: хорошо и долго подумай, прежде чем советовать что-либо не очень серьезное американцу.

— Take it easy*, Пит! Будь на твоём месте Большой дядька Эрни, он пришел бы в восторг от проделок такого существа, как Лилия.

* Смотри на вещи проще.

.....

— Наверняка! Они с Х-хемингуэем явились бы прекрасной парой... Но Хем говорил, что любит свою р-работу больше, чем любую ж-женщину или ч-что-либо еще, а я так не м-могу. Знаешь, как он сам себя однажды н-назвал в п-письме к п-подруге? «Х-хорошим сукиным сыном, жизнь к-которого п-подлежит жестокой к-критике». Хотел бы я оказаться такой талантливой д-дрянью, как он. Но не п-получается. Я — н-неталантливая д-дрянь!

— То есть ты мечтаешь стать сукиным сыном? Это проще пареной репы!

— Откуда ты знаешь, что просто? Ты п-пробовал?..

В пьяном виде он стал немного более удачливым полемистом.

Лилия стояла посреди зала с Родриго. Дождавшись паузы, фотограф преподнес им готовые снимки одного тела с четырьмя ногами. Оживленно обсуждая фотографии, они шептались, периодически поглаживая и похлопывая друг друга по разным частям, и обоим было чрезвычайно весело.

Стараясь не глядеть в их сторону, Пит нетвердой походкой отправился в туалет. Когда он вернулся, Лилия, держа Родриго под руку, стояла с нами.

— Как же так? — растерялся Пит, до которого дошла очередь взглянуть на фотографии Родриго с Лилией.

— Ты неплохо смотришься, детка! — отвалил Гонзалез очередной комплимент.

Вдруг Хейтер глухо выдавил из себя то, что не следовало произносить ни при каких обстоятельствах:

— Но почему? Почему?! Ведь ты — м-моя партнерша!

Он сделал ударение на слове «моя».

— Застегни ширинку, — произнесла она простую русскую фразу.

Родриго, поняв, заржал и долго не мог остановиться.

— Что она сказала? — напрягся, но не сообразил Пит.

— Переведите ему, — попросила Лилия. — Он настоящий профессор: всегда забывает застегнуть ширинку.

Ни за что не поверил бы, если бы сам не стал свидетелем происходящего. Как в мыльном кино, в тот вечер Лилия Бурбон бросила верного, как пес, Пита Хейтера.

За полночь Родриго увез бурбоншу в своем спортивном «Корветте». Я позвал полуразваленного Пита.

— Отстань! — отрезал он.

Мы заказали такси и выбрались на улицу. По дороге я заснул на заднем сиденье. Как пьяный в доску Пит добрался после милонги до дому, избежав полиции, не знаю. Сейчас с этим строго: вытаскивают из-за руля, надевают наручники — и в каталажку.

Утром, издали заметив понурого Хейтера, вяло бредущего по аллее под старыми вязами, я, чтобы не встречаться, пошел на лекцию кружным путем.

С того дня каждый месяц получаю по почте одинаковые компьютерные приглашения снова посетить милонгу в школе аргентинского танго. На фиолетово-желтой фотографии — Лилия, слившаяся с хозяином в одно тело. Она прижимается к нему с собачьей преданностью, изобразить которую не всякой женщине под силу даже и при страстном желании. Длинный тонкий, как гвоздь, каблук мадам Бурбон вонзается партнеру в копчик. Реклама гарантирует романтические приключения и вполне доступный адюльтер за весьма скромную сумму.

Только вот пойти некогда.

.....

10.

Лера работает в клинике, расположенной в даунтауне Сакраменто. Там лечатся не только американцы, но и эмигранты всех сортов, особенно много русских, поэтому и персонал нанимают, владеющий так называемыми этническими языками, чтобы не держать переводчиков. Больным, у которых проблемы с английским, сам Бог велел обращаться туда, тем более что микроавтобус заезжает за пациентами домой и после приема развозит.

Лилия явилась на прием впервые и сразу начала с конфликта, ибо, когда заполняли историю болезни, назвала себя почему-то Марией Переделкиной. Но необходимо показать карточку медицинской страховки, и в карточке она значилась Лилией Бурбон. Может, она и вправду в первой молодости участвовала в революции, как написано в некоторых ее советских биографиях? Что если конспирации ее обучал лично Ленин? Ведь интимной подругой его Лилия, коли поверить ее собственным рассказам, одно время пребывала — между Инессой Арманд и его первым инсультом. Вождь, как она со стыдом вспоминает, перенапрягся. Ну, тут можно бы построить целую версию практического участия мадам Бурбон в том, как она своим телом помогла товарищу Сталину вскарабкаться на капитанский мостик. Однако же воздержусь: ничто так не украшает сочинителя, как чувство меры.

В клинике мадам Бурбон вела себя так, будто вся американская медицина сосредоточена исключительно на ее здоровье. Американские президенты в отведенном им Уолтер Рид армейском госпитале под Вашингтоном тихо лечатся вместе с солдатами. А тут,

.....

полагает Лилия, медсестры должны стоять в лобби навтыжку, едва ее шофер подрулит к двери.

На посторонние темы врачам с больными в клинике разговаривать по прозрачной причине некогда, однако, согласно правилам, доктор сперва должен установить с пациентом некий психологический контакт, задав дежурный вопрос о жизни. Редко, но появляются люди, ведущие себя по анекдоту армянского радио: «Кто такой зануда? — Человек, который на вопрос «как дела?» начинает подробно рассказывать».

— Как ваши дела? — спросила Лера. — Как Пит?

И Лилию прорвало. Она запомнила, зачем пришла.

— Ах, милочка, мы с вами не видались с той самой милонги... Да, дорогая! Пит подставил мне плечо, чтобы я вошла в мир танго, но на этом его функция, увы, закончилась. Со мной надо говорить о любви, а не о Хемингуэе, ибо я сама — Хемингуэй. Жениться Пит так и не собрался, а я с некоторых пор предпочитаю, чтобы на мне женились, а не просто так. Поэтому, когда Родриго пригласил меня прокатиться с ним на Гавайские острова, я согласилась, полагая, что намерения у него серьезные.

— Но он вроде бы совсем мальчик! — воскликнула Лера.

— А я — девочка! В Гонолулу мы провели волшебную неделю в дорогом отеле с видом на океан с двадцать девятого этажа. Я даже чуть не попробовала заняться серфингом: там для этого лучшие в мире волны. Только страх сломать шейку бедра меня остановил. Несмотря на свое простецкое происхождение, кавалер мой был галантен, почти как французский аристократ. Боже праведный, какой это кайф! Ничего подобного у меня в жизни ни с кем не было. Какие

ночные рестораны с танцами, какие дни в постели! Он даже ухитрился это делать в океане при свете луны. И какая взаимная любовь... Он тоже говорил, что впервые в жизни у него такая страсть...

— Очень рада за вас, — Лера глянула на часы и пыталась приступить к делу. — Так что у вас болит?

— Всё! Однако погодите, милочка... Обратю в Сакраменто мы прилетели ночью, нашли на парковке его «Корветт», он привез меня к дому и внес чемодан. Я думала, он останется, но он сказал: «А теперь рассчитаемся, детка. Это недорого: 150 баксов за раз, или 300 за ночь. Я работал шесть суток».

Меня будто молния ударила. Так растерялась, что чуть не сняла парик. Не могла сказать ни слова. Думала, сознание потеряю. И надо было потерять. Но прежде чем ответить, я, как всегда, досчитала в уме до десяти и спросила:

— А день отъезда и приезда считаются за один день?

— За два, мадам, — нагло ответил он. — Плюс все расходы на тур, включая авиабилеты, номер в отеле и рестораны за двоих. Итого, ты мне должна четыре тысячи сто долларов, можно чеком, но лучше живой кешью, наличными.

Мерзавец учтиво поклонился и ждал. Я поколебалась, глянула в его бесстыжие глаза и врезала ему по щеке. Конечно, он мог меня убить. Но вот настоящий мужчина: он даже не пошевелился.

— Это садизм, Лилия, — хладнокровно заметил он. — По таксе вдвое дороже, а еще ударишь — будет втрое.

Пришлось сказать ему, что деньги он получит, когда я буду в гробу в белых тапочках. Родриго сверкнул глазами и одарил меня великодушной улыбкой:

— Успокойся, детка! Благородный мексиканец с женщин денег не берет. Наоборот! Предлагаю тебе заработать. В соседнем штате Невада мне светит приобрести массажный кабинет. Осталось только оформить, и мне нужно подставное лицо — у меня же нет американского статуса, а у тебя есть! Будешь его владелицей, о'кей? А может... Может, поработаешь в нем, куколка?

Это я — куколка... Понимаете, что такое массажный кабинет в Неваде, где послаблений больше, чем в Калифорнии? Он же подделывал мои документы и знает, сколько мне лет.

— Ведь я не настолько молода, — говорю ему, — чтобы...

— Ты еще оч-чень ничего, — отвечал он. — Сделаю тебе шикарную рекламу: «Бодрящаяся бабушка с девяностошестилетним опытом, бывшая русская поэтесса, умеет то, чего не умеет никто из ныне живущих женщин». Наверняка найдутся любители остренького.

Вам нравится этот хам? Как вы понимаете, я наотрез! Тогда Родриго опять загоготал:

— Не волнуйся! Я же шучу... Уже наняты девочки из России. Тот человек из русской тайной полиции, который меня опекал и боролся с троцкизмом в Омске, помог. Он везет девочек сюда, и ты с твоим отличным русским будешь в массажном кабинете менеджером...

— То есть как? Бандершей? — неосторожно уточнила Лера.

— Фу! Зачем так вульгарно? Просто уезжаю в Неваду в длительную командировку. Иногда, милочка, приходится временно становиться дрянью, иначе долго не проживешь.

В общем, дорогой читатель, как говорил один мой знакомый шизофреник, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Теперь я вспомнил: Пит Хейтер, когда Лилия первый раз танцевала с Родриго на милонге, спросил меня, знаю ли я французское слово *arrêter*.

— К чему ты? — удивился я. — Это значит «наживлять на крючок».

— Это стиль танго, который они танцуют, — криво усмехнулся Пит. — Танго-апатэ в двадцатые годы было популярным. Суtener танцует с проституткой, демонстрируя зрителям товар лицом.

— И что же? — не понял я.

— Да ничего...

Пит махнул рукой и пошел к стойке бара.

Но сейчас я это так, к слову.

— Так что же у вас болит? — стараясь скрыть нетерпение, спросила Лера, ибо все сроки, отведенные на одного пациента, давно прошли и в приемной выросла очередь, как в поликлиниках некоторых других стран.

Только теперь Лилия, наконец, объяснила цель своего визита. Она пришла в клинику лечиться от гонореи, которой душа-человек Родриго с нею поделился.

Бесславный конец славного поколения, скажете вы. Однако не будем спешить со скоропалительными выводами.

11.

К нам приехали друзья из Австралии, и в праздник Благодарения я решил им показать знамени-

.....

тое горное озеро Тахо, которое от нас в трех часах езды.

Шоссе поднимается по краям отвесных скал, и злые языки говорят, что это самая плохая и самая рискованная дорога в Штатах. Красота неписаная в любое время года, но шоссе особенно опасно на крутых поворотах над пропастями, когда идет снег. На колеса надо надевать цепи, хотя и это не всегда страхует от неприятностей. А вообще, Тахо — самое сильное и самое чистое озеро в мире. Так утверждает моя бывшая студентка Каролин, директор проекта по охране от загрязнения этого уникального местечка.

Западная половина Тахо находится в Калифорнии, а восточная — в штате Невада. Также разделен и городок Саус Лейк Тахо. За границей, о которой сообщает надпись на другой стороне улицы, то есть в Неваде, в отличие от Калифорнии, разрешены казино и прочие увеселительные заведения. Парковка бесплатная, отель недорогой в расчете на то, что денежки вы оставите чуть позже, когда начнете играть.

Гости мои из Австралии получили совет бывалых визитеров в казино: отложите в карман определенную сумму, которую вы готовы проиграть, и, если она исчезнет, уходите немедленно. Как известно, новичкам везет. Запускаете однодолларовый жетон, а из машины вдруг вываливается долларов двадцать пять.

Путем нехитрых расчетов вы соображаете, что если опустить в машину один за другим каждый из только что выигранных двадцати пяти и получить на каждый еще двадцать пять, то отвалится некая сумма. Тут-то и происходит заминка. Игральный автомат берет так же охотно, как и в начале, но выдает все более скупо или не выдает вообще. А выиграть очень хочется. Самое лучшее — взять себя за уши и выта-

.....

щить отсюда на солнечный берег озера. В противном случае втянетесь и...

Казино гудело, огни переливались всеми цветами радуги. Яркие рулетки вращались, завлекая рискнуть. Карты мелькали, раскидываясь веерами на зеленых столах. Наши австралийские гости разбрелись по залам, благо было на что поглазеть: от полуголых официанток до диковинных машин, обещавших миллион, только купи жетон и опусти. Сам я уже давно не играю по простой причине: когда бы я ни попробовал, через пять минут остаюсь без цента. Ну хоть бы для смеха что-нибудь выиграть... Никогда!

Тут в проходе между игральными автоматами мне попала на глаза небольшая группа явных туристов. Их было шестеро, все девушки, наверное, студентки. Впрочем, для студенток слишком вызывающе одеты. Когда они поравнялись со мной, я услышал русскую речь, а следом раздался окрик:

— Enough!* Уходим, девочки, немедленно...

Строгий у них гид, подумал я и через мгновение ее узнал. Группу догоняла Лилия Бурбон собственной персоной. Она шагала в полосатом костюмчике, чем-то напоминающем арестантскую одежду из американских боевиков и, как обычно, с невероятным количеством бус, намотанных на шею от груди до ушей.

— Вот уж не думала, что вы можете тут оказаться, — пропела Лилия так, будто ее собственное присутствие в казино само собой разумелось. — Девочки, подождите-ка меня у лифта! И чтоб не разбредаться!

Молоденькие ее подопечные нехотя подчинились и стайкой, то и дело стреляя глазками по сторонам и останавливаясь, двинулись к выходу.

* Хватит!

— Значит, и вы равнодушны к возможности разбогатеть? — в голосе Лилии послышалась ирония.

Я решил, что лучше промолчать.

Мы долго с ней не виделись. Теперь вспомнилось, как Пит Хейтер некоторое время назад, в разгар спаривания с партнершей Лилией, посреди рабочего дня пришел без звонка ко мне в офис.

— Как быть, коллега? — спрашивал он. — Я повез ее познакомиться с известным тангером в городке Саус Лейк Тахо, чтобы тот поглядел на ее спину в процессе танца и дал полезные советы, а она исчезла в казино и пристрастилась к игральным автоматам.

Лилия стала таскать Пита в казино чуть ли не каждый уикенд.

— Она не понимает, что я бедный университетский профессор, — жаловался он. — Счет в банке сильно похудел, а ей хоть бы что...

— Еще бы! Не ее ведь банковский счет.

Чего Пит от меня хотел? Откуда мне знать, как быть в таких случаях?

— А что русские? — он почему-то оглянулся, не слышит ли кто. — Все такие азартные игроки, как Лилия?

Как следовало ему ответить?

— Может, ей вступить в Общество спасения от азартных игр? — предложил я ему тогда.

— У нас сегодня выходной, — сказала Лилия, — и я привела сюда девочек, которых Родриго выписал из России. Малышки приехали подработать, но им же надо развлечься... Боже, какой интеллектуальный примитив!

Сказать, что она помолодела, было бы преувеличением, но что не постарела, в этом готов поклясться: время для нас с вами еще пока кое-как идет, а для нее

вообще остановилось, — вот в чем ее преимущество. Пит, при всей прямолобости и некоторых дебилизмах, прав. Лилия — абсолютный редвуд: вечнозеленая, перемен климата не боится и будет жить триста лет, пока ее не спилят.

— Стало быть, освоились с должностью?

— Я освоилась с Родриго. Вы что думаете, я все-рез не могла от него избавиться? Да я бы его в каталажку уpekла, и он бы не пикнул. Но, во-первых, моя любовь к нему не исчерпалась. А во-вторых, мне было интересно, как в его массажном кабинете поставлено дело. Он настоящий новый мексиканец. Его мечта — купить должность президента в какой-нибудь латиноамериканской стране. Скоро я перебираюсь обратно в Сакраменто, в его школу танго.

— Милонга вас к себе тянет?

— Еще как! Я же должна репетировать к своему столетию.

— Будете танцевать танго?

— Еще как! И знаете с кем? С президентом Соединенных Штатов... Мои стихи в СССР слушала вся страна, а мое танго будет видеть по CNN весь мир. Буду первой в мире столетней танцовщицей и войду в Книгу рекордов Гиннеса.

— Президент вас пригласил в Белый дом?

— Нет еще. Но куда он денется?

Вот оно что: выходит, Лилия Бурбон уже танцует с президентом, а президент еще об этом и не подозревает.

— Чем больше знаю вас, тем сильнее мое удивление. Вы восхитительная женщина!

Заявил я это совершенно искренне и ласково коснулся ее плеча.

— Ха! Думаете, вы первый открыли эту Америку?



Часть третья

БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ

...нечто такое, чего мы,
при всем усилии мысли, не можем
довести до полной ясности.

Артур Шопенгауэр

1.

Стараясь не топтать, он прокрался по коридору и вызвал лифт. Раздвижная дверь открывалась медленно, словно спросонок. Выйдя из подъезда, Харя задрал голову и пробежал глазами по темным окнам. Четыре утра. Вот-вот начнет светать. Дом спал, только указатель «3370 Grant Street» мерцал на углу, да фонарь над входом еще не выключился.

Харя потыкал ключом, нащупав отверстие, отворил дверцу, швырнул внутрь сверток, который нес под мышкой, и плюхнулся на прямое сиденье. Придерживая открытую дверцу рукой, он завел мотор, по-

.....

морщился, когда тот взревел. Не включая фар, вырुлил на проезжую часть улицы и только теперь, опять скользнув глазами по окнам, включил ближний свет и захлопнул тяжелую дверцу.

Воздух и ночью был, как на верхней полке в парилке, что всегда имеет место на юге Техаса под конец августа. Перед глазами маячил ржавеющий капот, краска на котором пятнами выгорела на солнце. Кондиционер давно сломался, но вентилятор гудел, создавая слабое подобие свежести.

Вишневого цвета «Шевроле» продвигался по улице Белейр, а через несколько кварталов повернул на кольцевую дорогу. Четверть часа спустя Харя влился в вереницу машин, взбирающихся по эстакаде на Десятый фривей. Это же надо, до какой экономии додумались: чуть шире шеvelyнулся, и машина и чиркнет боками по бетону. Чтобы легко ездить по таким узким въездам, надо родиться за рулем. Харя аж взмок, пока поднялся наверх. Он втиснулся в поток и погнал свою тачку на запад. Впрочем, погнал — слишком сильно сказано.

И десяти миль не подмял он под себя, как поток замедлился, хотя было еще полпятого утра. Харя матюгнулся и от обиды хлопнул ладонью по рулю. Раздался гудок — на него в недоумении покосились полусонные водители соседних машин.

Скоро стало видно, как впереди четыре полицейских «Форда» заняли все четыре полосы дороги и ехали параллельно, ноздря в ноздю, держа стрелки спидометров ровно на семидесяти пяти милях в час. Полицейских не объедешь, и волей-неволей все идут, как положено, — так теперь дорожный патруль дисциплинирует едущих. К счастью, воспитание продолжалось недолго. На окраине Хьюстона полицейские

.....

дружно съехали на боковую дорогу. Ну, тут уж бес-
вселился в Харю.

Он опять выругался и, чтобы наверстать упущен-
ное из-за этих идиотов время, погнал старый, но еще
полный сил gas guzzler. «Газлер» — слово из француз-
ского, в английском означает «обжора», а по-техас-
ски чаще всего «алкаш». Понятно, что старый «Шев-
роле» середины семидесятых размером с хороший
бронетранспортер и при трехстах пятидесяти лоша-
дях в моторе называют gas guzzler, поскольку он вы-
жирает (или хлещет, если хотите) бензина столько,
что Харин карман не выносит. Впрочем, машина-то
не Харина. Где ж ему взять кругленькую сумму на
тачку посовременней? И приходится терпеть этого
обжору, которого вот-вот запретят борцы за чистоту
окружающей среды.

Сейчас Харе не до экономии: ему надо как можно
быстрее прогнать через пустыню на юг. Дома споза-
ранку ничего в глотку не лезло, а теперь явственно
хотелось утолить жажду и голод, но он уговорил себя,
что остановится не раньше, чем в Сан-Антонио, про-
гнав около половины дороги, и там, не вылезая из
машины, возьмет гамбургер, жареной картошки и
кофе — это обойдется в три доллара, не больше.

Голод подгонял, стрелка спидометра зашкаливала
за сто двадцать миль. Тут тебе не Германия, где он
недавно побывал в поисках лучшего пристанища, но
ничего ему с их методичной бюрократией не засве-
тило. Там на автобане хоть упри железку в пол, вы-
жимая максимум, а здесь больше семидесяти пяти
нельзя.

Харя нервничал. Со своим развитым чувством
предвидения он был уверен, что от скорости зависит
удача всей его жизни, не очень лепой до сего време-

ни, и это чутье передавалось правой ногой в стершейся мексиканской сандалиии, жмущей педаль газа.

Кажется, никто не видел, как он уехал из дому. Он-то сам живет один, с трудом разведясь с последней женой, оставшейся на родине, причем сделал это уже в Техасе, и за оформление соответствующих документов, которые послал для развода, до сих пор должен адвокату.

Обитает Харя в восемнадцатизэтажном доме. Фактически — на тринадцатом этаже, но такового по некоей причине как бы нет: Харин этаж четырнадцатый, а в восемнадцатизэтажном доме номеров этажей девятнадцать. Это трискайдекафобия — параноидальный страх вреда от числа 13. Слово сие напрочь отсутствует в русских словарях и энциклопедиях, до переезда в Америку я его не слышал, да и в английских словарях его непросто отыскать.

В древние времена боязнь числа 13 существовала, но распространена не была, видимо, из-за поголовной неграмотности: к чему тебе опасные цифры, коли цифр не знаешь? А в старой Англии, откуда трискайдекафобия перекинулась в Америку, тринадцатое число, падавшее на пятницу, считалось вдвойне несчастным: в такой день по традиции на площади вешали преступников.

Но и нынче дом на улице, автобус или поезд под номером «13» навряд у нас в Штатах встретишь. В отелях за комнатой «12» идет «14». Плохо назначать дела на тринадцатое число, пригласить тринадцать гостей, а если вокруг дома растет тринадцать деревьев, одно надо срочно спилить и пень выкорчевать.

Остается удивляться, почему такая рациональная нация, как американцы, страдает безумным суеверием, — сейчас уже не столь поголовно, как в старые

.....

времена, а все же въелось «13» в задворки умов у городских властей, не говоря уж про обывателей.

И в век высоких технологий полно бездельников, отыскивающих скрытые трискайдеки в правилах компьютерных программ, в лотерейных номерах, в длине мужского достоинства, в женских украшениях. Если надо заплатить семь баксов, не давайте двадцатку, ибо сдачи получите тринадцать. Если счетчик на бензоколонке показывает, что в бак залилось тринадцать галлонов бензина — не добавишь и не высеешь, но настроение испорчено на весь день.

Вообще-то, трискайдекафобом Харя, бывший активный атеист, не был. Какие тебе нерациональные страхи, когда хватает обыкновенных, вполне реальных неприятностей? А вдруг все же именно из-за скрытого тринадцатого этажа, хоть он и называется четырнадцатым, будь он неладен, Харе сразу после появления в этом субсидированном доме на Грант стрит столь жестко не везет в жизни?

За субсидированные квартиры жильцов, русских и мексиканцев, которые в большинстве не работают и получают пособие, тут доплачивает отдел социального страхования. Харя — исключение. Он ничего не получает и живет на птичьих правах. В квартире его — единственная спальня, гостиная да маленький отсек кухни с дырой в ту же гостиную. На танцы к себе не пригласишь, бильярда не поставишь. Но ведь квартира-то, как и «Шевроле», не Харина.

В данный дом поселяют вновь прибывших. Добавлю: прибывших легально, с правом жительствова. Если хотите, назовите сие поселение гетто или лагерь. Дом набит мусорной публикой. Все знают друг друга. Каждое слово, каждый шаг соседей перемываются, становятся предметом либо осуждения, либо рев-

ности, а то и доноса. Есть тут стукачи, бывшие или настоящие, — никуда от них не деться: душа горит, жаждет насолить родному человечку, порадоваться втихую неприятностям у соседей.

Район плохой, но находится на границе с хорошим. Из всех окон иммигранты с завистью поглядывают на другую сторону улицы Грант, где позади аккуратно подстриженной травки выстроились в ряд частные виллы с голубыми бассейнами. А тут бассейн с разедающей глаза хлоркой — казенный, один-единственный на всех. И отдельных гаражей нет, лишь общая тесная стоянка нос-в-зад (или зад-в-нос, если вам больше нравится) в подвале под домом, — да и то Харя давно ждет, пока освободится местечко для его тачки, хозяин которой смылся, так этого места и не дождавшись.

Как в таких антагонистических условиях развитого империализма не проявится классовая ненависти, впитанной на родине с молоком пионерской организации? Граждане из недостроенного бесклассового общества с тоской в глазах глядят через дорогу на средний класс Америки — извините за выражение, интеллектуальную копилку современных высоких технологий. Сюда бы Ленина, исчирканного Харей вдоль и поперек, чтобы из окошка, призывая соседей, выкрикивал: «Грабь награбленное!»

Эмигранты тоже, в общем и целом, как бы люди, но со странностями. Можете мне поверить, ибо я сам, как вы, наверно, слышали, к данной разномастной толпе принадлежу. Нормальные существа рождаются один раз, эмигранты — два, причем в разных странах. Мне скажут: выходя из концлагеря, тоже рождаешься второй раз; такого счастья, врать не буду, испытать не довелось. А эмиграционную катавасию пережил, свое хлебнул.

К сожалению, многие в доме на улице Грант родились второй раз глухонемыми. Попав в другое полушарие, они впервые узнали, что здесь, оказывается, говорят на непонятном языке. Куда ни шло, если это английский. Но можно очутиться в испанском районе или китайском в окружении таких же недоумков, как ты сам, и воды не допросишься.

Что-то в данном раскладе есть авантюрное, не для всякого годное. Хотите — примите мои слова на веру, хотите — проверьте: такой поворот судьбы не для каждого. Желаете рискнуть и поставить жизнь на карту по пролетарскому принципу «нечего терять, кроме своих цепей»?

В том оптимистическом марксистском послые обратите внимание на слово «своих». Как бы не вляпаться, не оказаться в чужих цепях, и не известно, какие хуже. Некоторые бывшие товарищи, разочаровавшись, мечтают родиться обратно и возвратиться в родное болото. Другие пытаются родиться третий раз: устремляются в Монреаль, Рио или Преторию.

В эмигрантской колонии на улице Грант можно смело уточнить Льва Николаевича: все счастливые семьи несчастливы по-своему. Вновь прибывшие растеряны от техасского изобилия, жалкие крохи которого на них осыпались, и несчастны от непонимания окружающей жизни и самих себя. Старожилы к благам привыкли, жалуются, что пособие маленькое, что их грозят снять с дотации, потому что они не ищут работу, а работа совсем не та, которую они хотели бы иметь.

Эмиграция — дело кровавое, как сказал один, во времена оные приближенный к советским вождям, а потом сбежавший от них хирург, который так и

.....

не смог здесь сдать экзамена на врача и заделался таксистом.

Кое-кто из обитателей дома подрабатывает потихоньку за наличные, чтобы не сняли с пособия: моет окна или сидит с чужими детьми. Патологические бездельники над такими иронизируют вслух, но охотно пьют за их счет. Кто меньше зарабатывает, завидует тому, кто прихватывает больше. Налоги не платят дружно. А кто найдет службу, тут не задерживается: покупает дом и спешит из змеюшника уползти. На новоселье к удачнику собираются новые сослуживцы, старых соседей как отработанный материал стараются не звать.

Тысячи прошли через квартиры дома номер 3370 на улице Грант, расселившись по всем штатам от Флориды до Аляски и Гавайев.

Давненько, когда я работал в Техасе, в дом этот, бывало, заглядывал, хотя позабыл зачем. Возле входа, по обе стороны парадной двери, тут никогда не пустуют длинные, крашенные белой краской и расписанные ругательствами на разных языках скамейки. Сидящие встречают и провожают вас взглядами от дверцы машины до входа и тут же начинают обсуждать, к кому вы приехали. Мексиканцы справа, русские слева, причем капитально отделены невидимым языковым барьером.

О чем говорят мексиканцы, не знаю, а русские похваляются, кто из них какие должности занимал в первой жизни. Некоторые перед выходом на посиделки, невзирая на техасскую жарницу, надевают на себя полный иконостас: все советские ордена и медали. У кого их нет, украшают грудь значками «Готов к труду и обороне СССР», «Почетный железнодорожник» и «Даешь Магнитку!», купленными уже здесь, на блошином рынке.

.....

Здесь, неподалеку от городского центра Хьюстона, в миниатюре сохранилась советская страна: есть сознательные передовые рабочие из ракетных «почтовых ящиков» и парторги, делеги из коммиссионки и секретари горкомов. Встретился мне коммерческий директор Тамбовского ликероводочного завода. У него был только один профессиональный дефект: он не пил. Этот недостаток ему удалось исправить лишь после эмиграции в доме на улице Грант.

Жил тут даже один начальник лагеря, само собой, не пионерского, который уверял, что у него развился рак мочевого пузыря на нервной почве: так напряженно он спасал в своем магаданском подворье зэков от начальства, приезжавшего их расстреливать. Приходилось, говорил, грудью вставать на защиту справедливости, отчего и заболел. Пострадала, однако, не грудь. Благо такой вид рака сейчас в Америке успешно лечат даже у энкаведешников.

Чем дольше вновь прибывшие живут и плещутся в общем бассейне на улице Грант, тем выше им кажутся прежние советские должности: лейтенанты в устных воспоминаниях становятся майорами, майоры генералами, а мелкие топтуны, начитавшись леденящих кровь детективов из ближайшего русского магазина, — двойными и тройными международными агентами влияния, от которых, оказывается, целиком зависели судьбы прогрессивного человечества.

Один бывший житель подмосковной Мамонтовки, приехавший из Хьюстона в Калифорнию навесить дочь (я с ним случайно скрестился в случайной компании), в подпитии вспомнил, как он отдавал приказы маршалу Жукову, в результате чего и прикончили Гитлера.

— А как же, например, Сталин? — осторожно, чтобы не обидеть, спросил я его.

— Да этот рябой вообще не при чем! — объяснил он. — Сталин нос из бункера всю войну не высовывал. Я с Жуковым за всех отдувался!

Некоторые грантовцы (понимаю, что звучит двусмысленно, но как же их еще назвать?) строчат депеши в ФБР и ЦРУ на родном русском языке, предлагая свои услуги, а органы на них — ноль внимания, скорей всего, даже и не читают. Талантливые индивиды остаются невостребованными.

Жилище свое Харя ненавидел, но терпел, окружение презирал, и к тому, как видим, были некоторые основания. Но и вырваться с улицы Грант шансов пока что не имел по ряду причин, первой из которых было его нелегальное проживание в чужой субсидированной квартире, о чем он, само собой, старался помалкивать.

Когда выехать из рассыпавшейся на осколки державы стало сравнительно легко, старый приятель и собутыльник, давнишний эмигрант, пригласил Харю поглазеть на Америку. Гость прилетел в Хьюстон и обалдел от увиденного: друг его и все соседи ничего не делают, только пьют коньячок, а протрезвев, ездят между небоскребов на огромных, как в кино, автомобилях.

Душевные потребности Хари расширились от воздуха свободы, и он написал нелюбимой жене, что не вернется. Вскоре приятель его, подкопив денег, рванул на родину продемонстрировать себя настоящим американцем. Харю он оставил в своей квартире и в своем «Шевроле». Не иначе как приятель кого-то себе в Одессе завел, ибо шли месяцы, а возвращаться друг не собирался, что хьюстонского оставанца вполне устраивало.

Чтобы получить статус, надо, известное дело, связаться с юристом. Первый же визит к адвокату начался со скандала. Харя появился в конторе в назначенный срок, надев свой единственный замшевый пиджак и плетеный галстук. Поднявшись по мраморной лестнице, он увидел секретаршу, причем увидел сперва часть ее, находящуюся под столом.

— Меня зовут Лиззи. Как я могу вам помочь? — протарабанила она стандартные фразы, сразив Харю улыбкой, которую он слишком буквально интерпретировал.

Хорошенькая, юркая, глазастенькая Лиззи была еще и актрисой, играла в любительском мюзикле. Она была то, что в Техасе называется *burning panties**, — надеюсь, не надо объяснять, какова красотка. Когда клиенты уходили, адвокаты провожали их на обратном пути мимо Лиззи, чтобы она не успела завести клиента за шкаф и похвастаться надписью на своих трусиках сзади: «It's unique!»**.

Харю попросили подождать. Когда адвокат вышел, он увидел, что на секретарском месте сидит клиент, Лиззи у него на коленях, а рука клиента у нее под юбочкой.

Адвокат возмутился, сказал, что он сейчас позвонит в полицию.

— Видите эту руку? — Харя вынул из-под юбочки руку и поднял ее. — Это пятерня волшебная. Я лечу пациентку от болезни в одной области, только и всего.

Скандал замяли.

Харя убеждал адвоката, что он политический беженец, всю жизнь преследовался властями за свои

* горящие трусики.

** «Это уникально!»

убеждения и вытолкнут из родной Одессы взащей. Он засыпал своего защитника антисоветскими анекдотами, труднопереводимыми и малопонятными в этой глухой стране. Факты же плохо лепились один к другому из-за харинной специфической профессии. В принципе, ничего особенного: согласно советскому канцеляризму, он был научным работником.

Посреди моря всех дозволенных наук советского времени имелась уникальная, тихая, сладкая и, в общем-то, вольная заводь, где ни в коем случае не дозволялось заниматься исследованиями, вести поиск, делать открытия, волноваться по поводу провала несостоятельных гипотез или неудавшихся экспериментов.

Основополагающие тезисы спускались сверху, от жрецов, которые толковали старых идолов согласно своим новым целям. А ты отчитаешь по утверждённому тексту курс лекций, опубликуешь компиляцию из одобренных наверху теоретических источников — и гуляй. Главное — не вникать глубоко в смысл, не то появятся вопросы сомнительного свойства, и все зашатается.

Не буду темнить: в старой жизни кандидат философских наук Харитон Лапидар (совсем забыл назвать вам его полное имя и фамилию) был доцентом Одесского политехнического института на кафедре научного коммунизма.

Фамилия Лапидар, казалось бы, как слышится, так и пишется: Lapidar. Но не для американского речевого аппарата. Натренированные на всех фамилиях мира техасцы, приготовив рот для проглатывания большого персика целиком вместе с косточкой, затем изогнув язык сперва вверх, потом вниз и, наконец, двинув нижнюю челюсть вперед, налево и направо, даже отваживаются произнести:



— Мистер Лэээа-паай-дээррр... Не так ли?

Но вот имя Харитон (пишем Khariton, вроде бы, чего сложного?) почему-то оказывается сущей пыткой.

— Хэай-ррраай-таанн? Так что ли? Произнесите по буквам, пожалуйста — я попробую повторить. А как мама звала вас в детстве? Может, это не столь головолотно?

Мама, мир ее пеплу на одесском кладбище, полвека назад называла своего взрослого не по дням, а по часам сыночка Харик. Что более для техасцев понятное тут срочно предложишь? Харик, Генрих, Йорик, Шурум-бурумчик... Короче говоря, пришлось Харитону упрощаться в посильное для данной страны Гарри или, если совсем приблизиться к американской топонимике, Харри. После того, как Харри однажды представился соседям, Акоп, азербайджанец грузинского происхождения, родившийся в Ереване и живущий на третьем этаже, воскликнул:

— Зачэм сложности, дарагой? Ты такой монументальный, как памятник Сталину, каторый, к счастью, нэ успели поставит на вершинэ горы Арарат. Мы тэбя будэм зват Харя! Ымя Харя твоэму ынтэллигэнтному лыцу ныкак нэ паврэдит!

Харя, так Харя... С этим тоже пришлось смириться. Замечу, кстати, что, невзирая на имя, морда лица у моего героя вполне достойная, даже приятная, хотя и слегка оплывшая от постоянного перепоя и перепада. Глаза (для потенциальных невест отмечу) черные, добрые, взгляд гипнотизирующий, но чаще мечтательно устремлен в даль. Циники на кафедре научного коммунизма уверяли — в светлое будущее. У него мефистофельский профиль, нос с горбинкой, причем не настолько длинный, чтобы западать в рот,

.....

к тому же почти две трети зубов свои. Здоровье Харя, благодаря Марксу и Ленину, сохранил в сносном состоянии.

Вальяжный мужик Харитон Лапидар, интересный, значительный. В Техасе он слегка полинял, зато отрастил прямоугольную лопаточкой бородку, за которой ежедневно ухаживал, как за любимым огородом.

В конце концов адвокат выбил ему рабочую визу, каковую Харя не спешил реализовывать. Не из-за своего шестидесятилетнего возраста. И не потому, что он не компьютерщик и не таксист, на которых тут почти всегда спрос. Ох, нелегко найти работу по сложному для Америки Хариному профилю, даже сносный английский, каковой он от избытка досуга выучил в старой жизни, не помогал.

Время шло, службы, какая бы его не обидела, не находилось, а понижать социальный статус, развозя пиццу, самолюбие не позволяло. Но главное — не для того он облагодетельствовал своим присутствием Америку. До пенсии ему ждать еще пять годков, но никакого пособия он, нелегал, не получит. На что он жил теперь, единому Богу известно.

В предыдущей жизни Харя неплохо зарабатывал. Он организовывал групповые занятия абитуриентов в собственный вуз с гарантированным в него поступлением. Натаскивали учеников для экзаменов другие, суммы тоже брали другие — Харя посредничал, но все равно чуть не угодил на скамью подсудимых: он плохо делился с директором, и подельники его заложили. Может, это тоже подтолкнуло к тому, чтобы не возвращаться. В каком-то смысле он действительно политический беженец: ведь политическая система, в которой было его место, существовать перестала. Он стал научным работником в исчезнувшей науке.

Там в свободное время, оставшееся от научного коммунизма (а ненаучной была, как он говаривал друзьям, реальность), Харя не скучал. Семья его не отягощала. Последнюю жену марксиста, бывшую травести, с годами располневшую до состояния полной профнепригодности, знала треть Одессы. Ее прозвали Анка-пулеметчица за то, что она всегда стреляла у соседей то хлеб, то соль, то сигареты. После четырех неудачных женитьб на родине Харя решил просто коллекционировать носителей прекрасного пола. Взялся, но энтузиазм был уже не тот.

В доме на улице Грант шептались, однако, что его подпитывали одинокие обеспеченные женщины, которые к нему наведывались. Можете считать это работой. Харя быстро установил контакты со своими старыми приятельницами, которые перебрались в США, и стал наезжать к подругам (за их счет, понятное дело), как любвеобильный классик говаривал, для сбора недоимок. В процессе получения одной недоимки в Чикаго Харя чуть не умер. «Скорая» спасла, выходила и по сей день бомбит его астрономическими счетами.

Собственности у Хари там не было и здесь нет. При этом, как ни странно, тут у него ничего нет, но все есть. Таким образом, идеальная жизнь данного индивида осуществилась в полном соответствии с теорией, но не в неопределенном светлом будущем, о котором он читал лекции в одесском вузе, а уже прямо сейчас. И при желанном коммунизме он оказался не в стране развернутого, победившего (или как он там официально назывался) социализма, а что ни на есть в самом логове давно загнившего империализма, как-то лектор запугивал студентов в Одессе.

Мне говорили знакомые с Харей одесситы, что стараются быть от него подальше. Его идеи всегда

.....

и исключительно глобального плана: как решить всемирную проблему голода, как продуктивно осваивать галактику, причем не нашу, как путешествовать вперед и назад во времени, пополняя карманы валютой. Он таким и остался, как у нас говорят, *good for nothing**, но выглядел весьма представительно.

Между прочим, в английском «я» пишется с заглавной буквы, «вы» с маленькой, в русском же, как известно, наоборот. Мне русское правило больше нравится, а Харе — английское. Он большой сам-себя-люб или, точнее, сам-себя-обожай. Притом, человек общительнейший: в любой компании тему берет на себя, разворачивает и уже не выпускает до конца, умолкая на мгновение только для опустошения очередной рюмки. Объемы ни в литрах, ни в галлонах называть не буду, поверьте на слово: мало кто может выпить больше, чем этот теоретик научного коммунизма.

Пиво он покупает, поджидая распродажу, самое дешевое: «Бадвайзер» или «Миллер», которые даже американцы называют медицинским термином моча, — и держит в пустом холостяцком холодильнике по сотне банок (они быстро исчезают).

Большая проблема Хари при его шестидесяти и хорошем росте — вес, точнее, перевес. Жрать он тоже ох как любит, а, находясь в процессе, не может остановиться. Жира не боится, на холестерин в крови ему плевать. То, что в Америке называется обезжиренным жиром, ненавидит.

Чтобы похудеть, он курит полторы пачки в день, поддерживая пошатнувшиеся финансы компании

* Хорош для ничего.

«Филипп Моррис», но вес не убавляется. В кресло, даже в широченное американское, куда можно сесть вдвоем, Харя один втискивается так туго, что отделиться от сиденья не может и сперва поднимается вместе с креслом, а когда распрямляется, оно с грохотом рушится, и нижние соседи возмущенно стучат в потолок палкой, заранее заготовленной для этого случая.

Таланты Хари перечисленным не исчерпываются. Впрочем, о них позже, когда эти таланты ему пригодятся. Пока что он съехал на заправку и за гамбургером в старый даунтаун Сан-Антонио. Славное местечко — он не раз раньше шлялся сюда без дела, просто от неугомонности и нескрываемого интереса к большегрудым мексиканкам. Конечно, языковой барьер отделял, но Харя надеялся рано или поздно через него перелезть.

В этот утренний час ресторации были пусты. Усатые официанты, зевая, лениво накрывали столы, никто не зазывал прохожих страстными мелодиями под гитару, женщины, конечно, еще спали. Пять минут на заправку да мойку стекла от налипших насекомых и три минуты, чтобы взять жратву.

Дожевывая по дороге жареную картошку, Харя выбрался на Тридцать пятый фривей, сдавленный с обеих сторон небоскребами. Осталось прожевать вторую половину дороги. Теперь он гнал на юг. Часа через два поток машин замедлился. Харю начало клонить ко сну, он встrepенулcя, нажал на тормоз. На указателях замелькало слово «Ларедо» — не иначе как скоро граница. Не проскочить бы в Мексику, ведь ему туда не надо.

.....

2.

Накануне вечером голодный Харя вспомнил, что не обедал. С грустью глянул в холодильник, в котором ничего, кроме десятка банок «Бадвайзера», не объявилось, вышел из подъезда, решив пешком прогуляться до ближайшего супермаркета и в нем поужинать.

Фонарь над подъездом, облепленный комарами, уже зажегся. На русской скамейке обсуждали новости.

— Ты слышал — разрушены дома на побэрэжье? — спросил Акоп, ласково похлопав Харю по спине.

Сидящие на скамейке повернули к ним головы.

— Где? — не понял Харя, которого голодный желудок подгонял в супермаркет.

— Ну, как же! Вот, в «Хьюстон кроникл» пишут: тропический циклон...

Под нос Харе сунули открытую газету, информацию в коей уже обсудили и взволновались. Вообще-то, тутошних людей ничем не удивить, даже если вы встанете на руки и заговорите ногами. И раз уж они обсуждают чего-нибудь, значит, произошло чрезвычайное.

Харя взял газету. На фотографиях виднелись перевернутые машины, заваленные деревьями дороги, дома, с которых унесло крыши. Репортеры сообщали с места событий, что река Рио-Гранде на границе Техаса и Мексики от дождей и ураганного ветра вышла из берегов, затопив окрестности. Прорвало дамбу, фарватер реки в районе города Ларедо обмелел, и течение раздвоилось, образовав остров. Циклон двигается с бешеной скоростью, но дальнейший путь его не ясен.

Харя вернул газету.

— Понял? Циклону, при скорости его, как пишут, 120 миль, часа два до нас.

— Два часа? — переспросил Харя. — Тогда вполне успею пожрать. С полным желудком сдуть меня тяжелей.

Он заспешил в магазин, но, прошагав полквартала, на переходе улицы остановился посреди дороги, как вкопанный. Светофор переключился, свора машин рванулась вперед, возле него все начали резко тормозить. Образовалась пробка. Не гудели (это как-то не принято), но и не оказались в восторге от задержки. Харя поглядел в небо, хлопнул себя по лбу.

— Какой же я все-таки..! — гавкнул он по-русски, выдав слово, которого пока нет в Академическом словаре литературного языка.

Не обращая внимания на поток машин, он помчался (если так можно сказать про его по-слоновьи передвигавшуюся тушу) на другую сторону улицы Грант. У входа в супермаркет Харя не пожалел трех серебряных четвертаков, опустил их в щель, открыл дверцу и вынул «Houston Chronicle». В магазине, держа подмышкой газету, он взял коробку китайской сладкой свинины с рисом и молодым зеленым горошком, самый большой бумажный стакан кофе, уселся за столик и, механически запихивая в рот еду, развернул уже виденную страницу с фотографиейми.

Как же он сразу-то не сообразил? Вот это место в газетном репортаже: «Фарватер реки Рио-Гранде выше Ларедо обмелел, и течение раздвоилось, — Харя упер пухлый палец в строку и вслух, бурча себе под нос, переводил. — Раздвоилось... образовав посредине реки... посредине реки... большой остров — ничейную территорию между США и Мексикой».

Харя оглянулся. За соседним столиком старушка с красными волосами уминала салат с креветками. Она ничего не слышала, а слышала бы, так не поняла. Мимо двигались к выходу коляски, доверху груженные пакетами с продуктами. Никто не обращал на него внимания.

Кусок страницы вырван, сложен вчетверо и засунут в карман. Сладкая свинина с рисом еще оставалась в коробке, но Харя выбросил ее в мусорный ящик возле стола. Туда же рухнула газета. Харя отхлебнул еще кофе и потопал домой.

Завалившись в кровать, он на четыре утра поставил будильник, но проснулся чуть раньше и хлопнул по нему ладонью, чтобы не зазвонил. Проверил бумажник — там было пусто. Вытащил из тумбочки заветную сотенную бумажку, которую держал на аварийный случай, положил ее в карман, рядом с обрывком газеты «Хьюстон кроникл» и уехал туда, где вчера прошел циклон.

Опять я отвлекся, но без этого Хариных зигзагов не понять.

Уже было сказано, что перед его глазами появились предупреждающие указатели: скоро мексиканская граница. Пока все идет по-задуманному, но нервишки как напряглись вчера вечером, так в состоянии натяга и находятся. Без передыха он за рулем, — не считать же отдыхом заправку и двойной гамбургер с жареной картошкой, от которой началась изжога.

Харя немного сбавил скорость и поглядывал то на часы, то на мятую карту, разложенную справа на сиденье.

Разрушения от циклона то там, то тут виднелись вдоль дороги. У домов валялись вырванные с корнями деревья и перевернутые машины, однако погода

.....

вовсе не напоминала вчерашнюю катастрофу. Прогноз оказался с преувеличениями. Тропический циклон не пошел к северу, а, обложив проливными дождями округу, расслабился, растворился, и остатки его через пустыню повернули в Мексиканский залив, исчезнув в Атлантике. Ключья облаков плыли по небу, но сквозь них то и дело прорывалось солнце. Жара смешалась с испарениями высыхающей земли, и те-хасцы задышали, как рыбы вынутые из воды.

Вытащив из кармана обрывок газеты, Харя положил его перед собой на руль и, перемещая глаза то на текст, то на дорогу, еще раз перечитал про место, описанное репортером. Вот он, немного не доезжая до Ларедо, поворот на шоссе Майнс. Теперь осталось недалеко, но уже горит и не мигает красная лампочка: бензин выжран, а знак на дороге предупреждает, что следующая заправка будет нескоро. Пришлось съехать.

Харя никогда здесь не бывал, но не стал спрашивать дорогу на бензоколонке, только покряхтел, отсчитывая наличность пожилой мексиканке. И дальше, не плутая, поехал так, будто все ему знакомо, только изредка поглядывал на карту.

Места кругом стали и вовсе однообразными: жалкая бурая растительность вдоль каналов, прорытых от реки, а дальше, до горизонта, хлопковые и рисовые поля. Картина была мирной, редкие домики белели нетронутыми, стало быть, циклон тут не куролесил.

Харя увидел знак: «Ручей Санта-Изабель»: колеса прогрохотали по мосту. Где-то тут, но не спросишь — не найдешь.

— Эй, приятель! — Харя притормозил и махнул рукой фермеру в грязном белом комбинезоне, вылезшему из трактора возле маленького магазинчика. — Где тут остров вчера намыло?

.....

— Отсюда не видать, — отвечал фермер, расстегивая до пула комбинезон и нахлобучивая на лоб шляпу, чтобы солнце не слепило глаза. — Но если прокатишься через три перекрестка, минуешь поворот на Ислитос, а после свернешь налево, то дальше дуй до упора, остров будет маячить слева. Там такое место — Рио-Гранде круто поворачивает к северу и... А на что тебе?

— В газете прочитал, интересно.

— Чего ж интересного? — усмехнулся фермер. — Пустое место. Учти, браток: пивка там не купишь!

Остров Харя едва разглядел: он почти сливался с горизонтом. Но едва шины, сойдя с гравия, очутились на высохшей земле, подняв столб пыли, Рио-Гранде заняла весь пейзаж перед ним. Два рукава могучей реки сливались, образуя единое мутное, серо-желтое пространство, стремительно двигались в противоположную Харю сторону. Ближний к дороге рукав был узкий, а другой широченный. Там уже Мексика.

Харя съехал на обочину, но почувствовал, что колеса начинают буксовать в песке, и дальше двигаться не рискнул. Он вылез в полусогнутом состоянии и медленно разгибался, словно боялся, что хрустнут затекшие кости.

Погода совсем разгулялась, и все стало опять потехасски: блеклое небо без единого облачка, солнце в зените, жара, убивающая все живое, кроме змей, копошащихся на обочине. Дул легкий ветерок, но он не освежал: воздух был горячий. Харя вздрогнул, отскочив назад: возле его ног змея прыгнула, ухватив ящерицу поперек тела.

Вот он, остров! Плоский, немного горбящийся к середине, песок да глина. Ураган наследил изрядно. Вдоль берега валяются вырванные с корнем деревья,

.....

куски железа, обломки досок, гниющие пальмовые ветки. Харя развел руки в стороны — то ли потянулся, то ли измерял площадь острова, лежавшего перед ним, и промышчал нечто нечленораздельное, по-видимому, удовлетворенный размером этой полосы земли.

Опять он оглянулся. Вокруг никого. Открыл багажник, разложил на песке резиновую лодку и стал накачивать ножным насосом. Лодка надувалась медленно. Харя пытался и покрылся потом, с ней сражаясь, пока, наконец, борта не поднялись и не отвердели.

Он сунул за пазуху сверток, прихваченный из дому, взгромоздил лодку на голову и стал, спотыкаясь на кочках, спускаться вниз. У кромки воды он сбросил лодку. Не снимая сандалий, вошел, ощупывая дно, в мутную воду, нагретую как горячая ванна, плюхнулся животом в лодку, с трудом перевернулся, извлек из кармана на борту две деревянные лопатки, заменяющие весла, и погреб против течения, немного наискосок.

Его начало сносить, вода вокруг бурлила и лодку крутило то в одну, то в другую сторону, но Харя продвигался вперед, и остров постепенно становился ближе. Наконец руки ухитрились захватить корни поверженного дуба. За стволом его нашлась тихая заводь, и лодку удалось перетянуть туда.

Харя выволок свое суденышко на песок и сам тяжело рухнул рядом на спину в тени могучей кроны умирающего дуба, который вырвало беспощадной водной стихией из родной почвы и прибило к острову. Сколько дереву? Судя по толщине ствола, который и вдвоем не обхватить, лет двести, не меньше. Откуда его принесло, бедолагу? Теперь этому гиганту больше не подняться.

Глаза у Хари сами собой закрылись, и он провалился в сон. А когда открыл глаза и взглянул на часы,

.....

пролетело три часа. На лбу у него сидела стрекоза и щекотала крылышками. Согнав ее, он встал, кряхтя и чертыхаясь, на ноги, повернулся вокруг своей оси и вдруг крикнул от избытка глупых чувств:

— Мое-oooooooooo!..

«О-о-ооо!» — отразилось эхом. Харя удивился, что его крик повторился, отскакивая, как камешек, ловко пущенный по воде.

Утопая в песке, он пошел вдоль берега. Оказалось, территория не такая уж маленькая. До противоположного конца острова он добирался медленно и долго сидел там, глядя, как сливаются два гигантских рукава мутной воды, несущие мимо острова остатки вчерашней бури. Его, Харинога, острова! Он тут первый, и больше никто!

Харя опять поднялся и стал карабкаться на верхнюю точку острова. По дороге он нагнулся, вытащил из земли доску выше себя длиной и поволок ее наверх.

Забравшись на песчаный гребень, Харя опустил на четвереньки и стал по-собачьи разгребать яму передними конечностями. Когда песок сделался плотным и мокрым, в дело пошла доска. Выкопав яму и сопя, как паровоз Иосиф Сталин, Харя изо всей силы вонзил доску в яму и стал сгребать и затаптывать песок вокруг нее.

Он вытащил из-за пазухи сверток и развернул флаг, который вечером приготовил из простыни. На белом в мелких розовых цветочках полотнище синим фломастером кривыми, но огромными буквами, чтобы ни у кого не вызывало сомнения, было написано:

The Property of Harry Lapidar*

* «Собственность Харри Лапидара».

Привязав к доске два конца простыни, Харя расправил ее и оглядел с гордостью. Ветерок подхватил полотнище, оно заполоскалось. Теперь осталось отойти на несколько шагов, чтобы полюбоваться этим произведением искусства. Харя вытащил из кармана фотоаппарат, поставил на валявшуюся неподалеку консервную банку, чтобы в кадр попали флаг и часть берега, и включил автоспуск. Подбежал к полотнищу, распластал его рукой так, что стало видно текст, и изобразил улыбку победителя. Затвор щелкнул, удостоверения: все получилось, как задумано.

Надо спешить домой, не то застрянешь тут на ночь — ни кола, ни двора. Вода в реке мутная — не попьешь. Увязая в песке, Харя сбросил лодку с берега и, держась рукой за ствол поверженного дуба, вошел, таща лодку за собой, в воду по колено. Вдруг зеленая тень метнулась из-под корней. Он вздрогнул. Как же он не заинтересовался: а вдруг здесь водятся крокодилы? Не славно было бы закончить дни в пасти голодного зверя.

Спасая пятки, Харя плюхнулся меж надутых бортов. Течение начало медленно сносить его. Он перевернулся, сел, схватил деревянные весла и стал торопливо загребать в сторону берега, ориентируясь на свой «Шевроле».

Все-таки лодку изрядно отнесло вниз по течению, туда, где оба рукава, омывающие его личный остров, сошлись вместе.

Пока Харя спускал воздух из лодки и скручивал ее, начало темнеть. Мокрые сандалии, набитые песком, натирали ноги. Чтобы не заблудиться, он вышел к прокатанной тракторами дороге и по ней, тяжело дыша, добрался до своего «Шевроле». Удивительно: столько времени он провел тут и ни единой души не появилось, — ни пешком, ни за рулем, ни верхом, ни вплавь, ни на крыльях.

.....

В багажнике покоилась большая бутылка с водой. Пил Харя долго, не чувствуя, как теплая жидкость стекает с подбородка за пазуху. Он сел за руль и, опьяненный свежим воздухом, опять выключился и некоторое время дремал. Пробудившись, допил воду, вышвырнул бутылку через плечо в окно, завел мотор, развернулся и поехал домой. Езды ему часов шесть, а если, глядя на ночь, поднажать, то и за четыре с чем-нибудь справишься.

Из окна любовался на шевелящееся вдали на ветру полотнище. Текста не видно, но он-то знал, что там написано.

3.

Теперь, поскольку я лишь отчитываюсь с максимальной аккуратностью о происшедшем, никаких глупостей не замалчивая и никаких умностей не додумывая от себя, пока Харя гонит домой, нам надо разобраться в географии, связанной с этой историей. Местность мне довольно хорошо знакома, потому что много тут пришлось путешествовать.

Вообще-то, факт приобретения русским пришельцем острова нас с женой не удивил. В Сиэтле живет добрый наш приятель Билл. Познакомились мы случайно в Тбилиси. Произошло это еще в прошлом веке, в советское время. Попали в Тбилиси на открытие Театра марионеток Резо Габриадзе, днем взбирались на гору Мтацминду, и рядом галдели американские туристы. Мы перекинулись парой слов.

С фуникулера были хорошо видны там и сям лозунги на красных полотнищах, призывавшие отдать все

силы для строительства светлого будущего. Попросив перевести ему, что там написано, Билл слушал с большой серьезностью. Потом, оглянувшись на экскурсовода, наклонился к моему уху и шепотом спросил:

— Вы не могли бы в двух словах объяснить, в чем сущность вашего марксизма-ленинизма?

Я подумал, он шутит, и ответил в тон:

— Да он вовсе не мой, а их.

— Ах вот как!

Билл был абсолютно серьезен и искренне хотел понять смысл той лозунговой мудрости. Уже после эмиграции мы с женой попали к нему в дом на берегу залива Элиот, и я узнал, как Билл богат.

Его отец появился в Сиэтле, когда тот был мелким городишком на Тихом океане. За 25 долларов отец, эмигрант из Белоруссии, купил у местных индейцев остров, который аборигенам был вовсе не нужен: добраться к нему на лодках трудно, на острове ничего нет, кроме перелеска да болота. Отец умер, оставив остров в наследство двум сыновьям.

Прошло полвека, город разросся, и строительные компании купили остров у Билла с братом, если память мне не изменяет, за три четверти миллиарда. На острове начали теснить друг друга небоскребы, мосты соединили его с материком, деловая жизнь кипит. Билл давно бросил работу на фабрике, где шьют паруса для яхт, и сделался любителем путешествий по всему миру.

Это я к тому, что если Харе сильно повезет, то... Впрочем, не будем забегать вперед и решать за Харю, что ему делать. Тем более, что остров у Хари не в штате Вашингтон, а в Техасе, да еще на границе с Мексикой. Если есть под рукой глобус, точное место найти — раз плюнуть.

.....

Рио-Гранде, или, как ее называют на мексиканской стороне, Рио-Браво-дель-Норте, — река грандиозная. Рождается она в горах штата Колорадо, неподалеку от пика Анкомпагре, а впадает, или, как говорят американцы, опустошается в Мексиканском заливе.

Река местами такой ширины, что другого берега не видно. Берега ее разные, особенно в нижней части реки, скучные, лесов нет. Такая большая водная артерия, а для судоходства не приемлемая, поскольку мелкая и в отдельных местах сильно высыхающая в жару. Зато окрестности Рио-Гранде поит досыта: каналы испещряют всю округу, как кровяные артерии, питая поля и сады: рис, хлопок, табак, фрукты на тысячекилометровых пространствах живут соками реки.

Невидимая граница, проведенная после окончания войны с Мексикой, идет по фарватеру и практически никак не охраняется. Не самая лучшая публика успешно перебирается с наступлением темноты, а то и днем в Штаты. Что плохо лежит, не залежится, не Харя один такой проворный: любителей сделать чужое своим всегда навалом. В чужой ум не заглянешь, но не исключено, что, возвращаясь, усталый Харя, давя на железку, думал примерно в таком направлении.

Небо стало темно-синим. Зеленые указатели с номерами выходов с фривея засветились над дорогой. Звездный купол, какого нигде на свете больше не увидишь, только в Техасе (таков тутошний патриотизм), распростерся до горизонта. Машин на фривее становилось все меньше.

Периодически Харя встряхивал головой или включал радио так громко, что можно оглохнуть. А то вдруг начинал петь, перевирая на свой лад все известные ему со студенческих лет песни. Голос у него препротивный, но этого никто не слышал, да

и не в вокале было дело: главное, не заснуть за рулем.

Быстро промелькнул даунтаун Сан-Антонио с некогда не гасящими свет небоскребами. Два раза Харя останавливался, кряхтя разминал затекшую спину, наливал из автомата двойной эспрессо на бензоколонках. Но и кофе перестал помогать. Железка в полу, хочется еще прибавить скорости, взлететь, но больше не выжмешь. Что-то дребезжит сзади, мотор ревет, без пяти минут антикварный «Шевроле» на последнем издыхании, хотя тянет, сволочь, как молодой бульдог.

Обратная дорога займет у него почти на час меньше: всегда бы ездить ночью! Остается до Хьюстона каких-нибудь миль сорок. Вот и светать начало. Еще немного поднажать, и будем дома. Завтра дел по уши, но прежде всего надо зарегистрировать обретенную собственность: охотники поживиться за счет чужой идеи всегда найдутся.

Сзади послышался вой полицейской сирены. В зеркале замельтешили красные мигалки. Харя сбросил скорость и перешел в правый ряд, чтобы пропустить дорожный патруль. Но тот тоже притормозил и последовал вплотную за Хариным «Шевроле», почти подталкивая его своим бугером.

Прошло какое-то время, пока уставшие Харины мозги смекнули, что не обогнать его хочет полицейский, а велит остановиться. Пришлось съехать на обочину, колеса загудели, пересекая ограничительную линию, и машина застыла. Полицейский встал следом за ним, выключил сирену, но красные огни переливались в зеркале у Хари. Оставалось сидеть и покорно ждать.

Движение на дороге еще оставалось редким, проносились отдельные машины. Почему остановили его, а не их? Полицейский не вылезал, как водится,

.....

изучал Харино досье в компьютере. Медленно подошел с правой стороны, высокий и худой, с усиками, снизу подстриженными, как по линейке. С фонарем в руках он согнулся в три погибели и сунул голову в окошко, осветил Харю с головы до ног и обвел лучом света салон. Ничего подозрительного в мусоре на заднем сиденье не обнаружил и произнес:

— Мистер Лээа-паай-дээр, извините, что побеспокоил вас...

Интонация немного ироническая. Харя заискивающе кивнул.

— Не будете ли вы любезны, сэр, дать мне водительскую карточку? — продолжил полицейский и внимательно следил, как Харина рука лезет за бумажником в задний карман.

Осветив фонарем карточку, он опять глянул на Харю и суше произнес:

— Попрошу вас выйти из машины, только осторожно. Перейдите сюда, на более безопасную сторону.

Харя вышел. Тело затекло, нетвердо переместилось вокруг капота на другую сторону.

— Вы сейчас из Мексики?

— Нет.

— Если нет, багажник открывать не надо. А то везут всякие нехорошие вещи.

— Нет, я не везу.

— Надеюсь. Пили сегодня?

— Кроме воды, ничего.

— Пройдитесь по белой линии — я погляжу.

Харя сделал несколько тяжелых шагов, стараясь не качнуться.

— Не пил я!

— Вижу. Повернитесь лицом к автомобилю и положите руки на крышу. Я вас обыщу.

Коп стал хлопать по одежде ладонями от подмышек до низу и между ног тоже.

— Может, вы ошиблись? — выговорил Харя, в конце растерянный.

— Ошибся? Думаете, с какой скоростью вы передвигались?

— Примерно семьдесят пять миль...

— Примерно? Пойдемте, я вам покажу: у меня на радаре сто девять миль. Я долго за вами следовал, но вы и тут не сбросили газ.

— Извините, сэр, я вообще-то всегда аккуратно езжу...

— Так ли? У вас в этом году уже два «тикета» в компьютере за превышение скорости. Меньше ста — только штраф. Но если сто миль, я обязан вас арестовать.

— Арестовать? Но за что?!

— Все спрашивают «за что». Сколько сейчас времени?

Общеизвестная маленькая хитрость всех копов: чтобы разглядеть время на часах, Харя автоматически поддержал правой рукой левую. На запястьеazole часов защелкнулся наручник. Полицейский потянул за цепь, и рука переместилась за спину. Другая рука была мгновенно присоединена к ней.

— Вот так нам удобнее беседовать. Следуйте в мою машину.

— А моя как же?

Слова какие-то беспомощные и даже жалкие.

Разъяснения не последовало, но Харя и без ответа понял, ибо полицейский по телефону вызвал буксир и объяснил, где стоит вишневый «Шевроле». Под ветровичком прихлопнулась желтая квитанция. Коп открыл заднюю дверцу своего черного с белыми крыльями «Форда», поддержал косолапящего Харю (по-

.....

пробуйте двигаться не качаясь в наручниках) и захопнул дверцу. Арестованный очутился за решеткой. Мотор взревел, и они поехали.

— Куда же вы меня везете?

— В тюрьму, — просто сказал полицейский, скосив голову набок, — поскольку кино и рестораны в четыре утра закрыты.

— Но я же не преступник какой-нибудь! Я домой хочу.

Харя и сам немедленно презирал себя за эту наивность.

— Сначала в тюрьму — там разберемся.

— А в Германии на автобане скорость не ограничена, — вырвалось у Хари.

— Вы что — немец? — коп на секунду оторвался от дороги и оглядел его.

— Нет, я русский, то есть потенциальный американец...

— Позвольте вам напомнить, потенциальный американец: вы не в Германии. И не в России — не знаю, какие там у вас на фривеях скорости. Мы в Техасе. Германия и Россия нам не указ. У нас законы свои.

Харя заткнулся и больше варежку не разевал. Но мозг его, склонный к любым подвижкам, в том числе и филологическим, в это неподходящее для исследований время вдруг сделал великое открытие. Всем известно, что слово «коп» идет от слова соррег — «медный»: ярко начищенные медные пуговицы были отличительной чертой полицейских сперва в Англии, а потом и в Новом свете.

Открытие Хари (он мне после хвастался) состояло в том, что русская «копейка» происходит не от татарского «кюпек», что значит «собака», которая изображалась на монетах, и не от слова «копье», с коим на

монетах красовался Георгий Победоносец, а тоже от английского соррег. Так что в России ментов-взяточников даже более логично звать копами. Чистят они не свои пуговицы, а чужие карманы.

В тюрьме временного содержания Форт-Бенд в Хьюстоне полицейский снял с Хари наручники. Потом у него взяли отпечатки пальцев, и с полчаса двое других копов, зевая от бессонного дежурства, допрашивали, вводя каждое слово в компьютер. Вынули из принтера текст и велели под ним расписаться. Остров в тексте упомянут не был — промолчать насчет него у Хари хватило ума и остатка силы воли.

Человек — это звучит по-разному, в зависимости от его состояния. Харя уже не звучал вообще: когда за ним захлопнулась стальная дверь камеры, он упал на койку и закрыл лицо руками.

4.

Проснулся Харя от холода. Он лежал на простыне, на твердой железной койке. Часть его тела, не уместившаяся на узком пространстве, свисала в проход. Напротив были такие же койки в два этажа. А между — с потолка несло холодом: за окном с могучей решеткой завывал кондиционер.

Харя медленно осмысливал, где он и что он. На левой руке ныл синий подтек, напоминая о неудачно защелкнутом наручнике. Маленького роста вьетнамец мочился в унитаз в углу. На соседней койке храпел, как тигр, худой и длинный черный, одетый в быстрые лохмотья, — храп этот то и дело перекрывал вой кондиционера.

.....

Тоска сжала и не отпускала Харино сердце. Подняться? Лежать? Заговорить с соседями? Или молчать? Идти колотить в стальную дверь? Что сейчас надо сделать?

Он много знал про советские тюрьмы и лагеря, про бездну жестокости и бесправия в них из книг и уст сидельцев, но самому ему довелось сесть в свободной Америке. Течение его жизни прервалось самым непредсказуемым образом, не говоря уж об утере той ценности, которую он почти что приобрел.

Больше он от самого себя не зависит. Сейчас с ним могут сделать все, что захотят: не давать спать, морить голодом, истязать, пытаться, выдергивать ногти по одному, чтобы он выдал истинную цель своей поездки. Ведь каждому из них, как только узнают, ничего не стоит смотаться туда и оккупировать его собственность. А Харю просто уничтожить. Он и пикнуть не успеет, и ни одна душа не узнает.

Все перекошилось, повисло, а то и рухнуло.

Мысли его перебил удар ногой в дверь. Она распахнулась, и молодая женщина в полицейской форме, толстозадая, с маленькой головой без шеи и фуражки, вкатила тележку.

— Здесь трое? — спросила она хриплым гортанным голосом.

— А то ты не знаешь! — откликнулся вьетнамец, заправляя рубашку в шорты.

Не ожидая ответа, она рассовала по койкам три бумажных подноса, также быстро выкатила тележку, и дверь захлопнулась.

Черный великан сгреб рукой себе под бок содержимое подноса и продолжал храпеть.

Перед Харей лежала картонная коробка с салатом, гамбургер, пачка апельсинового сока и пластмассовые вилка с ножом. Всегда голодный и готовый сло-

пать что угодно, только дай, он равнодушно оглядел завтрак и закрыл глаза.

— Чего спер, бродяга? — спросил его вьетнамец, который к этому времени умылся под краном и, мокрый, бойко принялся за еду. — Чего вынес из магазина?

— Почему — из магазина?

— На серьезное-то у тебя рожка не тянет... Так ведь? Харя кивнул, чтобы не ввязываться в исповедь.

— Растяпа! — парень стал облизывать пальцы, измазанные в кетчупе. — Ты бы меня спросил. Я шесть лет чисто работал: с дорогой одежды на дешевую ярлыки перевешивал, платил за дешевую, а после припрятанные ярлыки менял. Одежду возвращал и получал наличные за дорогую. А ты, небось, на себя наделал да драпал? Ну и придурок!

— Если чисто работал, за что ж ты тут? — вяло ворочая языком, спросил Харя.

— Э, вот этого, толстый, тебе знать не надо! У них доказательств нету — зачем же мне на себя статью вешать да еще с тобой, моим конкурентом, делиться? Нет, я помолчу... Лучше отсидеть! Много судья не даст. А если под залог — заплачу...

Дверь распахнулась и опять появилась толстозадая полицейская:

— Лэзап... Тфу, нечистая сила! Который из вас? — она уперла палец в Харю. — Ты, небось? Выходи!

Харя с грустью скосил глаза на нетронутый бесплатный завтрак и, поднявшись с койки, покорно протянул руки мадам копше.

— Наручники будете надевать? — спросил он, глядя на нее сверху вниз.

Вьетнамец сзади него затрясся от смеха.

— Зачем тебе наручники? — удивилась она. — Ты что, убийца? Если всем, кто превышает скорость, каж-

.....

дый раз наручники надевать, в казне Техаса денег не хватит. Ну-ка шагай в приемную!

Она подтолкнула его кулаком в спину, и он послушно побрел, куда велено.

— Эй! — бросил ему вслед вьетнамец. — Я прикончу твой завтрак, а то зачерствеет.

Вдруг Харю осенило, что он должен заявить. Еще вчера надо было это сделать — как же сразу-то не сообразил?

— Мне нужен адвокат, — всплыла и вырвалась у него фраза из учебника английского языка.

— Никак ты Russian?

— Угадала.

— Тут и угадывать нечего! Все арестованные «рашенс» точно так говорят: «Мне нужен адвокат». Законов не знают, а это твердят, как попугай. Вызывай своего адвоката, во-он на столе телефон.

— Но я же не помню номер!

— Ищи — там где-то валяется телефонная книга.

Копша ввела его в приемную, указала на стул и ушла.

Дверь была рядом, и у Хари промелькнула дерзкая мысль, не рвануть ли на улицу. Ну а дальше-то что? И революционная мысль угасла, не реализовавшись.

Адвокат еще как необходим, но платить Харе нечем. Он и так должен жуткую сумму за развод, за рабочую визу и уже получил три письма с предупреждением, что если он немедленно не заплатит, то... Про «то» лучше не думать: ему испортят кредитную историю, чего все панически боятся, но кто ему, бездомному, в этой стране даст хоть пенни займы?

Выход не светит. Полистав желтые страницы телефонной книги, Харя, упер палец в имя «Робинсон, Чарли». Секретарша, как водится, ответила, что мис-

.....

тера Робинсона сейчас нету, но она готова записать, кто звонит. Не на того напала. Харя нарисовал такую кровавую сцену нарушения прав человека в полиции, что после объяснений секретарши услышал, как сам Робинсон бросил кому-то: «С этими русскими не сожмись!» — и взял трубку.

Через полчаса адвокат Робинсон ввалился в участок. Молодой, деловой, значительный чернокожий джентльмен с бритой головой, пахнувший дорогими духами, в сером в крапинку пиджаке и синем галстуке, он расписался в кондуите у дежурного, швырнул портфель на голый металлический стол приемной и уселся напротив Хари. Робинсон вытащил из портфеля коробку с бумажными салфетками, долго вытирал затылок и шею, бросая салфетки одну за другой в мусорную корзину под столом.

— Мистер Лээа, — после паузы наконец выдал он.

— Мистер Паай... О, боже, что у вас за фамилия на мою голову?! Сколько не тренируюсь, никакого результата...

— Ла-пи-дар, — не обижаясь, тихо произнес Харя.

— Нет, я не в состоянии это произнести! Могу я называть вас мистер Харри?

— Зовите, как хотите, только помогите отсюда выбраться!

— Итак, мистер Харри, я потратил кучу времени, чтобы выбить вам право на работу, поскольку меня просили социальные работники, занимающиеся эмигрантами. И вот вы опять... И как раз в тот самый день, когда я собрался с новой девушкой в кои-то веки немного отдохнуть. Ведь ничего в Америке, я уже объяснял, не делается даром... Ваши трудности мне понятны: ваши предки были в рабстве у русского правительства, а мои — у американского. Но сколько же я могу работать на вас бесплатно, за красивые глаза?

.....

— Я отдам, Робинсон, клянусь! Очень скоро отдам. Мне бы только встать на ноги...

— Встать на ноги? А сейчас вы на чем стоите? Все это, мистер Харри, я уже сто раз слышал... Все так говорят. Возможно, поэтому у меня болит голова... Голова просто раскалывается.

— Где болит?

— Везде.

— Так не бывает, укажите точнее!

— Кажется, вот здесь и здесь: виски гудят. А вам-то что?

— Попробую вам помочь, — Харя поднялся со стула и вытянул свои громадные ручищи вперед. — Сядьте прямо. Пиво вчера пили? Причем не одну бутылку... Виски с содовой принимали? Портвейн на десерт? Был грех? Кофе коньяком запивали? Спали мало...

— Откуда вы знаете? — адвокат уставился на Харю.

— Читаю мысли... Закройте глаза. Расслабьтесь...

Представьте, что вы попали в рай...

— Куда?

— В рай.

— Только в рай мне не хватало! — пробурчал Робинсон, но глаза закрыл.

Напрягшись, Харя медленно вел руки с растопыренными пальцами вокруг Чарлиной головы, когда в дверном проеме появилась копша. Увидев происходящее, она застыла с изумлением, инстинктивно положив руку на рукоятку револьвера.

— Что тут творится?

— Он меня лечит, — сказал адвокат.

— Лечит?! Не полицейский участок, а дурдом!

Швырнув на стол папку, она исчезла, яростно хлопнув дверью.

На желтой обложке, лежащей на столе перед Робинсоном, Харя, скосив глаза, прочитал свои имя, фамилию и дату рождения.

Он положил одну руку на затылок Робинсону, словно собирался отвинтить ему голову, а другой минут пять водил над бровями, вдоль лба и затылка, нажимая ногтями то большого, то указательного пальца некие точки. От ногтей оставались вмятины, Робинсон периодически ойкал. Темная его кожа покрывалась испариной.

Искусством этим Харя овладевал в Одессе, много лет томясь от скуки на кафедре научного коммунизма, постепенно преуспел и охотно подвергал лечению сотрудников, а особенно сотрудниц, благо у всех что-нибудь да болело. Нельзя сказать, что результат был стопроцентный, но подчас помогало, особенно в сочетании с нормальной медициной.

Закончив процедуру, Харя сел, пыхтя, словно разгрузил вагон арбузов, и сложил руки на груди в ожидании. Робинсон поморгал глазами, потрогал голову, проверяя, на месте ли она, и произнес:

— А знаете, вроде лучше... Удивительно, но не болит... Что вы такое сделали?

— Это профессиональная тайна! — осклабился Харя, довольный результатом, которого он сам так быстро не ожидал.

— Ладно! — адвокат положил черные руки с розовыми ладонями и наманикюренными ногтями на папку с именем и фамилией Хари. — Поглядим, чего они тут вам инкриминируют...

Он стал перелистывать страницы.

— Хм... Превышение скорости... Штраф... Опять превышение... Еще штраф... Скорость за сто миль... Это действительно имело место?

— К сожалению...

— Ночной арест... Это серьезно. Арест из полицейской компьютерной системы не изъять. Но, вообще-то, больше ничего у них против вас нет! Они даже не знают пока, что у вас только право на работу в этой стране и нет права на постоянное жительство. Надеюсь, вы на эту тему помалкивали...

— Они ничего такого и не спрашивали! — Харя на всякий случай оглядел потолок, будто там могли быть подслушки.

— В остальном в полицейском досье у вас — ноль: пьяным не были, сопротивления офицеру не оказали. По заведенному правилу, могут присудить сто часов общественных работ — сгребать в парке листья и укладывать в пластмассовые мешки. И отобрать права на полгода, поскольку вы представляете потенциальную опасность на дороге. Но кто нынче не гоняет, как сумасшедший, кроме старушек — божьих одуванчиков?

— Вот и я так думаю, — поддакнул Харя, воодушевленный надеждой.

— В принципе, — продолжал адвокат, — я могу их обыграть в суде и доказать, что вы скорость вообще не превышали. Полицейский, который вас остановил, должен явиться в суд и рассказать, как было дело. Но копы не всегда являются на заседание по вызову, а у меня в суде есть свой человечек.

— Идеально! — поддакнул Харя.

— Само собой. Если полицейский явится — я не явлюсь, а когда он не явится — я тут как тут, в суде. Больше трех раз не откладывают, и дело будет закрыто. С вас только пятьсот долларов, и я сделаю вас чистеньким. Но полиция хочет, чтобы вы внесли в казну штата залог две тысячи долларов, чтобы выйти на свободу. Можете внести такую сумму?

— Голова у вас не болит? — вдруг спросил Харя.

— Прошла. А что?

— То, что денег у меня сейчас нету, но если ваша голова опять заболит, я тут как тут...

— Вот вы о чем! О'кей! Но дружеский совет — не занимайтесь этой практикой за деньги. У вас нет разрешения лечить, и первый же склочный клиент вас засудит за нелегальное лечение. Когда я начал процедуру, чтобы вы получили право на жительство, вы говорили, что вам бы только право на работу и вы согласитесь на любую. Я сделал вам разрешение работать, вы получили водительские права. А работа? Нашли?

— Нет еще.

— Вы говорили, что преподавали этот, как его... марксизм, смешанный еще с чем-то, я забыл.

— С ленинизмом.

— Вот именно! Давали хотя б частные уроки...

Харя почтительно склонил голову:

— Частные уроки марксизма-ленинизма в Техасе? Это идея! Вы будете брать у меня уроки?

— Я-то нет, мне некогда. Однако в принципе такое может быть интересно. Чем только американцы ни интересуются! Попрошаю знакомых...

Опять вошла толстозадая копша, брякая связкой ключей.

— Ну, что? Не наговорились еще? — на этот раз она была настроена решительно. — Мы вынуждены прервать свиданье с адвокатом. Пришел автобус, всех арестованных забирают.

— Куда? — спросил Робинсон, вытирая бумажной салфеткой затылок.

— Как — куда? Не в казино же и не в бордель... В городской парк на общественные работы.

— Вы позволите задать моему подопечному еще один конфиденциальный вопрос, чтобы я мог немедленно поехать к судье?

— Валяйте, — согласилась она. — Только быстро.

Робинсон причмокнул, проводив глазами удаляющийся зад полицейской, сделал паузу, пошел приоткрыть дверь, вернулся на место и внимательно посмотрел на Харю:

— Послушайте, дорогой мистер Харри! Если вы не заняты никаким бизнесом и у вас нет семьи, куда вы спешили? Должна же быть хоть какая-нибудь мало-мальски уважительная мотивация?! На кой ляд так гнать?

Харя набрал полные легкие воздуха, выпустил его через ноздри, оглянулся на дверь и спросил шепотом:

— А здесь точно не подслушивают? Вы абсолютно уверены?

— Мы же не в России.

— Тогда сперва поклянитесь, Чарли, что вы меня не надуете.

— Клянусь, — Робинсон механически, как делает это всегда в суде, поднял правую руку и усмехнулся.

Всем известно, что нет в Америке лживее публики, чем адвокаты. «Честный адвокат» — это оксюморон, нонсенс, абсурд.

— Я не только расплачусь с вами, — зашептал Харя, — но сделаю вас крупной политической фигурой.

— Вы? Меня?!

— Вот именно я — вас. Хотите стать Министром юстиции?

— Будет вам, мистер Харри, дурака валять! Мне некогда, — Робинсон глянул на часы. — У меня самолет через полтора часа.

— Нет же, это совершенно серьезно! — огромный Харя сжал адвоката за плечи. — Клянусь памятью

.....

моей мамы! Я гнал ночью, потому что у меня было важнейшее дело, которое не ждет. Сам Бог мне вас послал. Помогите мне зарегистрировать колоссальную собственность, и я вас в накладе не оставлю!

— Какую-такую собственность?

— Настоящую! Землю, на которую я первый ступил. Она была ничья и стала моей, только надо быстрой ее застолбить, пока не украли.

— Но для этого нужны доказательства, хоть какие-нибудь документы на право собственности...

— Вот! — Харя извлек из заднего кармана брюк рулончик фотопленки. — Здесь все есть...

С сомнением Робинсон взял пленку. Чтобы окончательно его убедить, Харя нагнулся к уху Робинсона и прохрипел:

— Там, весьма вероятно, есть нефтяное месторождение...

Это уже пошло чистое вранье. На всякий случай, чтобы шокировать адвоката.

Но нокаута не произошло. Робинсон раздвинул Харины руки, подхватил портфель и вздохнул только когда выскочил из полицейского участка. Психи эти русские, больше ничего!

5.

У Хари действительно имелись серьезные основания спешить, ибо, ежу понятно, свято место пусто не бывает. Тем более, что не Харя первый оказался таким умным. Были прецеденты.

Во время наката славной третьей волны эмиграции из стран советского блока на Америку в Нью-

Йорке прибавился еще один русский житель, окопавшийся тут не совсем традиционным способом, минуя овиры и таможни. Появился тихо.

Может, вы слушали тогда сквозь глушилки вражеские «голоса»? Советское торговое судно шло через Панамский канал, его капитан Иван Варварцев ночью прыгнул в воду и рванул в ближайшее посольство просить политическое убежище. Вообще-то капитан должен покинуть судно последним, но тут случилось наоборот. Дурной пример заразителен, и за капитаном прыгнули еще человека три или четыре. «Голоса» отрапортовали об этом и забыли. Прыгуны ускакали кто куда.

Капитан Варварцев, взятый матросом на непонятно чей сухогруз, объявился в Чили. Помыкался грузчиком в порту, таская тюки за еду, что ему не понравилось. Он спрятался в трюме судна, идущего во Флориду. Там, не доплыв до порта, опять прыгнул в воду и направился к пляжу, рискуя скормить пятки голодным акулам, но те его пощадили. Перебрался в Нью-Йорк. Жил тем, что торговал на улице засахаренными орешками, насыпая их прохожим туристам в бумажные кулечки: плати доллар и кушай на здоровье. Торговля сладостями — работа несладкая. У никуда не спешащих зевак, гуляющих по городу, возникает желание пожалеть изнывающего на горячем солнце продавца, и этот гуманизм способствует процветанию бизнеса.

Впрочем, о подноготной Варварцева, смелого прыгуна с кораблей в море, я прочитал позже в брошюре, каковую он сам с собственным портретом и своим планом активных мероприятий выпустил и лично мне вручил. Вот она, эта программа действий, лежит у меня на столе.

.....

Произошла наша с ним встреча случайно, когда я подрабатывал в Нью-Йорке на радио «Свобода». Пришел он требовать, чтобы ему дали эфир выступить с призывом ко всем русским, живущим в Америке. Такие личности обычно сразу настораживают. Простой факт, что «Свобода» вещает на русских, живущих вовсе не в Америке, а внутри России, Варварцева не смутил. А то, что свобода на «Свободе» жестко регламентирована вашингтонским начальством, ему в голову не пришло.

Звучал мужик, надо сказать, довольно противно. От него пахло отсутствием дезодоранта и пародонтозом. Когда говорил, казалось, только и думал, что все его недооценивают, и потому звучал обиженно. Тотальный эгоист и честолюбец. Уверен, что только он настрадался, и потому все ему чем-то обязаны. Возражений не слушал — лепил свое. Свое это было, однако, любопытно.

Естественно, никто не собирался давать ему эфир, но для спуска пара мы его спросили, о чем он хочет поведать радиослушателям.

— Я начал новое движение, — заявил он. — Инициативная группа эмигрантов меня поддерживает. Мы создадим в Америке новую рукотворную родину. Собственно, моя борьба уже идет полным ходом.

Слова «моя борьба» всех возбудили, вокруг Варварцева стал собираться служивый народец, не занятый в эфире. Охранники радиостанции, не привыкшие к хаосу, даже занервничали.

— А против чего, собственно, вы боретесь?

— Мы боремся не против, а за, — уточнил бывший капитан. — Мы пришли к выводу о необходимости создания в Америке независимого русского государства.

.....

- Так ведь вы из него драпанули!
- Вот именно! И тут воссоздадим на новой основе.
- Как? Государство в государстве?
- Почему бы и нет? Или русский штат, на худой конец...

Канадский Квебек, который тогда хотел отделяться от Канады, Варварцева тонизировал.

— Но ведь в Америке штаты — просто территории, без национальных акцентов, — заметил кто-то.

— У нас будет нечто особое. Главное — занять землю, а уж после я и мои единомышленники разберемся...

— Как это — «занять»?

— Да так: захватить территорию, огородить и поставить надежную охрану. Я уже приметил кое-какие потенциальные земли на Среднем Западе и название придумал: «Россиянка». Гражданство у нас будет свое, россиянское, а не какая-то там гринкарта, которую дают по блату. И мы, россиянцы, будем чувствовать себя на этой земле не бедными родственниками, которых американцы приютили, а хозяевами.

Тут я понял, что сам Варварцев пока что на птичьих правах здесь, и попытался его отговорить, сгустив краски:

— Вы уже американец?

— Допустим, нет...

— Тогда вам надо бы сперва здесь легализоваться, иначе, если вы оттяпаете себе кусок земли, это будет агрессия. С ближайшей авиабазы поднимут небольшой бомбардировщик, и от вас с вашей инициативной группой ничего не останется, чтобы положить в могилку.

— Еще посмотрим! — возразил он. — Мы закупим радары и кое-что для устрашения. А потребуется, объявим войну Соединенным Штатам!

— Кто же будет во главе вашего государства?

Варварцев скромно потупил глаза:

— Ну, тут не должно быть двух мнений...

Под носом у него выросли усики фюрера. Борец за себя и против всех оказался еще глупее, чем показалось сначала. Стало скучно, все начали потихоньку расходиться. Варварцев поспешно скинул с плеча рюкзачок, развязал тесемки и вытащил пачку брошюр в красной обложке. Крикнул вослед уходящим:

— Погодите-ка! Вот тут у меня все изложено. Ознакомьтесь... Разбирайте, на всех хватит. Еще пожалуйте, когда мы возьмем себе ваше радио!

На обложке брошюрки под его именем и самоуверенной физиономией красовалось оптимистическое название «Наше дело правое!». Ушел бывший капитан Варварцев, волоча за собой рюкзак и хлопнув дверью, как обыкновенный шиз.

Идея его, между тем, и без выступления по радио стала широко известна в узких кругах и обсуждалась, чаще с ироническим оттенком. «Зачем русским внутри свободной страны отдельное государство?» — вопрошал заголовок влиятельной нью-йоркской «Новой русской газеты» в духе полной свободы слова. Статья начиналась интеллигентно-полюемически: «Чего хочет этот россиянец, рифмующийся с другим известным словом?» Почтенный диссидент Бруновский прислал из Парижа письмо-отклик, в котором издевался над Варварцевым изо всех сил, назвав его идею (цитирую) «бредом пошатнувшегося умом сивого мерина».

В самом деле, множество людей в Америке, во что только ни верующих, живут как хотят. Молокане, индийские гуру, не говоря уж о коренных индейцах, — все они имеют почти государства в государстве: коммуны,

.....

фаланги, общины, чего душа пожелает. Есть городок в собственности у киноактрисы Ким Бейсинджер — она просто скупила там все дома. Почему бы и нет?

Энтузиасты приобретают землю, строятся, проповедуют свои идеи, запрещают автомобили и ездят на лошадях, коротают дни при свечках, учат по-своему детей в домашних школах на своих языках, существуя век за веком совершенно независимо от федеральных и местных властей; те с ними считаются, и никто никому не препятствует. Кроме индейцев, обиженных на всю жизнь за оккупацию европейцами, несомненно, все платят налоги, чтобы их собственность и их права защищали полиция, национальная гвардия, армия.

Так нет же, сторонники Варварцева хотели некое вообще независимое государство и всерьез обсуждали, какую принципиальную политику их государство будет проводить по отношению к Советскому Союзу и даже по отношению к Соединенным Штатам.

Нам нет преград ни в море, ни на суше! В Сан-Франциско старожилы рассказывали мне про знаменитого городского сумасшедшего Джошуа Нортона. Всегда одетый в поношенный генеральский китель с золотыми эполетами, украденный, кажется, из прокатного пункта театрального реквизита, Нортон носил широкополую шляпу с павлиньим пером, на боку болталась сабля. Мужик давно и навсегда провозгласил себя императором обеих Америк, Северной и Южной, и весь город к этому привык.

В ресторанах Нортона кормили бесплатно. Везде знали, что он любит устрицы с шампанским, и ставили ему огромную тарелку, чтобы ел как можно дольше. Еще он обожал устраивать скандальчики: чуть-что, если кто-то оказался ему не по вкусу, Джошуа

.....

вскакивал и хватался за саблю. Хозяева ресторанов не могли нарадоваться такой рекламе: любопытные гости Сан-Франциско поглазеть на генерала Нортонна, пообедать в его присутствии, и, если удастся, угостить его шампанским валили толпами.

О, господи, честолюбие у всех нуждается в пище. Я, например, тоже иногда подписываю дружеские письма должностью, на которую сам себя назначил: «Директор Тихого океана», а на двери у моего сына висит дощечка: «Заведующий приливами и отливами». За крупными фантазерами разве угонишься? Имперские инстинкты у некоторых из нас в крови, в нейронах, в генах. Однако же были и остаются серьезные аспекты в таких затеях.

Русские с незапамятных времен пытались обзавестись собственностью в Америке. Если не вру, еще в XVI веке, после разгрома Иваном Грозным Господина Великого Новгорода, некоторые новгородские семьи рванули в Сибирь, а потом переправились через Берингов пролив и поселились на Аляске. Впрочем, названия этого у пролива еще не было, оно появилось после экспедиции Беринга и Чирикова, которые на двух кораблях отправились к Америке, — у Петра Первого глаза были завидушие, а руки чесались.

Посланных с корабля на шлюпках к берегу русских матросов индейцы попросту прикончили и победу отметили факельным шествием. Обратный путь на Камчатку обернулся для оставшихся кошмаром. Один за другим первопроходцы умирали от цинги. У островов, по дороге домой, судно разнесло вдребезги. Чудом спасшиеся закопали в могилу и самого Беринга.

Потом родили Российско-американскую компанию. Не верьте названию — она была чисто нашинс-

.....

кая, русская, с мечтами колониальными. Появился даже Правитель Русской Америки господин Баранов.

Захватчики обманывали и эксплуатировали алеутов и индейцев, вывозили пушнину, искали золото и алмазы, для порядка внедряли православие, конфликтуя с католическими миссионерами. Уже замаячили прелести Нового Альбиона, в который добрались: очень хотелось и эту землю сделать российской. В 1812 году сорок русских ушкуйников с восемьюдесятью алеутами высадились на тихоокеанском берегу, и тут, в Калифорнии, построили опорную крепость Форт Росс.

Наполеон смешал карты, поставив под сомнение само существование Российского государства, и русскому правительству стало не до Америки. Не хватило силенки на реализацию здесь имперских планов. Форт Росс купил знаменитый Джон Саттер, с деяний которого началась поблизости от места, где я сейчас живу, золотая лихорадка.

Когда Александр II продал Аляску американскому правительству, большая часть русских поселенцев осталась. Перед отплытием матросы драпали с ухивших кораблей, чтобы не возвращаться. На советском языке (гляжу в энциклопедию) «американские капиталисты начали хищническую эксплуатацию», а «коренное население подверглось жестокому угнетению и обреклось на постепенное вымирание». Люди везде тяжело работают. Но почему же, думаю я, так хорошо коренному населению на Аляске и так трудно коренному населению в Сибири, оставшейся пока непроданной?

Беда всех нас, русских эмигрантов в Америке, в том, что, в отличие от эмигрантов из многих других стран, нам возвращаться некуда. В Ирландии, напри-

мер, маленьким детям, едва они приползли в школу, уже начинают твердить:

— Учитесь хорошо, потому что мы — маленькая страна и всем работы тут не найдется. Многим придется эмигрировать. Трудиться будете, скорей всего, в Америке до пенсии, а потом, если пожелаете, вернетесь на родину.

Сильны ирландские общины в США. Парады выходцев из Ирландии собирают миллионы зрителей. «Поцелуй меня, я ирландец!» — едва ли не самый популярный значок на груди тысяч американцев. Семья Кеннеди — выходцы оттуда, не говоря о разных других. Но никаких государств или фаланг внутри Америки ирландцы не строят. Наоборот, скопив состояние и выйдя на пенсию, многие из них возвращаются на родину.

Встречают вернувшихся эмигрантов в Дублине, как родных, помогают акклиматизироваться. Американская пенсия аккуратно ложится в начале каждого месяца на их банковский счет. Они покупают дома и, как нож в масло, входят в новую-старую полной чашей жизнь.

Создана разумная система обществ для вернувшихся, чтобы их принять, согреть, обрадовать, развлечь. Мой приятель, ирландец, профессор средневековой французской литературы, работает в Калифорнии, вырастил двух дочерей. Каждое лето ездят они отдыхать в Ирландию. Он мечтает вернуться с семьей навсегда. Даже к домику там для себя уже приценился. Но до пенсии доработать хочет обязательно здесь, в Америке.

Впрочем, писателям, к счастью, уезжать с насиженных мест из Ирландии не надо. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит всяк поэт. Велико-

.....

лепного качества книги (зайдите в любой книжный магазин в Дублине!) издают за счет государства. В подвале дублинского Музея литературы и Союза писателей, в ресторане, который называется (оцените!) «Первая глава», хорошо посидеть и поговорить с братьями-писателями, которые в Ирландии освобождены правительством от налогов. «Мы, Ирландия, — страна Графомандия», — сказал мне ирландский коллега, хотя сам — вполне профессионал.

Русские, в отличие от многих других эмигрантов, лишены своей общины в Америке. Клубы, если и создаются, имеют жалкий вид и скоро распадаются. Призывы объединиться тают в воздухе. Возможно, коллективистские идеи нашего светлого прошлого отбили всякую охоту сучиваться, а вожди вроде Варварцева отпугивают нормальных людей. И не вернешься: никто нас в России с раскрытыми объятями не ждет.

Моего возвратившегося в Москву приятеля, продавшего дом в штате Огайо и купившего дачу в подмосковье, выследили и дважды ограбили после того, как он обратился в милицию для положенной регистрации, — не иначе как менты навели бандитов на бывшего американца. Знакомые и незнакомые ему твердили кто в шутку, а кто всерьез: «Только тебя, братишка, нам здесь не хватало. Вали-ка ты туда, откуда явился!» Пришлось бросить дачку, вернуться в Цинциннати и начать еще раз с нуля.

Но и мне следует вернуться к основному сюжету.

Беззаботный ранее Харитон Лапидар, проживший до конца советской эры в послушных членах партии проповедников самого передового в мире учения и, когда стало безопасно, тихо слинявший в Америку, ничего про варварцевщину слыхом не слыхивал. Никаких отчетливых россиянских патриотических идей у Хари не

.....

было, ни за что бороться он не собирался, виделись ему одни только хрустящие материальные блага.

Если бы кто-то из сторонников Варварцева прослышал, что в наличии имеется ничья территория, на которой можно основать государство, этот кто-то, само собой, ринулся бы туда со скоростью света. Но Харя на берегу реки Рио-Гранде закрепился первым. Оставалось удержать землю в собственных руках, а тем временем соображать, что с ней делать. Например — в качестве личной собственности — выгодно продать.

Впрочем, почти все люди, которые делают бабки для себя, в душе уверены, что благодетельствуют человечеству. В отдельных случаях это имеет место, но далеко не всегда. У Хари тоже вращались разные нечеткие благие мысли на сей счет — пока он ехал туда и, особенно, обратно. Даже дух захватывало от перспективы. И тут все замыслы сковали проклятые наручники.

Нечистая сила погоняла его по фривею!

6.

— Лиззи, сладкая моя, я освободился от этого идиота с непроизносимой фамилией и гоню в аэропорт. Ты где? Ах, уже там... Готовься! Через пятнадцать минут я тебя поцелую, моя пушистенюкья!

Робинсон сунул в карман телефон и прибавил газу.

Лиззи стала его новой подружкой неделю назад. То есть, вообще-то, он давно к ней присматривался. Как уже говорилось, там было на что позариться и к чему прикоснуться, — не случайно Чарли взъелся на

Харю. Но Лиззи была секретаршей у них в офисе, и о ней лучше было не помышлять. Теперь же, возможно, почувствовав на себе настойчивые и серьезные взгляды Робинсона, она перебралась в страховую кампанию двадцатью этажами выше, и можно было ей позвонить не по делу.

Смугленькая мексиканочка, пальчики оближешь... Почти что точеная фигурка с муравьиной талией, шикарнейшей грудью и длинными черными волосами, то и дело таинственно прикрывающими то ее ушко, то половину личика, — она отводит пальцами волосы, а они опять падают.

Лучше бы всего быстренько привести ее после ресторана домой, но Лиззи так возбудила все существо Чарли, что ему хотелось построить продолжительные отношения. А для этого желательно задать тон эффектно, более романтическим началом. За романтику, как известно, надо платить больше, и он купил две путевки в Пуэрто-Вальярту.

Новой женщиной, которая к тому же столь эффектная, хочется похвастаться. Но не перед сослуживцами же, которые давно ее знали! Робинсон позвонил Тони Гобетти, старому приятелю, с которым вместе (как выяснилось, когда я позже с ними обоими познакомился) оттарабанил от звонка до звонка в юридической школе Университета Беркли. Там рядом, в Сакраменто, Тони пристроился на службу в небольшой адвокатской конторе. И женился вскоре там же на Дженифер, студентке, с которой года за два до того познакомился в очереди на почте.

Тони Гобетти, похожий на актера Мastroяни, с толстухой-женой, стриженной под мальчика и немножко беременной, оставил в аэропорту машину и летел туда же, куда Чарли с Лиззи: на курорт Пуэрто-Валь-

ярта, чтобы провести вместе длинный уикенд — с четверга до воскресенья.

Рейс из Хьюстона где-то на пути в Мексику задержала гроза. Солнце уже садилось в океан, когда Робинсон с Лиззи, по-быстрому переодевшись для купания, разыскали друзей между фонтаном и бассейном на лежаках под гигантским соломенным грибом. Чарли с Тони еще продолжали по телефону объяснять друг другу, кто где, пока Дженифер не вырвала у мужа из рук телефон. Выключив его, указала Тони пальцем на приближающегося Чарли.

— Не удивляйся, — Дженифер обратилась к Лиззи. — Муж мой, занимаясь сексом, тоже говорит по телефону. Давай познакомимся. Ты, душечка, чудо! Где Чарли нашел такое прелестное создание? Правда, Тони?

— Моя девочка в порядке, — согласился Чарли, обнял хохотушку Лиззи и поцеловал в шею, подчеркивая права на собственность.

— Надо же отметить встречу! — воскликнул Тони, отправляя пятерней назад волосы, падающие на глаза. — Эй, официант! Шампанское и чего-нибудь перекусить...

Пока эти четверо ждут шампанское, позволю себе заметить, что мексиканское разгильдяйство, напоминающее русское, заканчивается у ворот этой резервации для иностранных туристов.

Бухта, где раскинулся городок Пуэрто-Вальярта с видом на Тихий океан до горизонта, — тихая и круглый год солнечная, что особенно привлекает северян. Маяк на краю бухты, по ночам перемигивающийся с луной, не столько нужен кораблям в нашу спутниковую эпоху, сколько важный романтический аксессуар. Пляж чистейший, хотя большинство обитателей предпочитают бассейны с морской водой, которых тут три.

В отеле — идеальная чистота и комфорт, воду можно пить, не боясь испортить желудок, прислуга вышколена и старается угадать ваши желания, еда отменная.

Между лежаками появился столик на колесиках, крытый белоснежной скатертью, шампанское зашипело в бокалах.

— Чарли Робинсон, старина! — воскликнул Тони, отхлебнув шампанское. — Вечность мы с тобой не видались, а?

Шампанское попало в нос, и он икнул.

— Да и сейчас бы не увиделись, мистер Тони Гобетти, — усмехнулся Чарли, — если бы...

— Если бы ты не решил выгулять свою новую подругу.

— Точно! Кручусь ведь, как белка в колесе. Откуда, думаешь, я прискакал на самолет?

— Из суда или из тюрьмы — откуда же еще?

— Вторая версия — точная. Там у меня клиент — странный русский мужик из Одессы, кажется.

— О, так моя бабушка тоже из Одессы! — развеселился Тони. — Мой итальянский дедушка Гобетти, плывя на пароходе из Европы, с ней познакомился, а в Нью-Йорке перво-наперво женился.

— Ты что ж, и по-русски можешь?

— Ну, как у них говорится, разговлять не могу, но кое-что помню.

Смэло мы в бой поедэм
За власть Совэтов
Чи как один умрэм
В борбэ за этов!

— пропел, немного фальшивя, Тони по-русски с некоторым итальяно-украинским акцентом и прибавил:

— Бабушка дедушке серьезно пела, а он веселился. Но, по-моему, ни хрена не понимал.

— Я тоже, конечно, ничего не понял, — поморщился Робинсон.

— Как бы тебе объяснить? В общем, все русские готовы воевать за социализм и дружно за него умереть, понял? Все, как один. Мне кажется, это — сатирическая песня. Если все социалисты умрут, кому нужен их социализм? Пахнет некрофилией... Впрочем, давайте лучше еще немножко хлебнем.

Тони стал разливать шампанское всем, кроме жены. И они еще выпили.

— Кстати, — вспомнил Чарли, — бедный мужик из Одессы, который хочет, чтобы я представлял его интересы, — как раз специалист по этому делу.

— По какому? — не понял Тони.

— У себя в Одессе он был профессором социализма. Вроде твоей бабушки.

— Может, мы с твоим уголовником родственники по одесской линии?

— Да никакой он не уголовник! По крайней мере, пока. Арестован за превышение скорости. И просит меня помочь ему зарегистрировать собственность.

— Что за собственность?

— Земля... Там могут быть хорошие денюжки, но у него статуса нет, только трудовая виза.

Дженифер собралась идти купаться, но тут остановилась.

— А он женат? — встряла она в разговор.

— Какое это имеет значение? — не понял Робинсон. — Разведенный. А что?

— Помнишь, Тони, — Дженифер уперла палец в волосатую грудь мужа, — вдову у нас в Сакраменто, которой очень нужно замуж? Ну, муж ей оставил та-

.....

кое странное завещание... Ты меня с ней знакомил, сказал, что она — Байрон в юбке... Бойкая старушка!

Гобетти уставился на жену. Глаза у него сощурились. Он тихо поставил на стол бокал и долго молча изучал его, будто на дне было что-то написано. В раздумье засунул в рот большой палец и прикусил его зубами. После паузы Гобетти перевел взгляд на коллегу Робинсона. Тот молча сидел на лежаке в накинутом на плечи белом с оранжевыми полосками полотенце, держа в руках недопитый бокал.

— Ты чего на меня уставился? — спросил Чарли.

— Мысли, Чарли! — настаивал Тони. — Напряги извилины!

Робинсон пожал плечами:

— Неужели сватовство?

— Именно! В результате которого одним выстрелом убиты два зайца.

— Если адвокаты сцепятся языками по своим делам, — сказала Дженифер, — их уже не растащить. Пошли, Лиззи, купаться.

Женщины от них отсоединились и, болтая о своем, нырнули в бассейн. Вокруг Лиззи, умелой пловчихи, вода забурилась так, что взгляды сторонних обитателей отеля, гуляющих по дорожкам и балдеющих в беседках, немедленно обратились к ней. Лиззи сделала ловкий кувырок в конце бассейна, пронырнула треть его под водой и вернулась.

— А мне плавать тяжело, — пожаловалась Дженифер. — Живот ко дну тянет.

— У тебя кто будет? — Лиззи уселась на край бассейна, успевая делать глазки всем проходящим.

— Ультразвук показал, что мальчик. Но Тони не говорю: он хочет девочку.

— Может, доктор ошибся?

— Вот потому и не говорю... А знаешь, та русская вдова, которую я вспомнила, в самом деле, тот еще экземплярчик. Ей девяносто семь. Она глянула на мой живот и сказала Тони: «В нашем деле главное — знать, от кого».

Женщины засмеялись.

— Раз вы секретничаете, значит, сошлись, — Тони подкрался к женщинам. — Это оч-чень хорошо...

— Чего тут особенного? — спросила Дженифер.

— Особенное в том, что нам придется вас оставить.

— И Чарли? — повела плечом Лиззи.

— Вы это серьезно? — спросила Дженифер.

Она обхватила руками живот и на глазах у нее выступили слезы.

— Прости, детка, но мы с Чарли сейчас обсудили ситуацию. Дело пахнет деньгами, и только стопроцентный балда упустит шанс. Четверг на исходе, и на все про все у нас есть только пятница, а дальше можно шанс упустить. Вы отдохните тут сами, ладно?

— Дура я! Зачем только вас надоумила?

— Нет, ты умница, светлая голова!

— Ничего себе, покуражились, — Лиззи повернулась спиной и стала глазеть по сторонам.

— Не сердись, киска. Мы с тобой все будем делать чуть позже, ладно? Абсолютно все! Сейчас я вернусь в Хьюстон, а Тони — к себе в Сакраменто. Если мы их поженим, то...

Они заспешили переодеваться.

— Пускай наши мужики убираются к черту, Дженифер! — крикнула Лиззи так, чтобы они слышали. — Мы тут себе еще получше найдем...

Дженифер не ответила, положила руки на свой торчащий живот.

— А это не препятствие, — хихикнула Лиззи.

.....

7.

Физической работы Харя с детства избегал, и теперь для него настало сущее мучение. Кто бы мог подумать, что листьев в городском парке такое несметное количество, что их не сметишь! Гребешь, гребешь, а они все падают. Раньше ему и в голову не приходило, что вечнозеленые деревья тоже осыпаются, только, в отличие от обычных, не один раз осенью, а круглый год.

Было утро пятницы, когда адвокат Робинсон, ночным рейсом вернувшийся в Хьюстон, подкатил к Германн-парку. Поколесив немного вокруг, он увидел арестантов в красных робах. Полицейского, охранявшего их, Чарли знал, и тот разрешил адвокату поговорить с Харей.

— Фотографии острова я напечатал, — сказал Робинсон, — со знакомым судьей переговорил. В принципе судья считает, что право собственности неприкосновенно, и, в общем виде, шансы у вас хорошие... Но контракт должен быть материально выгодным для адвокатов: треть от стоимости вашей собственности плюс оплата всех накладных расходов.

— Согласен, — поспешно кивнул Харя.

— О'кей! Тут только одна заковыка, — Робинсон замялся. — Дело будет тянуться месяцами, учитывая американскую бюрократическую систему...

— Так ведь мою землю какая-нибудь сволочь перехватит!

Адвокат оглянулся и наклонился к Хариному уху:

— Чтобы нас не опередили, быстрее было бы зарегистрировать вашу собственность в Мексике. Не потому, что операция незаконная (я бы на это никогда в жизни не пошел!), но исключительно для ускорения.

- Здоровая идея!
- Не без проблемы. Американцы-то имеют право приобретать собственность в Мексике, но вы же не американец, вот в чем беда. И у вас шанса нет.
- Харин взор затуманился.
- Впрочем, вроде бы, есть выход... — Чарли облизал засохшие губы.
- А именно?
- Робинсон мялся.
- Да говори же, леший тебя забери! — занервничал Харя. — Не то меня уведут.
- Вам надо жениться. Собственность удастся зарегистрировать только на вашу жену.
- Харя молча вперился в адвоката, обводя его глазами, будто вместо него тут уже стояла его неизбежная невеста. Он поскреб ногтями затылок.
- Жениться так жениться, — осклабился он. — Почему бы и нет?
- Но я вам должен честно сказать, — Робинсон тоже испытующе сверлил Харю глазами. — Она не совсем молода.
- То есть?
- Робинсон задумался. Имеет ли он право сказать, сколько невесте лет? А с другой стороны, не тот случай, чтобы пудрить мозги, все равно ведь станет известно.
- Вы только не пугайтесь, Харри. Потому что, как сказал мой друг и ее адвокат Тони Гобетти, имеется ряд факторов «за».
- Ну?! — раздраженно рявкнул Харя.
- Ей... девяносто семь.
- Девяносто семь? — заржал Харя, долго не мог остановиться, а, отсмеявшись, заметил, вытирая слезы: — Такого в моей коллекции еще не было... У нее гринкарта есть?

.....

— Мой коллега, адвокат Гобетти говорит, что у нее есть, помимо гринкарты, паспорта трех или четырех стран. Хватит вам?

— Ого! Она что — аферистка?

— Не больше, чем вы, мой дорогой!

Подошел полицейский и вежливо намекнул, что пора и честь знать: заключенные привезены в парк работать.

— Прошу вас, офицер, дайте еще минуты три, — Робинсон похлопал его по плечу.

— Три, но ни минутой больше!

Коп отошел.

— Что для вас важнее сейчас, мистер Харри: романтика или материальные блага?

— Смешной вопрос!

— Вот и подойдите к браку рационально как к юридической сделке, выгодной обеим сторонам.

— А ей-то какая выгода? Одиночество с таким бабником, как я, не скоротаешь.

Адвокат усмехнулся.

— Полагаю, как раз это ей не очень нужно. Суть в том, что ее умерший муж оставил ей большое наследство, которое она не в силах получить.

— Ух ты! И я могу ей помочь?

— Если получится, как мы с адвокатом Гобетти планируем.

— Ну, ты, Чарли, сегодня даешь! — Харя перекинул грабли через плечо, делая вид, что собирается идти работать. — Знаешь ведь, у меня иногда трудности с английским. Чего-то я никак не врублюсь...

— Ничего сложного! И так, регистрируемся!

— Может, сперва хоть глянуть на бабушку?

— Послушайте, мистер Харри! Это же де-ло-вой брак!

— У вас что — даже фото ее нету?

Сентиментальные пошли нынче мужчины: хотя перед женитьбой увидеть невесту. Но Робинсон не церемонился:

— Надо спешить, Харри... Вот у меня разрешение судьи. Он сказал: «Свадьба — дело серьезное» и подписал освобождение в связи с личными обстоятельствами на двое суток. В субботу вечером вы обязаны вернуться в тюрьму до суда. Опоздаете — автоматически добавят срок.

— Так бы сразу и сказал! Когда жениться?

— Немедленно!

Недовольный полицейский вернулся и уже стоял наготове, чтобы увести Харю, но адвокат вручил ему предписание судьи. Затем Робинсон вытащил из кармана телефон, потыкал кнопки и соединился с Гобетти в Сакраменто:

— Мой клиент готов, Тони. Действуй!

8.

Я уже осточертел читателю рассказами о своих лекциях и студентах. Эка невидаль: все на свете читают лекции, если не в университете, так на кухне. На кухне лучше тем, что тебе еще и нальют, и дадут закусить. Но все же рискну еще раз, не обойтись.

Мой студент Максимус Кей Тибб, полумексиканец-полукто-то еще, бывший солдат, днем сидит на лекциях, а по ночам работает в Кайзере, то есть в госпитале, помощником фармацевта. Фармацевт смешивает жидкости, которые вводят внутривенно тяжелым больным, а помощник развозит на тележке по палатам, помогая сестрам вешать мешки с растворами на

.....

кроватные стойки. Максимус говорит, кажется, на всех языках, смешивая их так же, как растворы для больных.

— А когда же ты спишь? — спросил я его как-то.

— Уже выспался — в армии, — был ответ.

— Это как?

— Два года спал в казарме, служа в мексиканской армии. Но там очень мало платят солдатам, и я перешел в американскую. Тут еще три года спал в бронетранспортере во время учений, и за армейскую службу выспался на всю оставшуюся жизнь.

То, что он выспался, не подтверждается, однако, суровой действительностью: ночь отработав в Кайзере, на лекции Тибб сидит сонный, уставясь на меня глазами кролика, ибо спит три-четыре часа в день. Скорей всего, дремлет с открытыми глазами. Все проспать не обидно: за образование своих бывших солдат платит армия, однако же на квартиру, еду, учебники и развлечения приходится зарабатывать самому.

Поглядывая с недовольством на дремлющего студента, в пятницу утром я читал лекцию о карамзинской «Бедной Лизе». Трудно даже в хорошем переводе понять американцам простейшую мысль: «И крестьянки любить умеют».

В мысли этой — целый пласт истории и культуры неведомой страны. И живой подтекст ускользает. В дискуссию (знаю по опыту) лучше не вовлекаться: все сведется к тому, что городская женщина имеет больше доступа к информации и знает больше способов. Впрочем, можно, как студенты предлагают, заменять крестьянок на королев, проституток или собак, и формула остается правильной, вечной, годной для всякого случая.

После лекции, видимо, по ассоциации с ней, Максимус подошел ко мне и сказал:

— Вам привет от одной нашей пациентки. Ее зовут Лилия Бурбон.

— Оп-сс... Она в больнице?

— У нас, в Кайзере.

— А что с ней?

— Ничего серьезного... Ей поставили расemaker*. Она — великая поэтесса всех времен и народов, и я ей помогаю: перевожу мысли, которые она произносит...

Следовало ожидать! Как все самоуверенные личности, Лилия обладала сильной способностью употреблять людей, чтобы они работали на нее, — типичный штрих вождей и знаменитостей. Причем люди полагают, что не они ей, а она им делает добро. Вот и Максимус завербован ею для побегушек и очень гордился доверием.

Хотелось мне того или нет, Лилия стала присутствовать и в моей жизни. Как сказал один мой приятель, в эмиграции дружишь не с тем, с кем хочешь, а с тем, кто есть. Я пошел в свой офис, как всегда купив по дороге бумажный стаканчик с кофейной бурдой. У дверей сидели в ожидании студенты, но сперва я нашел в телефонной книге номер и позвонил в госпиталь. Оператор, спросив имя, соединила с палатой.

— Кто вам сказал, что я здесь? — строго спросила Лилия.

— Студент мой передал от вас привет.

— Вовсе его не просила! Наоборот, запретила кому-либо говорить, что я в больнице. Учтите: я никогда не болею!

* Пейсмейкер — кардиостимулятор, маленький электронный прибор, вшитый в тело для регулировки ритма сердца.

— Понял. Если вы здоровы, то — до свидания!

— Постойте! Коль скоро сами напросились, у меня будет маленькая просьба. Не могли бы вы, голубчик, навестить меня в госпитале? Прискачет адвокат, который всегда только огорчал меня. А вчера вечером оставил на автоответчике сообщение: «Мадам, у меня есть новость, которая может оказаться очень хорошим сюрпризом».

— Но я-то тут, Лилия, при чем?

— Адвокат уверяет, что кое-чего понимает по-русски, у него якобы бабушка из Одессы, но я не очень доверяю... Дело-то жизненно важное... Не бросайте меня в колодец!

Я было засопровтивлялся, но Бурбонша так упрасивала, что пришлось сдаться.

В щель приоткрытой двери я увидел, как Лилия размазывает пальцем помаду на губах, и переждал, чтобы дать закончить эту важную процедуру. В палате меня встретила радостным лаем белая пушистая собачонка с выпуклыми глазами.

— У американок есть все: и муж, и собака, и компьютер, — объяснила Лилия. — А у меня не было ничего: ни мужа, ни компьютера, ни собаки. Вот я и завела хотя бы Пупсика.

В госпиталь — с собачкой? Только Лилия Бурбон могла уломать врачей, что ее Пупсик обязан быть при ней. Все правила против этого, но для Лилии почему-то всегда находится исключение.

Она нажала кнопку на пульте, и кровать посадила пациентку, превратившись в кресло. Ох уж эти кровати в американских больницах! Они вас возят, перекалывают с боку на бок, готовы включить для вас телевизор, подать телефонную трубку или столик для еды. Вы облеплены датчиками, как космонавт, и, чтобы управлять

.....

такой кроватью, надо пройти как минимум, инструктаж, так сказать, школу верховой езды на койке.

— Видите? Автомобиль водить у меня не получалось, зато кроватью управляю уверенно.

Если Лилия шутит, значит, она еще жива.

— Что случилось? — спросил я. — Как вы себя чувствуете?

— Не задавайте бестактных вопросов женщине. Ужасно! Теперь вместо «Люблю всем сердцем», мне придется говорить «Люблю всем пейсмейкером». Как я могу себя чувствовать? Кругом одно старичье, а мне хочется быть с молодыми... Лучше отвечайте: вы ведь жили в Техасе? Как там с погодой?

Неужто она позвала меня, чтобы поговорить о погоде в Техасе?

— С погодой там хорошо, — отвечал я. — Людям при той жаре хуже.

И открыл рот, чтобы начать объяснять ощущения шашлыка на мангале, но Лилия перебила:

— С чем только мне не приходилось смиряться в жизни! В Серебряном веке мне не повезло, состоялась в веке Советском. Недавно меня оскорбили в «Литературке»: назвали «бабушкой соцреализма». Раньше бы я позвонила, куда надо, и редактора бы сняли. А теперь что прикажете? Терпеть? Или подать на них в суд?

Невзирая на болезнь, Лилия была в своем репертуаре. Сколько людей того поколения гордились бы таким титулом, но не она. Вряд ли слово «соцреализм» ее возмутило, скорей — «бабушка».

— Да плюньте на них, Лилия! Зачем вам коротать жизнь в судах и кормить адвокатов?

— Вот-вот! — она ухватилась за слово. — Сейчас придет адвокат, я вас представлю как моего старого

.....

друга. Помогите разобраться, чего он хочет. Он мне звонил сюда, в палату, и говорил про чью-то харю.

Тони Гобетти ввалился в палату, швырнул на пол возле кровати портфель и изрек:

— Здоровеньки булы! Но, конэшное дэло, мои русские экспрессивности имэют его границу.

— Видите? — восхищенно заметила мадам Бурбон. — Как бойко он шпарит по-нашенски!

— Шперит куда? — смутился адвокат.

— Давайте лучше по-английски, — предложил я.

Покрасневший от натуги в старании вспомнить русские экспрессивности, Тони обрадовался, как проткнутый шар, с шумом выпустил воздух и крепко пожал мне руку.

Ничего не хочу сказать плохого про симпатичного Гобетти, но адвокатов я боюсь. Американская юридическая система достигла совершенства и — всеобщей занятости населения. Одна половина американцев постоянно или периодически судится с другой половиной по крупным или мелким делам, так что у юристов дел выше лысины.

Да и сами адвокаты энергично ищут поводы, чтобы посудиться с кем угодно. Например, с респектабельным магазином, автоматическая входная дверь которого закрылась слишком быстро и хлопнула адвоката ниже спины, но выше ног. В результате в том месте боль: никакой самой совершенной медицинской аппаратурой невозможно доказать, что боли нет. Значит, она есть, и, стало быть, магазин вынужден уплатить страдальцу полтора миллиона в качестве компенсации за неудовольствие.

Казалось бы, нет ничего выгоднее, чем судиться. Адвокат горло перегрызет за тридцать процентов будущих ваших денег. Встречался мне юрист, который

говорил, что за большие деньги готов засудить само-го себя. Один раз я тоже пытался судиться, но зарекся на всю жизнь.

Новый дом, в который мы въехали, заполнился водой. Строительный рабочий, когда его уволили за недобросовестность, по злобе незаметно вошел в мой почти достроенный дом и забил гвоздь в водопроводную трубу между первым и вторым этажом. Страховая компания долго таскала меня по могучим своим адвокатам, перехитрила и не заплатила ничего. Я сдался: не дай Бог застрять и провести в судах оставшуюся жизнь. Неужели Лилия добровольно лезет за сыром в мышеловку?

Рассказ Гобетти о Харе занял минут двадцать, и я аккуратно Лилии переводил. Харя, как явствовало, — истинный герой всех времен и народов.

— Что-то не понимаю, при чем тут я, — молвила Лилия.

— Цель его — на вас жениться, — без хитростей подбил итог адвокат и, подмигнув мне, прибавил: — Он читал все ваши книги и считает вас великой поэтессой нашей эпохи.

Ай да комплимент! Без промаха. Мадам Бурбон надолго умолкла, вращая глазами и, видимо, шестеренками мозга.

— Этот парнишка разведен или вдовец? Ах, разведен! Уже лучше. Обычно мужчины настолько ленивы, что даже ленятся оставить женщину, которая им заведомо не подходит, и называют это семейной жизнью. Если бы Бог создал меня мужчиной, я бы меняла женщин каждый день. Но мне-то он зачем? Я ведь не девочка, чтобы кидаться на шею первому встречному, да еще заочно!

— Он уже доменялся до того, что стал нищим, — сказал Тони. — Мадам, брак этот, как бы сказать точнее, деловой. Взаимовыгодное партнерство.

— Что сие значит?! — ее брови поднялись.

Гобетти смотрел на нее с некоторым удивлением:

— Ведь ваш муж Кен Стемп завещал деньги на строительство социализма, не так ли? У клиента моего техасского коллеги имеется собственность, которую он не может освоить, у вас — деньги, которые вы не можете получить. А мистер Леа-пид-дэар — надеюсь, я правильно произношу его фамилию — могучий советский теоретик этого самого социализма. Он все знает про то, где, как и с какой целью его надо строить... Улавливаете мою мысль?

— Интересно, — в задумчивости произнесла Лилия. — Никто на свете толком не ведает, кто ведал — опозорился на весь мир, а он, у них там в Техасе, знает?

— Но вы же ведь не собираетесь строить социализм, — скороговоркой пробормотал я ей по-русски, чтобы адвокат не понял. — Сами так говорили...

— Тссс... — она приложила палец к губам. — Вы не дотумкали, глупенький? Ко мне тут уже навевались российские коммунисты, обещая посмертную славу и даже дощечку в Кремлевской стене, если я им пособлю деньгами. Но я-то жива-здоровая! Будут деньги — я и без них местечко возле Мавзолея куплю. Однако же пускай адвокат объяснит своему Леа-пидеру, Лепидеару, или как там его: никаких денег, пока он на мне не женится! И пока все бумаги не будут проверены!

Адвокат терпеливо ждал, пока я ему переведу, ею сказанное, и только кивал в знак согласия.

— Но, выходя замуж, — неожиданно спросила она, — я не потеряю право на деньги моего мужа? Вы уверены?

Стало быть, Лилия еще практичней, чем можно было ожидать.

— Конечно, нет! — успокоил ее Тони. — О следующем браке в завещании вашего покойного супруга нет ничего. Вы совершенно свободны в выборе нового партнера.

Она колебалась мгновение.

— Ладно, леший вас забери! Рискну.

— С закрытыми глазами?! — вырвалось у меня.

— Душа моя! — снисходительно усмехнулась Лилия. — Нельзя же до такой степени не понимать женщину. У меня все отдельно: я всегда могла быть женой одного, любить другого, а иметь секс с третьим. Но это еще не все. Самое большое удовольствие я получаю не от мужчин (от них одни хлопоты), но — от удовлетворения собственного честолюбия.

Я разглядывал ее с восхищением.

— А как же ваши планы танцевать с президентом на столетии?

— Эх, молодой человек! Что за вздор — пенсионерке танцевать с президентом? К тому же, как я выяснила, столетних людей стало в Америке так много, что в Белый Дом их приглашать перестали. Главное, чтобы меня не забыли. Для этого надо постоянно привлекать к себе внимание. Как вы знаете, я оказалась вне игры, но теперь кое-что предприняла. Вам известно, что в моей прошлой жизни, кроме мужчин, я любила вождей.

— Постойте-ка! Но ведь вожди — тоже вроде бы, в основном, почему-то мужчины...

— Ха, в том и дело, голубчик, что нет! Мужчины — это те, кто любят женщин, то есть любят меня. Вожди же любят себя, а остальных употребляют для своих целей: и женщин, и детей, и мужчин. Но я всегда любила вождей, и за это они меня ценили.

Стало ясно, что Лилия выходит на грандиозные философские обобщения. Такого я не ожидал.

— Ну и что же? Ведь теперь это дело прошлое, вы в другой культуре... К чему вы клоните?

— Сейчас объясню, — Лилия взглянула на ничего не понимавшего Тони и подмигнула ему. — Всю жизнь я писала оды вождям, ублажала их, и они это ценили. И я процветала. Теперь я оказалась никому не нужна, потому что перестала писать оды вождям.

— Вот оно что! А оды американским вождям вы сочинять не пробовали?

— Соображаете! — похвалила она меня. — Ухватили суть проблемы. Конечно, у меня в процессе вдохновения кое-что родилось. Например:

Американский президент —
Краса и гордость нации.
Всегда, везде, в любой момент
Достоин он овации.

— Неплохо! — оставалось мне похвалить.

— Сама знаю, что это славно звучит!

— Но это ж по-русски. Американские президенты пока что говорят на своем языке.

— Знаю. Поэтому постепенно перехожу на английский. Вот послушайте:

Есть в Белом доме президент.
Для boys и girls он — лучший friend.
Он смело борется за peace,
Я шлю ему горячий kiss.

— Еще лучше! — восхитился я. — Но простите за одесский вопрос: что вы будете с этого иметь? Максимум, на что можете рассчитывать, это вежливые

.....

несколько строк из президентского секретариата — благодарность за внимание.

— Пока что я даже этого не получила. Никто не дал команду хотя бы опубликовать эти стихи в газетах. Бездействие меня убивает. Вот почему я приняла предложение адвоката Тони Гобетти.

Различив свое имя Тони кивнул.

— Короче говоря, в данной ситуации у меня реализуются некоторые надежды. Добьемся мы обогащения своей собственной рукой. Не так ли? А уж потом встречу с президентами. В конце концов, их много — я одна.

— Мой техасский коллега Чарли Робинсон полагает, — сказал Тони, — что проще зарегистрировать собственность его клиента в Мексике. Но не просто там найти нужных людей.

— У меня как раз есть нужный человек, — Лилия погладила Тони по локтю.

— Вот как? Кто?

— Деловой парень из Мексики. Зовут Родриго Гонзалез. Он там все может!

— Хм... Свяжите меня с ним, — попросил Тони.

Гонзалез примчался в госпиталь, едва Лилия ему позвонила. Чуй у него был на деньги — позавидуешь. Сапоги его из страусиной кожи заскрипели в тихой палате, широкая улыбка раздвинула усы. Родриго рывком скинул огромную белую шляпу, и она повисла на спине. Длинные черные волосы его были стянуты сзади резинкой.

Прослышав о предстоящей свадьбе, Гонзалез пробудился и, к изумлению адвоката, тут же, обратившись к Лилии, без проблемы соскользнул с английского на русский:

— Поздравляю, детка! Все схвачено налету. Я всегда говорил: ты — неотразима, ни один кобель не устоит.

Он захохотал, довольный собственной двусмысленностью. Гобетти объяснил ему ситуацию.

— Ловлю ваши мысли на лету. Ничейный остров родился на Рио-Браво? Блеск! Подарок папочки Природы... То есть надо по-русски сказать — мамочки, ха-ха. Двойные поздравления, мадам. Такие дела надо делать исключительно на моей родине! Я знаю людишек в Нуево Ларедо. Но поскольку дело пахнет большими деньгами, придется отстегнуть за оформление собственности. Не мне — я человек абсолютно бескорыстный. Надо будет дать на лапку местным бюрократам, о'кей?

— Боюсь нелегалщины, — скривил рожу Тони.

— А какой же другой выход? — Лилия уставилась на него в ожидании, когда я переведу. — Не останавливаться же на полдороге!

В знак поддержки Родриго кивнул.

— Значит, так, — произнес он со значительностью в голосе, — дружба важнее всего на свете. Лилия — такое существо, что не помочь ей может только большая свинья. Я лечу с вами — без меня вы там не продвинетесь. В Мексике вас просто облапошат, будьте уверены, и останетесь ни с чем. Сейчас я объясню адвокату, как это там делается.

Родриго по-свойски обнял Тони, отвел его в угол палаты, усадил на стул и стал излагать стратегию операции. Тони слушал и молча кивал.

В дверях возник мой студент Максимус в белом халате и спросил:

— Лилия, как я могу вам помочь?

— Максик, — попросила она. — Мне надо срочно смотаться из госпиталя. Побегайте, чтобы оформить мою выписку.

Максимус кивнул и, как выдрессированный дворецкий, умчался выполнять распоряжение.

Мадам Бурбон обратила взор на меня и спросила:

— Ну, скептик, чего вы приуныли?

— Вообще-то, не мое дело, — одними губами ответил я Лилии. — Но не бойтесь, что вас затянут в нелегальщину? У нас в Штатах с этим строго...

— Родной мой! Я прошла огонь, воду, медные трубы и советскую жизнь. Чего в моем возрасте бояться? Жизнь без риска, как суп без соли. Надо рисковать!

В тот момент Лилия выздоровела. В отличие от мужчин, гибнущих под колесами жизни просто, как собаки, женщины (это я давно заметил) живучи, как кошки. Вечером они умирают, а утром готовы карабкаться на Джомолунгму. Даже со вшитым рядом с сердцем пейсмейкером.

9.

У нас в Калифорнии рассказывают, как шел мужик по берегу океана, молился и у него вырвалось:

— Боже, ну выполнил бы ты хоть одно мое желание!

Вдруг облака разверзлись над его головой, и Бог произнес громовым голосом:

— Знаю, что ты стараешься верить в меня и следуешь моим заветам. Так и быть, чтобы ты во мне не сомневался, одну твою просьбу я выполню. Чего тебе надо?

Мужик подумал и говорит:

— Построй мост из Калифорнии на Гавайи, чтобы я мог на машине ездить, когда хочу, на Гавайские острова.

Бог поморщился:

— Мост в Гонолулу? Фу! Твое желание чересчур материалистичное. Подумай, какие расходы понесутся, сколько бетона, сколько металла уйдет! А рабсилы сколько! Длину-то моста представляешь? Да, я в силах его сделать, но неужели нет у тебя просьбы более духовной, важной для человеческого существа?

Долго мужик чесал тыкву.

— Боже, — наконец выговорил он, — я хотел бы понять женщину. Что она чувствует? Что думает, когда молчит? Почему плачет? Что значит, когда она ничего не говорит? Объясни, как мне сделать ее счастливой?

Бог закашлялся, покачался на облаке, тяжело вздохнул и спросил:

— Ты хочешь двухрядное или четырехрядное движение на мосту?

Когда я думаю про Лилию, эта история, как гвоздь у меня в голове. Мадам Бурбон уговорила-таки нас с Лерой быть свидетелями при ее бракосочетании. И Бога уговорила: он начал строить мост для нее в Мексике.

Теперь мы летели одним рейсом компании «Southwest» с Лилией и адвокатом Тони Гобетти туда, куда совсем недавно Харя в такой поспешности гнал на старом «Шевроле» — в Ларедо. Тони позвонил жене в Пуэрто-Вальярту, чтобы они с Лиззи немедленно сматывали удочки и летели туда же.

В самолете мы сидели рядом, и было видно, что Лилия, несмотря на ее неизменную внешнюю самоуверенность, волнуется. По дороге она то и дело уточняла, как я ее представлю.

— Только не забудьте! Можно все испортить, если бросить дело на самотек.

— Клянусь, не забуду! Скажу: «Вот перед вами выдающийся поэт современности», ладно?

— После этого добавьте «всемирно известная женщина», «ни с кем не сравнимая женщина», а также, что вполне уместно, «очаровательная женщина». Не перепутаете?

— Запомнил на всю жизнь.

— Вы, наверное, думаете: «Какая она расчетливая!»?

— Ничуть! Вас ведут обстоятельства. Эмиграция — штука сложная...

— Как считаете, — она почему-то посмотрела на покатый потолок, — Кен не обидится на меня, что я ему изменяю?

Кен Стемп был славный, добрый и наивный малый. Года не прошло, как он умер. Теперь у меня возникло странное ощущение, что Кен где-то тут. Может, летит с нами? Я даже глянул в иллюминатор на розовые облака, будто душа моего бывшего студента могла нас сопровождать в материализованном виде. Глупо? Но факт, что покойный Кен беспокоил Лилию, заставлял задуматься.

— Если он слышит, — сказал я, — то вас простит и даже одобрит такой шаг. Наверняка он хочет, чтобы вы были устроены.

— Не уверена. Дай Бог, чтобы вы оказались правы.

— Лилия, а почему вы не обзавелись детьми? — спросила Лера, чтобы сменить тему.

— Рожать — много ума не надо, — усмехнувшись, ответила мадам Бурбон. — А вот ни разу в жизни не забеременеть и не сделать ни одного аборта — это уже легенда, это пахнет бронзовым монументом.

Меня разобрал смех, и Лера ткнула кулак мне в бок.

.....

— Не обращайтесь внимания, — извинилась она. — Все мужики без такта...

Лилия насупилась. Неужто, и в правду обиделась? Мне подумалось, ей хочется в чем-то оправдаться. Но в чем?

— Всегда я хотела свить гнездо только на самой верхней ветке, — сказала она. — А наверху качает, того и гляди, сдует. В общем, слава была, да, а с семьей у меня всю жизнь — ни шатко ни валко... Может, сейчас получится?

Вот так да! Неужто все грандиозные свершения ее честолюбия сводились к гнезду на ветке, как у любой нормальной женщины? Скромничает, опускается до нас, грешных... Хочет, чтобы ее поняли, поддержали.

— У меня такое ощущение, — сказал я, — что ваши возможности безграничны.

— Чепуха, голубчик! Старость — это теперь не модно. Даже у такой женщины, как я, есть пределы мечтаний. Нельзя жить на третьем этаже в двухэтажном доме.

Вот так, мило беседуя, приземлились мы в тexasском аэропорту Ларедо. Адвокат Гобетти, сидевший впереди нас и уж не знаю, что из нашего разговора по-русски понимавший, изредка оглядывался, будто проверял, не испарилась ли мадам Бурбон. Едва самолетные моторы умолкли, Гобетти вытащил из кармана мобильник и позвонил Робинсону.

— Планы наши немного уточняются, — сказал Тони, отключившись от Робинсона. — Берем такси и направляемся из аэропорта в Нуево Ларедо, в отель. Это тут близко, в Мексике. Робинсон и мистер Харри уже ждут нас там.

— Но я же не могу с корабля на бал! — засопротивлялась Лилия. — Мне надо привести себя в фирменный вид.

— О, не беспокойтесь! — согласился Гобетти. — Для вас уже заказан лучший номер.

С багажом ей отдали клетку с ее Пупсиком, который скулил и, как только его выпустили, подпрыгнул и лизнул ее в щеку.

Начало смеркаться, но духота не спадала. Таксист-мексиканец ловко крутил по улицам и вырулил на Тридцать пятый фривей в направлении границы.

Ларедо оказался безалаберным приграничным городишкой, построенным без царя в голове и похожим на все другие поселения по обе стороны границы с Мексикой. Сейчас, когда записываю подробности нашего вояжа, глянул в американскую Энциклопедию Фанка и Вагналса, из которой узнал, что Ларедо — крупный индустриальный центр: там делают матрацы.

Мы молча глазели в окна, даже Пупсик сидел у Лилии на коленях и глаза его бегали — видимо, печитал дорожные объявления.

Тридцать пятый фривей кончился, и дорога пошла к грандиозному мосту через реку Гранде. Замелькали предупреждения о снижении скорости перед границей. Таксист запросил три доллара, чтобы заплатить тол. Колеса долго постукивали по швам моста. Из-за бетонных стен реку мы не увидели. Пустые будки пограничного контроля — и вот мы в Мексике.

Встречная полоса на несколько миль забита транспортом, в основном, грузовиками: на въезде их не спеша проверяла американская таможня.

Мексиканский городок Нуево Ларедо мало чем отличается от техасского старого Ларедо с той стороны границы, что естественно, поскольку их разделяет река и связывает мост, по которому потоки машин и пешеходов двигаются туда-сюда круглые сутки.

.....

Опять за окном такси возникла знакомая картина, как в российской провинции: люди просто сидят возле домов, глядят на прохожих и точат лясы. В этом смысле бездельники, проводящие целый день на скамейках на улице Грант, — отражение нравов, приобретенных генетически. У коренных американцев такого не увидите. Отдых как безделье, цель жизни как ничегонеделание сознательные янки не принимают. Загнал машину в гараж, три слова соседу: «Привет, как дела?» и, подчас не дослушав такого же содержательного ответа, в дом.

Даже усталый после физической работы уважающий себя американец, вернувшись и пообедав, будет стричь траву (чтобы его дом выглядел не хуже, чем у других), запускать с детьми змея или, может, крутя педали на тренажере, глазеть бейсбол по телевизору. «Приукрашиваешь!» — скажут мне эмигранты-старожилы.

Конечно, и в Америке бездельников, не говоря уж о бездомных, полно, но они не сидят на лавочках возле дома. То ли у них домов нет, потому что они бездельники, то ли лавочек не водится. Лежать на улице — это пожалуйста. Получеловеческого отребья на всех континентах хватает, того, что называется trash — мусор. Достоинство, стыд, принципы в этих существах отсутствуют, интерес к жизни, кроме как нажраться да напиться, тоже. Они не подышают от скуки, это их нормальное состояние. Они не хотят ничего делать, они — вне социума, хотя охвачены программами помощи — за них остальные, нормальные граждане исправно платят налоги. Лузгать им тоже нечего: семечки продаются чищенные, фасованные, их кладут в салат. Старушки, перемывающие кости соседям, — это не в Америке, это в России и тут, у мек-

.....

сиканцев. Мы обожаем завидовать другим и жаловаться на свою судьбу.

Американец же не просто обитает в своем доме, который он рано или поздно, скорее всего, продаст, переехав или уйдя на пенсию, — ведь дом — его капитал на старость. Капитал этот стоит на улице, и когда дом покупают, обращают внимание и на улицу, и на соседние дома. Neighborhood — «соседство», «округа», «местность», «район» — все переводы приблизительные. Суть слова «нейбохуд» — это качество среды обитания, другими словами, ваш уровень, статус, то есть сколько вам цена в окружении других.

Плохим видом своего дома, непокрашенным фасадом, неподстриженными газоном и кустами, отсутствием цветов вы удешевляете дома соседей, всего «нейбохуда». В некоторых американских городах, если местные власти заметят непорядок перед вашим домом, то получите письмо с просьбой постричь траву; сами не можете, пришлют садовника и счет за услугу.

Поразительно, думал я, глядя на улицы Нуево Ларедо: эти самые неряшливые мексиканцы как раз и работают в Америке садовниками, наводят красоту. Как говорится, сапожник без сапог... Дома-то им не платят.

Такси остановилось возле гостиницы с немного перекошенной, но светящейся в сумерках вывеской витиеватыми красными буквами «Ла Асьенда».

В полутемном лобби на диване, возле тусклого оранжевого торшера, уже сидел Родриго Гонзалес, потягивая маргариту через соломинку и простоудушно, почти по-детски, улыбаясь. Оказывается, мексиканскую шляпу он носил только в Америке, тут она исчезла. Увидев нас, он вскочил и галантно поцеловал Лилии руку.

.....

— Поздравляю еще раз! — в голосе его не слышалось никакого ехидства. — Сегодня у тебя большой день, детка. С женихом я уже познакомился. Он — выдающаяся личность, талантище. В Мексике он мог бы стать лидером троцкистов. Мы с ним раздавили бутылочку текилы, и он спрятался в номер вздремнуть перед свадьбой. Адвокат его тоже удалился в номер со своей красоткой.

Родриго закурил тонкую сигару. Этот новый мексиканец (как еще его назвать?) чувствовал себя здесь полным хозяином.

— Тони, мальчик мой, — сухо скомандовала Лилия адвокату, будто она уже получила наследство. — Разберитесь с делами, это ваша епархия.

— Насчет регистрации брака я договорился, — поспешил сообщить Родриго. — Вы же не католики. Чиновник из муниципалитета приедет сюда к началу свадьбы — через пару часов.

— Два часа нам хватит, чтобы привести себя в порядок, не так ли, девочки?

Сказав это, мадам Бурбон, прихватив на руки Пупсика, направилась к лестнице, а Лера объяснила ситуацию не понимавшей по-русски Дженифер. Лиззи и она прилетели раньше нас. Теперь в отеле «Ла Асьенда» все были в сборе и постепенно рассасывались по номерам.

— Ну, а как с другим вопросом? — спросил Тони у Гонзалеза.

— Все уже объяснено вашему коллеге Робинсону. Он и мистер Харя считают, что вопрос можно считать улаженным. В муниципалитете возникла только одна заковыка...

— Именно?

— Граница между Мексикой и США проходит по середине реки. Таким образом, формально половина

острова наша, половина американская. Тут могут зарегистрировать только нашу половину.

— А вторую?

— К счастью, граница не очень определенная, и американцы не обращают внимания на такие мелочи, так что мадам Бурбон, с мужем, естественно, может владеть всей территорией острова. Но за оформление сделки деньги хотят вперед и только живой кешью, желательными новыми купюрами. Робинсон уже заплатил.

— Хм... — только и выдавил из себя растерявшийся Гобетти.

— Вы с ним сами разбирайтесь, он ведь ваш приятель. С моей стороны — только дружеская услуга.

Родриго дружески улыбнулся, похлопал Тони по плечу и прибавил:

— Пойду в ресторан, проверю, чтобы ничего не забыли. Мексиканцы — народ рассеянный, — Родриго подмигнул мне. — Вроде русских...

Тони открыл портфель, стал просматривать какие-то бумаги. Я помахал ему рукой и поднялся в номер.

Лера ушла раньше и уже спала. Осталось пристроиться рядом, чтобы подремать перед ночной тусовкой.

10.

Разбудил меня оркестр, оглушительно заигравший во дворе. Жена, оказывается, уже встала и навела марафет. Я приоткрыл окно. Запах жарящегося мяса и пряностей с легким дымком ворвался в комнату. Внизу, в квадрате двора, назревало гуляние.

Небо посинело, загорелись звезды. Гирлянды цветных лампочек переливались на деревьях. На малень-

.....

кой сцене бешено громыхали пианино и ударник. Гитаристы обходили столики, умащивали первых посетителей рыданием струн, вымогая мзду. Пора спускаться вниз.

Если бы не духота, от которой открываешь рот, как рыба, выброшенная на берег, все было бы по высшему разряду. Женщины в вечерних туалетах. На шеях и запястьях сверкает золото. Тони познакомил меня с коллегой Робинсоном, тот — со своей жизнерадостной герл-френдшей Лиззи. Лиззи блистала в черном одеянии, открытом сзади до копчика, а спереди — стесняюсь сказать, до чего. Словом, глаз не оторвать. На Дженифер сверкали бриллианты, отвлекающие внимание от ее торчащего живота.

Вырядившийся в белоснежный костюм с малиновым платочком в кармане Родриго напоминал кинозвезду из мыльного сериала. Оба адвоката, Робинсон и Гобетти, по случаю ритуала нарядились в похожие темно-серые костюмы и даже в одинаковые черные ботинки, которые один мой приятель назвал бухгалтерскими. Они смахивали на агентов секретной службы, придавая значительность мероприятию. О себе и жене говорить не стану: мы тут всего лишь свидетели.

Родриго начал делать круги возле Лиззи, полагая, что мексиканец для мексиканки лучше, чем черный из Техаса. Но Робинсон погрозил ему пальцем, и Гонзалезу пришлось ретироваться.

Только один человек слонялся, не находя себе пристанища. Тучное его тело страдало от жары, наряженное в выдавший многих клиентов фрак, взятый на прокат на сутки в соседнем магазине. Фрак сидел на Харе, как на корове седло. Харя старался улыбаться, но это напоминало гримасу, которую он вместе с по-

.....

токамаи пота то и дело снимал с лица огромным, вроде пляжного полотенца, носовым платком, а гримаса наползала снова. Он подходил то к одним, то к другим, его приветствовали, но продолжали разговоры между собой. Он было сунулся к Лиззи, но та сделала вид, что не узнала его.

Тут мы с этим лишним человеком познакомились.

— Слушай, — сказал Харя. — Давай на «ты». За чем идиотские формальности?

Он и в самом деле предстал интересным говорунном и сходу стал искать во мне единомышленника. Обнаружился лишь один изъян, который я, при всей своей приобретенной с годами терпимости, тяжело переношу. Харя умел говорить, но напрочь был лишен способности останавливаться. Он был уже в подпитии и фонтанировал идеи с бесконечностью спирали Мёбиуса.

Не хватало только главной героини. Похихикивая, все ждали Лилию.

Оркестр по команде Родриго заиграл марш. Уверен, что это инсценировала сама мадам Бурбон — кто же еще? Она появилась вверху лестницы, торжественно неся свою прямую, как дека гитары, спину, и все замолчали. Грудь ее в огромном декольте белого подвенечного платья громоздилась выше, чем у сексбомбы, подпертая уж не знаю какими способами. Наше обязательное невероятное количество бус. Она иногда спотыкалась о ковер каблуками немислимой высоты, но шла, выставляя вперед левое бедро, как модель на лучшем парижском подиуме.

Женское тело обладает аурой, неким позывным сигналом или излучением. Магнетизм таится в любой женщине, не знаю где, хотя некоторые из них его присутствия в себе не ощущают, не могут им управ-

.....

лять и вообще не пользуются им никак, премного в жизни теряя. Зато другие умеют излучением этим манипулировать, фокусируя в определенном направлении, в основном, на особи противоположного пола.

Очевидно, одни женщины магнитят мужчин сильнее, другие слабее, но, в противоречие с расхожим мнением, думаю, что магнетизм никак не связан с красотой лица, тела или души. В этом смысле прыщеватая дурнушка запросто может оказаться вдесятеро талантливее холодной куклы с ногами от подмышек, только что отснятой «Плейбоем».

И еще уверен я, что магнетизм, данный каждой женщине от природы, хотя с возрастом и меняет свои настройки, но никуда не исчезает. Неумейка-девочка или забывшая, как это делается, старуха несут в себе заряд тайны, и только от них самих зависит, чтобы заряд проявил себя. Сохраняется он в теле до последнего вдоха, может, угасает постепенно, пока не остынет тело, а может даже, магнитная душа витает в пространстве и после смерти, зовет мужчин за собой.

Кажется, исключение на земном шаре скоро составят, если уже не составили, американки, в большинстве своем стремительно теряющие женскую сущность и все чаще теперь представляющие собой мужеподобных роботов, улыбающихся белозубой улыбкой. Кокетство и ухаживания называются теперь сексуальными домогательствами. Разница между полами сохраняется лишь в том, что американцы бреют щеки, а американки — ноги.

Лилия Бурбон, несмотря на зигзаги судьбы, оставалась настоящей женщиной всю жизнь, и теперь все взоры примагничены к ней.

— В этой бабе что-то есть! — к моему удивлению, возбудился стоявший рядом Харя и зашептал: — Я

.....

думал, на чужой стороне и старушка божий дар. Но она в порядке.

— Еще бы! — согласился я и тут сообразил: — Разве ты с ней уже знаком?

— Заскочил к ней, как только вы прилетели. У нее голова болела, боль я снял. Попробую ее омолодить усилием воли, я знаю некоторые способы. Она согласилась.

Вот оно что! Жених с невестой уже спелись. Значит, мадам-таки его обаяла! Мы дураки, волнуемся, а сие — чистое шоу, пиарщики они.

— Вот перед вами, — я вспомнил, что должен выполнить обещание, и затараторил: — выдающийся поэт современности, всемирно известная, ни с кем не сравнимая...

— Где же вы были раньше? — тихо заметила Лилия. — Теперь это уже и так всем ясно.

Когда и где мне надлежало оказаться раньше?

Седой юркий чиновничек из муниципалитета городка Нуево Ларедо взял Харю за руку, как перероска-мальчика, подвел к Лилии. Мистер Харитон Лапидар засопел медведем, застрявшим меж двух осин. Куда вдруг подевались его ум и решительность?

Пожалуй, худая и длинная невеста и толстый, как Фальстаф, жених являли собой вполне гармоничную пару. Чиновник заставил молодоженов поставить подписи в тяжелой коричневой книге с выпуклым гербом и надписью *Estados Unidos Mexicanos** на обложке. Осталось нам с Лерой подписаться в качестве свидетелей.

— Хотела бы я так выглядеть в ее возрасте, — прошептала моя жена.

* Мексиканские Соединенные Штаты.

И загудело застолье во дворе гостиницы «Ла Асьенда».

Ничто так не снимает напряжение и не развязывает языки, как текила. А если ее смешивать с лимонным соком, чередовать с молодым красным вином и не забывать про шампанское, то жизнь хорошеет на глазах. Потом, сами знаете, что будет, а пока — тосты за невесту, за жениха, за них обоих. Кто-то бестактно предложил выпить за сто лет жизни одного из присутствующих, которые не за горами.

— Зачем такое ограничение? — парировала невеста.

Знакомый призывный звук бандонеона призвал к гвоздю программы — танго-кумпарсита. Родриго, мастер на все руки, сунулся было продемонстрировать с Лилией себя, но Харя, подняв перед ним свою массу, ласково сказал:

— Ты, парнишка, тут посиди. Мы сами управимся.

И повел Лилию танцевать. Зрелища, однако, не получилось, хотя оркестр старался изо всех сил и публика поощрительно хлопала. То ли от усталости, то ли от жары, едва начав, они остановились и, стоя посреди площадки, что-то обсуждали, возможно, пятилетний план построения социализма на одном, отдельно взятом острове, в окружении капиталистических монстров. Им кричали «Горько!», а Лилия отмахнулась:

— Да будет вам!

И, прослезившись, пошла на свое место.

Когда она проходила мимо, Лера подала ей бумажную салфетку.

— Что-то я стала влюбчивой ближе к ста годам, — сказала Лилия, заметив, что мы за ней наблюдаем.

Помнится, она также была без ума от Кена Стемпа и говорила тогда, что впервые в жизни полюбила

по-настоящему. После всего, ею прожитого, почему бы не возникнуть еще одному «впервые в жизни»?

Вот уж, поистине: и старухи любить умеют. Надо только... А вот что надо? Одна моя соседка вынуждена была уйти в дом престарелых, но и там каждый вечер одевалась, прихорашивалась и всем говорила, что отправляется на танцы, хотя давно никуда не ездила, ибо ноги у нее уже лет десять не передвигались. Что же главное в жизни мадам Бурбон?

— Я вся в нетерпении, — зашептала она мне. — Ведь остров, Харитон сказал, может быть отдельным государством, — чуete, чем пахнет? Конечно, речь пойдет о вожде. Ух, есть о чем помечтать!

Способность Лилии входить в роль и мгновенно занимать в любой ситуации привилегированное место меня все еще поражала, возможно, потому, что сам я самоуверенности начисто лишен. И еще подумалось с удивлением, но без тени зависти, что у меня в жизни свадьбы не было. У Лилии же вот уже вторая свадьба только в этом году, не считая прочих hanky-panky*.

Жених изрядно перебрал, что вдохновляло его на новые словесные подвиги. Тучное Харино тело двигалось медленнее, щеки покраснели и расплылись, казалось, он ел, пил и говорил одновременно. Он стал подниматься, держась за спинку стула Лилии одной рукой, с бокалом от шампанского, полным текилы, в другой.

— Г-г-господа!

Никто не обратил на него внимания, и ему пришлось постучать ножом по бокалу, чтобы оркестр перестал играть и говорильня вокруг притихла.

— Го-оспода-а-а!.. Позво-ольте сказа-ать то-ост.

* Ханки-панки — сексуальные приключения.

Харя качнулся и устоял. Возникла пауза. Но вот — профессиональный лектор и опытный научный демагог — он собрался и заораторствовал, будто выпил самую малость, только для куража.

— Пара пожилых людей, муж с женой, жили долго, благополучно и в одночасье умерли. И потому как это были добрые люди, они попали в рай. Бог встретил их и привел во дворец: «Вот здесь вы будете жить». — «А сколько платить в месяц за этот дворец?» — спросил муж. — «Ничего не платить — ведь вы же находитесь в раю». Вышли они из дворца — у парадной двери стоит новенький «Кадиллак». «Это ваша машина», — сказал Бог. — «А цена?» — спросил муж. — «Бесплатно». Бог повез их обедать в шикарный ресторан. Пообедав, муж спрашивает, сколько он должен заплатить за обед, и Бог опять отвечает: «Говорят тебе, ничего! Я же объяснил: в раю все даром». Муж поворачивается к жене: «Вот видишь! Если б не твоя проклятая диета, мы бы здесь очутились еще десять лет назад!»

— Bravo! — первой сказала Лилия и хлопнула в ладоши.

Те, кто поняли по-русски, развеселились и загудели, стали переводить остальным. Харя поднял выше бокал, давая сигнал, что он еще не закончил. Переждав смех, он продолжил:

— Надеюсь, вы уже поняли, куда я клоню. Понятия не имею, что со мной будет после смерти, попаду я в рай или ад, но вы все собрались сюда, чтобы убедиться: я, то есть теперь мы с Лилией построим маленький рай на земле. Даю слово! Давайте за это выпьем!

Собравшиеся жидко зааплодировали. Харя поцеловал жену. Она сияла. А он залпом влил в себя бокал текилы, который Лилия с грустью проводила глазами.

.....

Возникла пауза. Разорвал ее странный, пронзительный звук, будто где-то в квадрате неба над рестораном лопнула струна или на чердаке завыл ветер. Свет погас, опять зажегся, замигал, как бывает при сильном ветре, лампочки стали гореть в полнакала. Я почувствовал боль в ушах, будто машина въехала высоко в горы или резко взлетел самолет. Продолжалось это минуту, может, две.

— О господи, Кен появился... — промолвила Лилия.

Лицо ее помертвело.

— Вам плохо? Вы просто устали. Почудилось...

— Нет! Это он, Кен, я его видела! Он светился в темноте, вон там, я сразу его узнала. Он погрозил мне пальцем и исчез...

Свет между тем загорелся в полную силу и больше не мигал.

Все притихли или просто охрипли от споров, устали, напились и начали расходиться на ночлег.

— Внимание! — крикнул на весь зал адвокат Робинсон. — Завтра собираемся в десять утра в лобби! Мы взяли на прокат катер и едем на остров.

Молодые ушли под ручку. К чести Хари он держался на ногах лучше меня.

— Простыню утром проверять не будем, — острил им вслед покачивающийся Родриго.

Белый его пиджак был залит на животе красным вином.

Как ведет себя девяностосемилетняя женщина в постели, рассказать не могу. Хари — человек интеллигентный и молчал, переводчик под кроватью им не понадобился, а выдумывать мне трудно из-за отсутствия личного опыта в таком альянсе.

.....

Около двух часов ночи (по-американски — «около двух часов утра») Лера на себе втащила в номер человека, ноги которого волочились по полу, цепляясь за ковровые дорожки. Кажется, это был я. Она сняла с меня один ботинок и поставила на тумбочку.

— Другой могу снять сам! — гордо заявил я, но ботинок потерялся где-то по дороге. Накрытый простыней с головой, я мгновенно уснул.

11.

Все спали мало. Предстоящее путешествие подняло нас на ноги спозаранок.

Утро, солнечное и прохладное, началось с пресс-конференции. В лобби молодые ребята в оранжевых майках разматывали кабели и балагурили. Это местное телевидение прослышало о событии и притащилось со всей своей амуницией.

Загорелись софиты. Телекамера прошла по Лилии, усаженной продюсером в кресло, снизу доверху. Мадам Бурбон в ярко красном платье выглядела весьма молодой женщиной, ну, может, слегка уставшей.

Она заговорила, и я начал было переводить, забыв, что язык-то здесь испанский. На помощь пришел Родриго — не зря его учили то ли в Томске, то ли в Омске.

— Это заблуждение, — заявила Лилия, — что мужчина произвел женщину из своего ребра. Бог просто пошутил. На самом деле, и это известно всем людям старше шести лет, что женщина произвела мужчину, и вовсе не из ребра, а из совсем другого места.

За кадром беззвучно смеялись телевизионщики. Похоже, она собирается в теоретики к феминисткам, подумалось мне.

— В тридцать лет, — продолжала она, глядя в камеру, — я чувствовала себя старухой. Глядела на себя в зеркало и считала, что жизнь кончена. А теперь мне девяносто семь, и жизнь, хотя и с помехами, продолжается. В отличие от неповоротливого мужчины, женщина отряхивается, и может это делать много раз.

— Вы, Лилия, не хотели бы написать книгу «Секреты побед над мужчинами»? — спросила Дженифер. — Американская публика о-бо-жа-ет такие штучки. Будет бестселлер, миллионный тираж...

— Рассказать мои секреты всем?! — изумилась Лилия. — Да вы что?! Во второй молодости я стала более эгоистичной. Эгоист, говорят, — человек, который любит себя больше, чем другие эгоисты. Вслух я говорю глупости. А секреты побед над мужчинами — как марка моих духов: они уйдут из жизни вместе со мной. Впрочем, в тот мир я пока не собираюсь. У меня, вы знаете, начинается новая жизнь...

Уж не знаю, что понимали, глядя на Лилию, мексиканские телезрители, но собравшиеся в холле гостиницы «Ла Асьенда» зеваки не расходились.

Камера повернулась к Харе, с трудом втиснутому в узкое кресло рядом с Лилией.

Адвокат Чарли Робинсон представил его почтенной публике:

— Перед вами мистер Лейапайдер-дер-дер... Наконец-то я научился правильно произносить его имя! Он — отважный русский Колумб, первооткрыватель нового острова в долине Рио-Гранде-Браво.

.....

Харитон Лапидар скромно склонил голову и до-
бавил, показав пальцем сперва на одного адвоката, по-
том на другого:

— Мистер Чарли Робинсон будет у нас министром
юстиции, а мистер Тони Гобетти — генеральным про-
курором.

Чарли усмехнулся, а Лиззи прижалась к нему, до-
вольная такой карьерой своего бой-френда. При этом
она делала глазки похожему на Мastroяни Тони,
который ей тоже нравился.

— Слушай, братишка, что за система будет у тебя
в государстве? — спросил Родриго, подкопивший кое-
что в советском вузе.

— Возможно, республика, — немедленно отреагир-
ровал Харя. — Республика, в которой полная демок-
ратия установит свою абсолютную диктатуру.

Ничего себе формула — обтекаемая и мягкая, как
капля стеарина, да жестко, когда застынет.

— Никаких республик! — немедленно отреагиро-
вала Лилия. — Желаю быть королевой.

— Ее Величество Лилия Первая, — тихо произнес
посторонний человек из толпы.

Но все услышали и загудели.

— Может, лучше все ж просто демократическая
республика? — робко спросил будущий министр юс-
тиции.

— Никаких демократий, этим я уже сыта по горло.
Мне нужен трон. Вот погодите, я еще принца родить
смогу.

— Но ведь вам скоро сто! — вырвалось у Родриго.

— Ну, и что такого? Вы думаете, зачем выходят
замуж? Продолжительность жизни в Америке растет,
через десять лет тут будет один миллион людей стар-
ше ста лет. Если медицина усовершенствуется, я ста-

.....

ну первой женщиной, которая родит в этом возрасте. Рожу наследника престола.

— А название? Как вашу страну называть?

— Очень просто! — Харя раскрыл карты: — Ведь новый остров между двух берегов реки. Стало быть, у нас будет Королевство Гранде-Браво.

— Социалистическое королевство, — уточнил адвокат Гобетти. — Иначе ничего не получится.

— Обязательно! — кивнула мадам Бурбон, улыбувшись.

— Социализм мы гарантируем, — сообразил Харя, поглядел на новую жену и театрально хлопнул себя по лбу. — Как же я забыл? Корона из чистого золота для моей супруги.

Он достал из кармана складную, как восточная тубетейка, золотую корону, которую купил, наверное, в магазине детских игрушек, надел Лилии на голову и опустил резиночку под подбородок.

Публика зааплодировала.

— Вам очень идет, — сказал я.

— Еще бы! — Лилия улыбнулась.

Золотая корона, в которой отражался свет софитов, чем-то напоминала набалдашник на самовар, что бы ставить заварной чайник.

Софиты погасли. Телевидение прекратило трансляцию. Мальчики в оранжевых майках стали сматывать провода. Случайная публика начала расходиться. Харю это не остановило. Он продолжал развивать проекты, теперь — для меня. Все, что хотел осуществить Харя, мне нравилось. Да, он стал фанатиком почище упомянутого мной трехнугото Варварцева. Но ведь идея реализуется. Остров-то уже есть!

— Вся эта волынка — мишура, — он доверительно сжал рукой мой локоть. — Мало кто способен мыс-

.....

лить масштабами человечества. Мой остров открывает широкие горизонты, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Я все обдумал. Это — ничейная территория. Помнишь драку с китайцами за остров Даманский на Амуре? Надеюсь, тут все обойдется мирно. Мы не Чечня и не Татария. Не внутри страны, так что логично отделиться. Деньги потекут быстро, начнем строить, искать нефть. Объявим порто-франко — свободную торговую зону, как в Одессе в девятнадцатом веке, пойдет торговля.

— А первоначальный капитал? — спросил я, вспомнив эти два слова, не известно откуда забредшие в мой лексикон.

Харя был готов к ответу.

— Один деловой американец уже обещал мне сто тысяч долларов на развитие с условием, что он будет премьер-министром. Понимаешь, все хотят быть министрами, никто не хочет копать землю. Где ж на всех зубов найти? Я сам буду премьер-министром и министром обороны. Пока у меня армия — семь человек, из них шесть генералов и один маршал. Приходится обещать друзьям высокие чины, иначе не соглашаются, а ведь армия остро необходима. Колочая проволока — мы с тобой знаем — прежде всего. Окружение-то кругом буржуазное!

Премьер-министр Королевства Гранде-Браво усмехнулся.

— Но ведь это остров, — возразил я. — Стало быть, кругом вода.

— И что? Моя новая жена, можно сказать, яхтсменка по предпоследнему мужу. Создадим флот.

— А какой мундир тебе шить как министру обороны? Маршалом будешь? Может, лучше генералиссимусом?

— Я уж думал, — признался Харя. — Но еще окончательно не решил. Мундир нужен. Пожалуй, голубой с широкой лентой через плечо — красной. И золотые эполеты.

— Лучше наоборот, — предложил я. — Мундир красный — лента голубая.

— Ни в коем случае! — возмутился он.

В общем, из-за цвета мундира мы чуть не поссорились. Но выяснилось, что я ему очень нужен.

— Зачем? — полюбопытствовал я осторожно.

— Пойми, — Харя обнял меня за плечи. — Экономике строить долго. Туризм? Ведь надо иметь что показывать, а там кроме мутной реки и принесенного мусора, пока ничего нету. Наши доходы потекут от образования иностранцев. Университет будет международным. Будешь читать лекции и писать книги о новой стране. Ну как?

— Мне нравится. Стану придворным летописцем, получу чин, а может, и голубой мундир с красной лентой.

— То-то же! Если справишься, назначу тебя президентом академии наук. Или министром культуры...

Вот в таких тонах мы рассуждали о недалеком будущем, когда к нам подключилась Лилия.

— Я всегда мечтала стать настоящей королевой!

Врет, конечно. Впрочем, по гороскопу она — число 7. Это целеустремленная женщина, идущая к цели через тернии. Только теперь я обратил внимание: на груди у нее болтались потускневшие медали лауреата сталинской и ленинской премий, орден Ленина и еще какие-то советские бляхи. Конечно, в Америке они продаются на любой толкучке (сам покупал по дешевке для студентов), но у нее-то ордена — за личные заслуги.

.....

— Есть у меня друг, замечательный художник, — вспомнил Харя. — Может писать полотна, как Рембрандт, как передвижники, как импрессионисты. Только по-своему у него не получается, — ведь он в СССР всю жизнь одного только Ленина рисовал, и с тех пор его фантазию прямо-таки парализовало.

— То, что мне нужно! — воскликнула Лилия. — Звони ему. Пускай срочно едет. Будет делать мои портреты. Для начала изобразит меня гарцующей на лошади — я недавно себя во сне видала. Если рисовал Ленина, то уж лошадь-то, небось, осилит?

Мне захотелось предложить что-нибудь умное, чтобы зазвучать содержательно в качестве будущего президента Академии наук Королевства Гранде-Браво, но абсолютно ничего не лезло в еще не отрезвевшую голову.

— А про меня забыли? — использовав паузу, влез в дебаты Гонзалез.

— Родриго, мальчик мой! — Лилия повернулась к нему. — Тебе ведь тоже должностенка положена.

— Откроем дом культуры. Вполне публичный, а, детка? — раз мечтался Родриго. — Девочек из России привезем. Вся Южная Америка бросится к нам... Но если хочешь удержаться у власти, — он ткнул Харю в грудь пальцем, — тебе, мужик, нужна тайная полиция. Лучше меня в шефы ее не найдешь!

— Надо подумать, — подрастерялся Харя.

И тут Родриго Гонзалез сделал ход конем.

— Я кое-что подготовил для собравшихся, — глаза его сверкнули. — Маленький сюрприз. У нас в Мексике это сделать — по problem.

Он открыл черный кейс с цифровыми замками и стал раздавать всем собравшимся маленькие зеленые книжки.

Развернул я врученную мне, увидел свою физиономию на фото и прочитал, что я, гражданин Королевства Гранде-Браво, являюсь подданным Ее Величества Королевы Лилии Первой. Печать в паспорте, удостоверявшая бесспорность данного факта, была с королевским гербом, который представлял собой профиль королевы Лилии в короне, заключенный в лавровый венок.

— Все присутствующие, — объявил шеф тайной полиции, — могут свободно приезжать в Королевство Гранде-Браво по этому паспорту без виз. Визовый налог платится на месте.

Он дал команду двум работягам, и те стали поднимать алое полотно на стену. Вскоре гостиница «Ла Асьенда» украсилась лозунгом:

**Да здравствует Лилия Первая —
мать ее Королевства Гранде-Браво!**

Оркестр из ресторана заиграл гимн Королевства Гранде-Браво. Это был знаменитый мексиканский шлягер. Все начали вставать. Взоры обратились к Лилии.

— Да здравствует королева Лилия Первая! — крикнул Родриго. — Ура!

— Ура-а-а! — закричали все, кто был в лобби, включая портье.

Закричали так, что хрустальные бляшки на люстре в центре зала задребезжали.

— Ура-а-а-а-а-а-а-а! — заорал я.

— Ты кому кричишь «ура»? — спросила Лера. — Дай поспать еще хоть полчаса.

.....

12.

Проснувшись, я узрел на тумбочке ботинок. Осталось найти второй. Он ждал меня в коридоре, причем начищенный — портье нашел его и притащил.

В щель под дверь кто-то подsunул две маленькие зеленые книжечки. Сон в руку. Опять я, на этот раз наяву, открыл свой новый паспорт, но теперь обнаружил опечатку. Вместо «являюсь подданным Ее Величества Королевы Гранде-Браво» там значилось «являюсь поддатым Ее Величества». Чему Родриго обучили в юности в Советском Союзе, то он и написал.

Жаль, что вместе с паспортом деньги нового королевства не подsunули, хотя бы несколько сот «бурбонов». Поменял бы бурбоны на доллары, доллары на рубли и разбогател.

Мы с Лерой спустились в лобби. За окнами хлестал дождь.

— Видите, что творится, — говорил портье уезжавшему постояльцу. — Радио передало: опять циклон идет с Атлантики.

Отель «Ла Асьенда» погрузился во мрак. Никаких пресс-конференций и не намечалось. Какое, к чертям собачьим, телевидение, — не все твердо передвигались на своих двоих после попойки. Кто дрых, кто (не буду указывать пальцем) хмуро бродил в поисках опохмелки, а кто суетливо накладывал салат в тарелку, спеша позавтракать, пока не закрылся буфет.

Два человека были одеты с иголочки, при галстуках и при портфелях. Сидя на креслах в лобби, они нетерпеливо поджидали третьего. Робинсон и Гобетти все давно обсудили и поглядывали то на входные

.....

двери, то на часы. Третий, то есть Родриго Гонзалез, не появлялся.

Шофер небольшого автобусика у подъезда открыл дверцы в ожидании клиентов, но из гостиницы никто носа не высовывал.

Родриго явился, но не с улицы, а со двора, где дождь поливал эстраду и столики. Сложил зонт, под которым немедленно образовалась лужа, и уселся в кресло напротив адвокатов — в новеньком джинсовом костюме и сапогах. Сияя улыбкой, он закурил и сделал заявление, красиво выпуская изо рта кольца дыма и любуясь ими.

— Все улажено, джентльмены, — он сделал паузу и двумя пальцами раздвинул усы, чтобы не лезли в рот. — Как и предполагалось, лучше это делать без свидетелей. Вот документ из муниципалитета, что собственность — размеры не проставлены — принадлежит супруге мистера Хари мадам Лилии Бурбон. Это ксерокопия, а оригинал пока что не выдают.

Воцарилась пауза. Оба адвоката углубились в чтение документа.

— Заковычка в том, господа, — продолжал между тем Родриго, — что нашим благодетелям необходимо посыпать пудры на ладошку.

— Посыпать чего? — переспросил Робинсон.

Гонзалез хохотнул.

— Здесь не Америка. Без пудры не оформить никакого дела.

Сперва дошло до Гобетти.

— Сколько ж еще они хотят пудры?

— Пятьдесят тысяч долларов... Чтобы кому надо дать наверх. Тут бюрократия не такая, как в Штатах и в России, но тоже будь здоров!

— Они что — спятили? — возмутился Робинсон.

.....

— Дайте мне закончить мысль, — сказал Родриго. — Хотят пятьдесят, но согласны на десять, если наличными и немедленно.

— Где он, этот пудрила?

— Тут, за углом.

— Я с ними потолкую! — Гобетти привстал с кресла.

— Испортите все дело! Они боятся американских адвокатов, как огня, и прислали за пудрой клерка. Доверьтесь мне, не то провалите все дело. Деньги-то ничтожные по сравнению с доходом от собственности. Не так ли?

Робинсон ждал решения Гобетти. Тот колебался.

Лиззи и Дженифер сидели на диване напротив, не вмешиваясь в дебаты мужчин.

— Рискнем! — глаза Гобетти азартно сверкнули, и он поднялся с кресла. — Я затеял дело, я и возьму десять тысяч в ближайшем банке.

— Разумно! — похвалил Родриго.

Гобетти взял у Гонзалеза зонтик и ушел.

Вернулся Тони минут через двадцать и вручил пухлый конвертик Родриго. Тот удовлетворенно кивнул и исчез. А вскоре явился обратно, торжествующе держа документ. За ним шел невысокого роста седой мексиканец.

— Его послали с нами, — сказал Родриго.

Чиновник в заношенной рубашке был тщательно выбрит, непрерывно улыбался и сносно говорил по-английски.

— Какого размера ваша земля? — спросил он.

Харя растерялся:

— В каком смысле?

— Ну, сколько акров?

— Пока не знаю, а что?

— Мне велено обмерить собственность и заполнить бланк для моего начальника. Он сказал, что никаких проблем не будет.

Путешественники начали выбираться на улицу и рассаживаться в автобусе. Королева Лилия Первая восседала на первом сиденье, рядом с дверью. Она выглядела не молодо, но бодро. Харя притащил из ресторана ящик с шампанским и закусками для пикника. Когда все уселись, впихнул ящик в проход автобуса и устроился на нем рядом с Лилией.

— Ну, молодые, как прошла первая брачная ночь? — крикнул Родригес, усевшийся сзади всех. — Народ желает знать правду.

— Попрошу без пошлостей, — отрезала Лилия.

Автобус тронулся. Позади него тащился грузовичок с прицепом, на котором покачивался катер.

Вскоре выбрались из Нуево Ларедо, и между кукурузных полей и апельсиновых садов кортеж двинулся к заветной цели.

Дождь внезапно перестал, вылезло солнце, шоссе клубилось паром. Справа над полем повисла радуга. Скоро жара стала одолевать всех. Кто-то спросил про кондиционер — его в старом автобусе не имелось.

Харя вытащил из кармана две карты, американскую и местную, купленную в гостиничном киоске, — он то и дело их сравнивал, ведь он ехал к острову противоположному берегу реки. Дорога номер Два (на сей раз с мексиканской стороны) петляла где-то неподалеку от реки, продвигаясь в сторону городка Коломбия.

Не доезжая Коломбии, Харя велел шоферу свернуть. Автобус сполз на проселок. За окном опоссум, испуганный шумом, вылез из травы и бросился наутек. Проехали табачное поле, началась голая земля.

Разговоры в автобусе стихли, все глазели по сторонам в поисках первопричины нашего вояжа. Вот деревенька Блаз-Мария, от нее должно быть близко, хотя впереди пока только голая земля, скользкая после дождя.

— Стоп, стоп! — крикнул Харя.

Он выскочил первым, зажег сигарету и нервно затянулся.

— Это последняя, Харитон, — строго предупредила Лилия. — Я хочу, чтобы ты жил долго.

— Согласен, — он послушно выбросил под куст всю пачку, но сигарету продолжал сосать.

Мадам Бурбон вытащила из сумочки свою золотую корону и надела на голову. Заметив это, Харя с усмешкой кивнул, хотя ему было не до короны.

Станный табор, будто киносъёмка неведомой ленты, двигался к реке. Праздничные одежды никак не соответствовали ни месту, ни времени. Впереди топал Харя с двумя картами в руках, позади Лилия в золотой короне. Пупсик бежал возле ее ног, скулил и норовил присесть отдохнуть.

Земля подсыхала, но там и сям блестели лужи. Горячий ветер затруднял дыхание. Никто не знал, сколько еще идти.

Харя то и дело останавливался, глядел то на солнце, то на оставшуюся сзади дорогу. За ним размеренно семенил чиновник. Адвокаты мужественно тащили свои тяжелые портфели. Запасливая Дженифер несла бутылку воды, из которой то и дело отпивала. Лиззи приуныла, видно было, что путешествие не по ней. Мы с Лерой жалели, что ввязались в это дело, но теперь никуда не денешься. Родриго топал в отдалении, насвистывал нечто, похожее на танго, и глазел по сторонам.

Хорошо хоть обещанный циклон то ли опаздывал, то ли переменял направление.

— Когда же? Ну когда же мы дойдем? — уже не первый раз спрашивала Дженифер. — Не то я рожу здесь...

— Не надо так шутить, — попросил Тони.

— Силы иссякли, — пожаловалась Лилия. — Я не готова идти пешком вокруг земного шара.

Пришлось остановиться. Гобетти оказался предусмотрительным. Он попросил подождать, бросил портфель коллеге Робинсону, убежал назад к автобусу и немного спустя вернулся, подталкивая впереди себя взятую в отеле складную инвалидную коляску. Коляска весело подпрыгивала на кочках. Но садиться в нее Лилия наотрез отказалась.

— Да я лучше умру стоя, чем буду ездить в инвалидной коляске!

Коляску покатали на всякий случай: не бросать же ее в чистом поле.

— Ой, взгляните туда! — промолвила Лиззи. — Парус!

Далеко, на невидимой еще реке, бесшумно подгоняемая ветром плыла яхта. Значит, река уже совсем близко.

— Еще чуть-чуть, — бурчал, пыхтя, Харя. — Где-то должен быть мой ориентир...

Вид у Хари был растерянный.

— Ну, где же ваше владение? — спросил чиновник.

Мы опять приостановились. Яхта, влекомая течением, стала крупней. Стало видно, как паруса кренятся под ветром то в одну, то в другую сторону.

— Скоро, скоро, — твердил Харя. — Перевалим через насыпь, и...

Мы прошагали еще сотню шагов, не больше.

— Вот он, мой остров! — вдруг заорал премьер-министр, указывая руками на излучину реки. — Вот!

— Слава Богу! — молвила королева. — Наконец-то!

Харя побежал. Остановился. Опять побежал. Снова остановился. Сел на землю.

Дальше двигаться было некуда: под ногами, подмывая берег, бурлили воронки мутной воды. Все глядели вперед, собравшись тесной кучкой вокруг Хари. А он застыл, устремив взгляд в никуда, потерял дар речи.

Посреди реки пролегла узкая бурая полоса земли. Вот он, остров! На гребне маячил флаг с надписью по-английски «Собственность Харри Лапидара», но древко накренилось, и мокрое полотнище затягивало течением.

Остров быстро размывала поднывавшая от ночного дождя вода, и он таял на глазах.

Мы стояли молча, как на похоронах. Песчаный гребень беззвучно опускался, тая в воде и становясь все уже. Наконец, его совсем слизали мелкие волны. Флаг — доска с белой Хариной простыней — еще несколько секунд держался из последних сил, верный своему долгу охранять порученную ему собственность, потом накренился и, наконец, обрушился в воду. Простыня надулась пузырем и поплыла — последнее воспоминание о славном Королевстве Гранде-Браво. Вскоре мутная пучина и пузырь проглотила.

Харя матерился.

— Что он говорит? — спросила Лиззи.

— В основном про твою маму, — догадался Тони.

— А он разве ее знает?

Никто Лиззи не ответил.

— Н-н-да-а-а! — протянул адвокат Робинсон. — Откровенно говоря, я это подозревал...

— Подозревал и молчал?! — возмутился адвокат Гобетти.

— У меня изначально было плохое предчувствие, — мрачно продолжал Робинсон. — Я убедил себя закрыть глаза на то, что клиентка Лилия Бурбон — из штата Калифорния. И вот тебе на...

— При чем тут Калифорния? — удивился Гобетти.

— Как же! Калифорния по официальной нумерации — 31-й штат США. Поменяй цифры местами — что получается?

— Тринадцать, — упавшим голосом произнес Гобетти. — Об этом я никогда не думал...

— Тринадцать, — шепотом повторил Робинсон и перекрестился. — Прости меня, Боже, за произнесение вслух этого слова.

— Трискайдекафоб ты! — обматерил его Тони.

— Да, я такой, — признался Чарли. — А ты, красавчик, без предрассудков — вот и хлебай теперь свою чашу дерьма!

— Зато повеселились, — возразил Гобетти. — Зря только катер в рент брали. Деньги-то они взяли вперед...

На противоположном, американском берегу к воде тихо подкатили две полицейские машины и замерли, упершись радиаторами в воду. Копы вылезли, стояли и, переговариваясь, наблюдали за происходящим на мексиканской стороне. Один из полицейских говорил по телефону. Немного погодя к ним прибавилась третья машина — дорожный патруль. Они по очереди рассматривали нас в бинокль.

— Что за глупость? — всплеснув руками, воскликнула Лилия, очень Харю обидев. — Королевство Гранде-Браво!

.....

— Почему — глупость? — растерянно спросил он, сидя на земле и сжав голову руками.

— Не соображаешь? Ведь сокращенно получается КГБ! И вообще!.. Мои надежды смыло...

Она стояла, плотно сжав губы, готовая зарыдать.

— Теперь я знаю, какого размера был ваш остров, — участливо произнес чиновник, до этого молчавший.

— Откуда? — спросил Робинсон.

— Его размер — тринадцать акров. Здесь поворот реки, и периодически намывается остров — всегда тринадцать акров земли. Потом вода поднимается и... Я тут служу двадцать четыре года...

— Эй, Родриго! — заорал что было мочи Робинсон.

— Го-го-го!.. — разнесло по округе эхо.

Никто не отозвался.

— Кто видел, куда подевался Родриго? — спохватился Гобетти. — Он-то, наверняка, тоже знал эти штучки!

Все стали оглядываться. Шеф тайной полиции королевства тайно исчез.

— Где деньги, сэр? — спросил Робинсон чиновника. — Где Родриго, этот сукин сын?!

— Кто это — Родриго? — испугался чиновник и побледнел. — Тот парень, что привел меня к вам? Он был где-то тут... Но я ничего не знаю, сэр! Меня послал с ним начальник канцелярии измерить остров — я пошел... Клянусь, никто мне никаких денег не давал!

А я подумал, что, вероятно, Родриго помчался в Южную Америку покупать президентское место в Нигилезии. Как CNN утром сообщило, там вчера умер президент, — я в номере по телевизору ухватил. Наверно, Родриго тоже это слышал и решил времени с нами, дураками, не терять.

К нашему автобусу подъехал джип с двумя мексиканскими полицейскими. Они вылезли, помахали своим коллегам на другом берегу, стали расспрашивать шофера.

— Надо возвращаться в отель, нечего здесь маячить! — решил Гобетти и добавил на великом и могучем итальянском: — *Finita la Commedia!**

Никто, однако, с места не двинулся. Харя, толстый и нескладный, поднялся с земли, стоял мрачнее тучи. Лилия, королевским жестом достав платок из рукава платья, вытерла у него на щеках грязь.

— Хей, мистер Харри! — крикнул Робинсон, взглянув на часы. — Не забудьте, что вам надо ехать напрямиком в тюрьму Форт-Бенд.

Фантомы оказывают на меня гипнотическое действие. Я все еще завороченно смотрел на воду, где по всем рассказам, так меня вдохновившим на разные противоречивые мысли, вчера и даже сегодня утром еще существовало великое Королевство Гранде-Браво.

Лилия пыталась сорвать с головы золотую корону, но она зацепилась в волосах. Мадам Бурбон в ярости рванула сильнее, и корона снялась вместе с париком.

Абсолютно лысой я не мог себе представить Ее Величество и в страшном сне. Она остервенело оторвала корону от волос и швырнула в реку. Парик напялила на старое место, но он сидел криво, как шапка-ушанка на ее когдатошнем пьяном любовнике Есенине.

Корона поплыла по воде, перевернулась, никак не хотела тонуть. Золотая фольга отлипла и превратилась в длинную извивающуюся полоску. Течение понесло ее. Попав в водоворот, золото блеснуло последний раз и растаяло в пучине.

* Представление окончено!

.....

Королева рыдала. Лера тоже заплакала — то ли от трагикомичности происходящего, то ли из женской солидарности.

Неожиданно Пупсик, который путался у всех под ногами, замер. Он потянул носом воздух, зарычал, скорей испуганно, чем угрожающе, потом заскулил.

— Ты чего, мой милый? — спросила, всхлипывая, хозяйка. — Помолчи. Сейчас не до тебя...

Но собака лаяла, прижимаясь к ее ногам, будто защищала свою хозяйку от кого-то.

— Лилия, darling! — раздался хриплый голос неизвестно откуда. — Пардон, что я умер... Don't be afraid of me!*

Мы все озирались, не понимая, что происходит.

— Господи, Кен! — зрачки у Лилии расширились. — Видите, это Кен! Он увидел, что мне плохо, и вернулся...

— Я хочу, ты был счастье. Делай топ-топ на меня...

Мы стояли, как парализованные, перестав дышать.

Яхта подплыла ближе к берегу, так что стала видна надпись на борту: «Lilie». Кен Стемп в белых шортах и майке с надписью «Non fat only!», держась одной рукой за мачту, сложил парус и бросил в воду якорь. Яхта повернулась носом против течения и замерла.

Невесомо ступая по воде в сандалиях на босу ногу, разведя руки, будто для объятий, Кен вышел на берег и медленно, торжественно шагал прямо к нам, трясая козлиной бородкой.

Солнце отражалось на его лысине, будто золотой нимб светился вокруг его черепа. Не дойдя до нас несколько шагов, Кен приостановился. Грудь его раз-

* Не бойся!

.....
далась, жадно, со свистом вбирая воздух, и он раскатисто запел:

— Lay on my breast your head so tender,
And to your love I will surrender,
Until the day begins anew,
And nightly shades envelop you...
Nightly shades enve-e-e-e-lop you.

Боже праведный! Мой бывший студент перевел-таки до конца этот русский романс:

Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день
И двинется ночная тень...
Двинется ночна-а-а-а-я тень.

Аплодисментов не последовало. Закончив пение, Кен еще приблизился. Когда же он ухитрился закончить перевод? Успел в этой жизни или уже в той, нам неизвестной?

Мы стояли возле Лилии, как замороженные. Впрочем, на нас Кен не обратил абсолютно никакого внимания. Только Лилия существовала для него, и расстояние между ним и ею медленно сокращалось. Зачем он явился? Может, вчера не просёк, что жена его нашла другого достойного джентльмена? А еще говорят, сверху все видно...

Но это, не буду сочинять, я обдумывал после, а тогда страх обуял, лишил дара мысли, сковал всех намертво.

Лицо Кена, прежде обветренное и загорелое, будто он был краснокожим, потеряло всякий цвет.

.....

Нос и губы едва угадывались по слабым контурам, словно набросанным на белой бумаге карандашом. Рот открывался, словно в немом кино, но звука не возникало. Тогда Кен напрягся изо всех сил. Две слезы, как нешлифованные алмазы, медленно выкатились из глаз и ползли по щекам. Внезапно, будто кто-то на небе включил микрофон, хриплый голос прорезался:

— Не надо меня бояться, Лилия! Делай топ-топ яхта! Ходишь туда... Там ты будешь настоящий король. Там хорошо!

Его русский заметно улучшился. Он заморгал, вроде как улыбнулся. Сделав плавный, невесомый шаг вперед, Кен протянул руки, чтобы обнять Лилию.

— Нет-нет! — истерически завопила она, отступила на шаг, споткнулась и упала на спину. — Нет! Ни за что!!

И лежа продолжала кричать:

— Туда — ни за что! Сгинь! Жить хочу...

Кен заморгал, взмахнул руками, как дирижер, начал глотать воздух и, задыхаясь, сделался таким прозрачным, что сквозь него виделись берег и река. Еще мгновение — и почивал он, безмятежный. Истинный рыцарь любви, обратился посреди веселого дня в ночную тень, испарился, будто и не возникал.

Большой парус яхты расправился на ветру, она сама снялась с якоря и, торжественно покачивая бортами-бортами, поплыла по течению.

Долго в полном молчании мы провожали ее глазами. Яхта стала уменьшаться в размерах, начала таять в тумане, наконец исчезла за горизонтом.

Никто не шелохнулся. Первым ожил Пупсик. Он поскулил немного, подергал мелкой дрожью и принялся лизать Лилии лицо.

Лера и я одновременно очнулись, бросились ее поднимать. Шикарное платье вывалилось в грязи, намокло. Королева повисла на нас, будто манекен. Она пришла в себя и опять зарыдала, долго не могла затихнуть. Краска стекала с лица и шеи, открывая морщины, глубокие, как каналы на Марсе. Одна полоска накладных ресниц отвалилась и, прилепившись мне на плечо, моргала на ветру. С трудом усадили Лилию в инвалидное кресло. Я укрыл ее своим пиджаком, — ту, которую бродяга Франсуа Вийон назвал *la belle heaulmière* — прекрасной оружейницей.

Нужно было ее успокаивать, говорить и повторять какие-то необходимые банальности, которые всегда произносят в подобных случаях, чтобы хоть как-то утешить, но, как на зло, подходящие слова испарились, ничего не шло на ум.

Все же я выдавил нечто утешительное.

— Вы что — психотерапевт? — всхлипывая, воскликнула она. — Первый раз в жизни я потерпела тотальное поражение. Хоть лезь в петлю...

— Зачем же в петлю, когда у вас новый муж да и Кен вам оставил целое состояние? Не вышло сейчас, после получите...

— Состояние?! — красные, заплаканные глаза ее сощурились. — Я молчала, надеясь на остров. Ведь на счету моего глупого покойного мужа — гроши. Всю жизнь он пахал и откладывал крохи. Как он только смеет звать меня к себе?!

— Может, любит? И звал потому, что там деньги не нужны?

— Откуда вы знаете? Деньги везде нужны.

— Не в деньгах, говорят, счастье...

— Да бросьте молоть чушь! Лучше бы вы помолчали!

.....

Придется умолкнуть. Не писать тринадцатую главу, в которой так хотелось еще кое-что рассказать о героине моего романа. Что же остается, если требует суперженщина, да еще великая поэтесса нашей эпохи, к тому же без пяти минут королева? Впрочем, королевства, увы, уже нет.

Как говаривал старина Вольтер, целую кончики ваших крыльев.

2001,
Дейвис, Калифорния

Виза
в позавчера

роман

Наше поколение было поставлено
перед войной. Я не знаю, почему;
возможно, за грехи наших отцов.

Уилла Кесер

1. Сирень и маэстро

Ж-ж-жих!.. Жж-ииииииии-хх!

В палисаднике обламывали сирень. Пригибали к земле верхушки, смачно, с хрустом рвали, а потом отпускали ветки, и они, пружинясь, уносились ввысь. Сиреневая эпидемия охватила всю деревню.

Хозяйка тетя Паша, еще не старая, но потерявшая женскую форму до такой степени, что не с чем даже сравнить, исходя злобой, кричала невидимым врагам из-за забора:

— Шчас с вилами выйду! Апосля еще сообщу куды следоваит!

Хруст стихал.

— Ишь, ломателей развелось! — прибавляла она уже без злобы. — Треск на всю Расею-матушку. Шли бы к сябе в сад и рвали, сколь душа просить. Дак нет жеж, суки, все на чужое зарятси...

Паша психовала, обещалась не спать ночь, дежурить с ружьем (которого у нее не было), изловить хулигана для примера и отвести к участковому. Тот, хотя и алкоголик, посадить кого следует умеет. Вот и пуцай срок дает. Другие по ерунде сидят, а тут ведь за дело. Паша грозила завести немецкую овчарку из питомника НКВД, где у нее работал зять.

— Любую падлу на части разырветь, — добавляла она, и неясно было, кто разорвет: зять или овчарка.

Злилась Паша потому, что она сама ломала ветки со своих кустов. Обернув их влажной тряпкой, вози-

.....

ла на городской вокзал продавать букеты встречающим и провожающим. Дармового труда и в колхозе было полно, а тут все ж деньги. Сирень за долгую дорогу вяла, стоять Паше приходилось долго, платили мало. Один дачник посоветовал ей не возить цветы, а покупать у тех, кого уже встретили, за полцены и продавать за полную цену спешащим.

— Я шо — спэкулятка какая! — возмутилась Паша и дело бросила.

Но чтобы другие ломали ее собственную сирень, этого она допустить по-прежнему не могла.

Между тем угрозы ломателей не пугали. Даже карапузята лет трех, проходя мимо Пашиного дома, просовывали руки сквозь щели в гнилом штакетнике, норовя достать веточку с цветами. Ж-ж-жи-их!

Сирень у тети Паши, на беду ей, была самая красивая в деревне. Кусты вымахали выше крыши хилей ее избы. Когда на окраине деревни около полуночи кончались танцуйки под баян, ухажеры, подталкивая своих подруг в ближайший лесок, по дороге обламывали у тети Паши огромные ветки, и запах сирени срабатывал в нужный момент безотказно. Знатоки поговаривали, что в запахе кое-что для этого содержалось. Что-то расслабляющее первоначальную женскую неуступчивость. Из лесу долго потом доносились стоны и причитания, так что сторонний человек вполне мог решить, что там резвится леший.

Сирень сию особую, рассказывала Паша со слов своей помершей бабки, хозяин этой земли драгунский полковник Муров привез откуда-то с Востока, где русский офицер был почетным гостем в гареме одного шейха. С помощью этой волшебной сирени шейх якобы демонстрировал гостю любвеобильные воз-

.....

мжности той части гарема, которая обслуживала полковника.

Вернувшись на родину, барин решил перенять прогрессивные достижения Востока и оборудовал у себя в поместье помещение для гарема, обсадив его привезенными корешками особой сирени. Тетя Паша с гордостью рассказывала, что бабка ее была хороша собой и в том гареме имела честь потрудиться. Муров уже планировал пригласить в гости шейха, чтобы доказать ему, что и у нас в России не лыком шито и все радости жизни не хуже, да семнадцатый год помешал.

После революции дом Мурова крестьяне на радостях новой жизни сожгли, сам Муров исчез. Сирень же пустила на пепелище новые побеги и выжила. Пашин зять из собачьего питомника НКВД рассказывал, что Муров объявился недавно, написал из лагеря письмо товарищу Берии, что знает могучее средство для получения женской любви. Мурова по этому делу специально допрашивали, агенты даже приезжали в деревню за сиренью, и Берия лично проводил опыты. Муров долго писал эти письма, но потом ему посоветовали заткнуться, потому что товарищ Берия сказал: «Лучше НКВД средства нет и быть не может».

— Стала сирень народная, то есть таперича моя, — разъясняла тетя Паша политику партии большевиков. — Моя! А вся округа зарится. Нюхали бы и шли бы, нанюхавшись, швориться в лесок. Так бы и не жалко, а они...

Хорошо, что полковника не выпустили, считала тетя Паша. Из несгоревших бревен муровского дома Пашин мужик собрал эту кособокую избу. Вернись барин, он бы еще бревна назад потребовал. Часть дома

.....

Паша вот уже третье лето сдавала, и жили у нее дачники по фамилии Немцы. Папа немец, мама немец, и дочка немец, и сын немец.

Вообще-то они были русские. Дедушка приехал из тамбовской деревни Немцы, где и ударение-то падало на последний слог. Но, посудите сами, господа-товарищи: кто за пределами деревни станет произносить слово «неме́ц» с отодвинутым в конец ударением? С этим пришлось смириться. А если так, кто будет числить человека русским, татариним или алеутом, если у него фамилия немец? Ну и коли ты с такой фамилией все-таки не немец, то кто?

Ж-ж-ж-их!

Чуть свет Олег мгновенно просыпался от хруста ветки, которая ударялась о стену дома и возвращалась на свое место. За этой самой стеной Олег спал. Он испуганно вскакивал, выглядывал в окно, но в черноте ничего не было видно. Сирень и днем-то не пропускала света. На улице слышался женский визг и шепот.

В ту ночь мать тоже проснулась от треска и сказала отцу:

— Не доживет сирень до воскресенья, ой, не доживет!..

Месяца не прошло, как Немцы переехали на дачу. Отец ночевал в городе. От деревни до станции был час ходу полями, да на поезде езды час, да в городе от вокзала трамваем немного, а в случае перебоя с электричеством, когда трамвай не ходил, еще час пёхом. Приезжал отец в субботу вечером. По такому случаю мать разрешала Олегу во второй половине дня не играть на скрипке, и это была радость. Они с Люськой встречали отца на околице, по очереди раскачиваясь на железном сиденье ржавой, вросшей в землю кол-

.....

хозной косилки. Паша уверяла, что косилку эту презжал торжественно вручать колхозу представитель партии большевиков по личному приказу Ленина.

— Вот только фамиль ниhto не упомянул, — сказывала Паша Олегову отцу. — То ли Дярьжиньской, то ли Мянжиньской, в общем, кажись, Ланачарьской. Одним словом, из НКВД от Ленина.

— Так ведь, когда колхозы создавали, Ленин уже умер, — удивлялся отец, но Паша историю знала лучше.

— Умер, не умер, а косилку подарить велел. Потому ее наш председатель и бережет, а косим вручную.

Отец предпочитал в политическую дискуссию не углубляться. Вручную-то тоже мало кто косил на колхозном поле, все работали на своих огородах, добывая себе прокорм, хотя за невыход в поле председатель грозил срезать в доме лампочку Ильича. Косилка, хотя и ржавела, но стала, так сказать, элементом культуры. По вечерам, во время танцев, на железном ее сиденье располагался баянист, и косилка оказывалась в центре вытопанной в траве танцплощадки.

Возвращаясь из города, отец обычно появлялся на тропинке, что зигзагами выползала из оврага и шла лугом, усеянным коровьими лепешками и жесткой, с васильками, травой, которая не привлекала даже немолодую Пашину козу Зорьку. Паша старалась привязывать Зорьку на виду, чтобы коза сама спускалась в овраг на веревке за сочной травой. Но Зорька не желала становиться горной козой, лазить ей не нравилось, и ее недовольное блеяние было похоже на нытье.

Поджидая отца, Олег убежал вниз, к болоту, и приносил козе травы и свежих веток. Люська кормила ее из рук, а Олег на велосипеде описывал вокруг них кольца и восьмерки. Зорька молчала, пока справля-

.....

лась с едой, а после снова начинала скулить, почти как собака. Ни накормить, ни развеселить ее было невозможно. Люська и Олег переживали Зорькину неволю, но мгновенно забывали о козе, едва замечали на другой стороне оврага отца. Они мчались ему навстречу: Люська — бегом, Олег — изо всех сил нажимая на педали.

— Тихо, тихо же! — всегда кричал отец Олегу снизу и пыхтя поднимался по тропе из оврага. — Псих ненормальный, свалишься ведь!

— А нормальные психи бывают? — спрашивал Олег, подкатывая и начиная совершать обороты вокруг отца.

— Бывают, — парировал отец. — Вот Люська — нормальный псих, а ты?..

И в этот раз отец шагал, тяжело нагруженный: он получил зарплату, а завтра праздник. Дачный муж, он тащил две огромные сумки и — Олег сразу заметил это — настоящую бамбуковую удочку. Не забыл, выполнил обещание. Теперь уж точно они будут ловить рыбу, когда отец пойдет в отпуск. Из сумки торчали подарки всем: и Олегу, и Люське, и матери.

Пятнадцатилетие родительской свадьбы приходилось на среду. Отец с матерью засуетились, стали готовиться, запасать продукты, хотя никогда раньше этого дня не праздновали. Обед решили устроить в воскресенье. Пускай гости приедут утром, искупаются в речке, сходят в лес и вообще отдохнут от городской духоты и сутолоки.

— На столе густо не будет, но сиренью, сиренью зато надышитесь вволю! — обещал отец, приглашая родню и друзей. — И еще с собой нарвете. У нашей хозяйки сирень — крупнейшая во всей деревне. Не верите — сами убедитесь!..

.....

Прыткая Люська оказалась проворнее и первой добежала до отца. Она остановилась, ждала, пока отец ее обнимет. Он не мог этого сделать, мешали сумки. Тут подъехал, крутя что есть мочи педали, Олег. Отец поставил на траву сумки, портфель, положил удочку и обнял детей, обоих сразу.

— По-моему, за неделю ты-таки подросла, — сказал отец Люське. — Скоро меня догонишь, а?..

Люська только хмыкнула. Она просто рвалась вырасти, чтобы пойти к косилке на танцы, но это ей никак не удавалось. Тринадцати, которые у нее были, и то не дашь. А глаз на нее прохожие уже клали, и она по этой части соображала что-то, хотя и неизвестно, что.

— Ну, гуляки-именинники, как дела? Мать готовится? А вы меня ждали? И правильно!

Это было очень удобное для Олега и Люськи семейное соображение Немцев: во все семейные праздники считались именинниками дети. Отец нагнулся, порылся в сумке, вынул коробку и протянул дочери. Люська молча взяла и отошла в сторону. Вдруг щеки ее вспыхнули: она вынула новенькие коричневые туфли на каблучке.

— А мне? — вежливо спросил Олег.

Он давно заметил свой подарок, но ждал.

— Тебе вот, — отец указал на складную удочку. — И еще...

Олег бросил велосипед и схватил удилище. А когда повернулся, отец протягивал ему пакет. Олег тут же разорвал его. Там был набор поплавков, крючков, блесен.

— Во-о-о! — заорал Олег так, что Зорька шарахнулась в сторону и заблеяла.

Перестав BLEЯТЬ, она испуганно глазела на людей. Люська присела на траву, ласково погладила новые туфли, с жаром поцеловала их и сразу надела на гряз-

.....

ные босые ноги. Она тут же прогулялась в туфлях перед отцом.

— Ну и походка! Ты же девочка из хорошей семьи. Спроси у мамы, как вертеть...

Он не договорил, чем.

Олег пересчитывал крючки и блесны.

— А мне-е-ее, — сказала Зорька, перестав жевать траву.

Никто не обратил на нее внимания. Олег, усевшись на велосипед, поехал впереди, держа в одной руке удилище. Перед ним бежала длинная тень. Тень подпрыгивала на буграх, металась, будто стремилась оторваться от велосипеда и умчаться вдаль.

Сестра сняла туфли, чтобы их не пачкать, обтерла с них рукой пыль и брела босиком сзади, не отрывая взгляда от туфель. Она обдумывала, как бы надеть вечером туфли незаметно, чтобы не догадалась мать.

Мать уже бежала им навстречу. Распахнутая калитка, кусты сирени в палисаднике, крынки, просыхающие на заборе, и лицо матери, радостное и возбужденное, — все багровело в лучах заходящего солнца. Солнце висело совсем низко над оврагом, тяжелое, готовое вот-вот придавить, подмять под себя луг, деревню, кусты сирени, всех людей и даже козу Зорьку. Никогда такого тяжелого заката Олег не видел — ни до, ни даже потом, когда стал взрослым и навидался всякого.

Пока мать суетилась с ужином, отец не торопясь разжигал во дворе, возле террасы, самовар. Самоваров бок горел на солнце, будто вот-вот расплавится. Олег мотался вокруг отца на велосипеде.

— Не мешай отцу, Оля! — кричала мать с террасы.

— Он не Оля, он — Олег, мы же договорились! — возражал отец, кашляя от дыма. — Надо все же было назвать его Францем, в честь Шуберта.

— Этого только не хватало, чтобы еще больше дразнили. Мало ему быть Немцем.

— Зато ты не звала бы его Олей!

Отец не любил, когда мать звала сына женским именем. А она привыкла.

Смеркалось. Олег не хотел слезать с велосипеда, даже когда все уселись на террасе за стол. Чего спешить, если после ужина мать отправит спать? Но отец встал и привел сына за руку.

Они сидели в сумерках, не зажигая света, чтобы не налетели комары. Отец шутил, смеялся, стараясь подбодрить набегавшуюся за день мать. Из оврага выплывал и стлался по земле белесый туман. Он обволок крыльцо, хотел забраться на террасу, видно, не рискнул. Стало прохладно. Мотылек прилетел к теплу и сел на самовар. Но не удержался, ноги у него подкосились, и он упал в трубу на догорающие угли.

— Как скрипула? — вдруг строго спросил отец.

— Знаешь, совсем обленился, — мать смотрела на Олега. — Играет вместо четырех часов от силы два. Хоть веревкой его привязывай.

Чтобы не заострять конфликт, Олег решил промолчать. Позапрошлой осенью его стали водить в музыкальную школу, и учительница велела летом тоже играть на скрипке каждый день. Принудиловку и взрослым-то тяжело терпеть, а Олег от нее прямо-таки страдал.

— Прокрутишь способности педалями, — ворчала мать, — а еще мальчик из хорошей семьи.

— Ладно уж, завтра у нас праздник, — сказал Немец-старший. — С понедельника сын начнет играть по-серьезному. Верно? Всегда лучше начинать с понедельника.

Логика была сомнительная, но сегодня выгодная, и Олег охотно согласился. До понедельника было впереди целое воскресенье.

.....

— Быстрей! Ешьте быстрей! — поторапливала мать. — Вы у меня сегодня загуляли. А вставать рано: гости приедут.

Она соскучилась по отцу. Но и Олег тоже по нему соскучился, не хотел уходить спать. Одна Люська тайком поглядывала на лавку, где стояли ее новые туфли, и соображения теснились в ее головке, увитой черными колечками, которые она то и дело наматывала на пальцы. Запах сирени ее будоражил что ли? За стеной тяжело вздыхала, ворочаясь на топчане, хозяйка тетя Паша. В сарае, неподалеку от избы, обиженно жаловалась Зорька.

— Мм-мне-еее! — уныло повторяла она.

От всего этого: от темноты, прогорклого самоварного дымка, густого запаха сирени, от тумана, укутавшего сад, режущего уши комариного писка и смеха отца, — от всего этого было состояние такой таинственности, что замирало дыхание. Олегу казалось, вечер этот никогда не превратится в ночь, и не хотелось прервать его, уйти, лечь.

— Спать, спать, спать пора, — нудно твердила мать.

Если бы она знала, что сегодня у Люськи и Олега последний день детства, что сейчас они прощаются с ним. Если бы знала, разрешила бы посидеть хотя бы еще полчаса.

На улице заиграла гармошка. Кто-то прихлопывал ей в такт, ойкал и приплясывал. Люська ушла в комнату и подкралась к окну. Матери это не понравилось. Люська и так уже вчера бегала к косилке смотреть на танцы, и мать ходила туда за ней, угрожала, что приведет домой силой.

Мать переглянулась с отцом, взяла Олега за руку и, не слушая возражений, повела спать. Отец подошел к Люське. Он с ней лучше ладил. Обнял ее сбоку

.....

за плечи, стараясь не коснуться ставших в это лето весьма выпуклыми женских прелестей. Сказал, что ей теперь осталось совсем немножко подрасти — каких-нибудь три года, и тогда она сможет танцевать хоть целые дни и всю жизнь. Люська вздохнула.

— Ничего вы не понимаете! Через три года я уже старухой буду. Кто меня выберет?

Она обиженно повела плечами и отправилась в постель прислушиваться к шепоту парочек возле сиреневых кустов.

Олег долго ворочался, глядел на удочку, стоящую в углу, и уже засыпал, когда над ним за стеной раздалось знакомое: ж-ж-жих! ж-ж-ж-и-их!.. Деревенские дарили тети Пашину сирень своим подругам перед прогулкой в темный лес. Под эту музыку Олег заснул.

Утром Немец-младший проснулся от птичьего чириканья. Первое, что он увидел, была скрипка-четвертушка на гвозде над кроватью. Люська у противоположной стены еще сладко спала. За окном скворцы старались усесться поудобнее в тени сирени и, ссорясь, обсуждали свои насущные заботы. Солнце быстро поднималось. Олег сбегал к речке поплескаться на золотом песке, а когда вернулся, подготовка к гостям была в полном разгаре. Мать в спешке громыхала посудой и колдовала над керосинкой, на которой стояла закопченная чудо-печка. Керосинка коптила, но два румяных сдобных колеса уже красовались на столе, допекался третий.

— Как ты думаешь, сколько народу приедет? — в который раз спрашивала мать отца. — Сколько твоих и сколько моих?

«Твои» — это была отцовская родня, «мои» — ма-терина.

.....

— Человек двадцать, если не больше, весь интернационал, — отвечал он. — Да нас четверо, да представитель простого народа.

Представитель простого народа тетя Паша тем временем принесла посуду, ножи, вилки, и мать велела Олегу раскладывать их по столу, на террасе. Олег считал вслух.

— Вообще-то, — заметил отец, — ты бы лучше поиграл часок, пока никого нет. Пальцы надо ежедневно разминать!

— Сам сказал, с понедельника, — возразил Олег.

Отцу крыть было нечем. Он отнес на ледник сумку с бутылками водки и вина и решил заранее нарубить сухих сосновых щепок для самовара, в добавок к собранным шишкам. Он ловко орудовал топориком, и гора щепок быстро росла.

Подоив Зорьку, тетя Паша принесла крынку с молоком, положила на плечо коромысло, захватила ведра и отправилась к колодцу. Олег скатил с террасы велосипед и поехал вслед за ней. Колодец был возле соседней избы. Окна в той избе были распахнуты, и сквозняк выдувал наружу занавески. Они походили на паруса. Олег стал объезжать кольцами вокруг колодца, поднимая пыль, пока тетя Паша его не отогнала. Она набрала одно ведро, спустила второе и стала поднимать. Ворот ныл. Паша зачерпнула ладонью воды из ведра и полила ось, чтобы та не скрипела.

В избе кто-то громко включил радио. Ожив, оно закричало, начав с полуслова, непонятно о чем. Тетя Паша повернула голову и прислушалась. Олег тоже послушал, но ничего не понял и поехал опять вокруг колодца. Тут он увидел, что тетя Паша отпустила рукоять ворот. Ведро, полное воды, с грохотом ударяя по бревнам сруба, бешено помчалось вниз. Забыв про полное ведро и

коромысло на траве, Паша побежала домой. Косынка у нее сбилась, волосы разметались по плечам. Не понимая, что произошло, Олег помчался вслед за ней.

Паша остановилась, отшвырнув калитку. Задетые калиткой лопухи удивленно покачали огромными листьями. Глотнув воздуха, Паша смотрела то на мать, возившуюся у керосинки с чудо-печкой, то на отца, который орудовал топориком, рубя щепу. Калитка вернулась обратно, скрипнула, и мать повернула голову.

— Чего, тетя Паша? Никак гости наши уже надвигаются?

Паша словно лишилась языка.

— Ты что это? — с тревогой переспросила мать. — Лица на тебе нет...

— Во... — выдохнула Паша, зыркнув глазами, и горло у нее перехватило.

Казалось, она застонала, готова была упасть, но совладала с собой.

— Вой...на! — договорила наконец она.

— Игра, небось, военная, — проговорил отец, не поворачивая головы. — А ты испугалась... Смешно!

Он все еще тыкал топориком в чурки. Но уже не так уверенно.

— Война ведь, а... Война же! — твердила тетя Паша, потеряв над собой контроль. — Ой же война, бабоньки-и-и. Ой!..

— Мама! — завизжала Люська и бросилась на шею матери.

Отец поднялся с травы, бросил топорик. С лица его медленно сходила улыбка. Он стал бледным.

— Кто сказал?

— Радио, кто ж еще такое скажет? — к тете Паше вдруг вернулся голос и рассудок.

— Да с кем война-то? — недоверчиво спросил отец.

.....

Тетя Паша, вдруг прозревшая, уставилась на него.
— Как это с кем? С вами, с немцами!
— Да ты что, тетя Паш! — возмутился отец.
— Я что? Мольтов жых объявил: херманцы напали. Говорить, мол, спасать надо товарища Сталина, а то его перьвым убьют. А убьют, хто же нас защитить?

В соседнем доме завыла женщина, потом еще одна, начали кричать дети, залаяли собаки.

— Чего же мы стоим тут? — спросил отец. — Надо...

Он замолчал. Олег удивился, что даже отец не знает, как быть, если война. Отец напряженно глядел в небо, будто силился прочитать там что-то очень важное. Словно там было написано, что до последнего вздоха теперь ему осталось два месяца и четыре дня. И матери ровно столько же, чтобы стать вдовой.

Собирались с дачи судорожно и нелепо. Отец вынул из сумки продукты и оставил на столе, в сумку и два чемодана мать, стиснув зубы, укладывала пожитки. Отец снял с гвоздя скрипку и протянул Олегу:

— Держи-ка, маэстро!

— Гости не приехали вона почему, — рассудила тетя Паша. — Таперича бонбять. Сюды приедешь, а там твое имущество разбонбять. Жалко ведь имущество!

Люська стояла на крыльце, прижимая к груди новые туфли. Олег не хотел расставаться с удочкой и велосипедом.

— Может, лучше скрипку оставим, а велик возьмем? — осторожно предложил он.

Но отец рассудил, что пока придется велосипед оставить, ненадолго конечно, а скрипку нельзя. Война, не война, а упражняться надо. Олег, вздохнув, подчинился. Он не знал, радоваться или огорчаться. Беда взрослых на него не распространилась, а внезапный отъезд казался случайным и увлекательным приключением.

Пока они дособирали пожитки, Паша сбегала к колодцу за ведром и коромыслом. Второе ведро сорвалось с цепи и утонуло. Мать разрежала горячий пирог и всем дала по куску.

— А м-м-мне-е-ее! — кричала Зорька, которую не отвели пасться.

Паша вывела Зорьку из сарая и привязала во дворе возле картошки.

— Таперяча все одно, — причитала она, — пущай ботву ест, гори все синим пламенем.

Немцы молча несли к калитке чемоданы. Перед дорогой все присели.

— Не надо, ох, не надо было нам откладывать на воскресенье! — ни к кому не обращаясь, вдруг сказала мать. — Теперь когда соберемся?

— Погоди, образуется, — успокоил отец. — Наши их в два счета разгромят. На их территории. Те и пикнуть не успеют.

Он хотел сказать «немцы», но сказал «те».

— Ой ли! — произнесла мать. — Они готовились.

— А мы? Сталин тоже не спит. Недавно по радио говорили: он никогда не спит. Жаль только, что отпуск, небось, не дадут. А кончится все, тогда уж точно возьму отпуск, приедем сюда опять и будем с Олегом рыбу удить. Верно, тетя Паш?

— Можеть, и верно, — неохотно отозвалась она. — Мой-то с финской не возврателся, а нынче, можеть, и верно. Кто их знает, как повернуть... Прогресс нынче, в газетах писали, что таперя прогресс... Погодите, я вам букет на дорожку наломаю. Я мигом, мигом...

Она нагнула самый высокий куст сирени так, что старый ствол захрустел, и принялась безжалостно отдирать огромные ветки с ярко-фиолетовыми цветами. Немцы поставили вещи на землю, растерянно

.....

оглядываясь, ждали. Солнце стояло высоко, и грозди сирени от жары поникли, сжались.

— Не помогли пятицветники, — сказала вдруг мать.

Каждый день Олег с Люськой лазили между ветками, выискивая редкие цветки с пятью лепестками. Цветков-звездочек находили много. Найдя, Люська хихикала, а почему, Олег не понимал. Она клала цветок между ладонями и что-то шептала. Олег относил пятицветники матери. Мать всегда радовалась, говорила:

— Этот на счастье! И этот...

— Берите, во, чо там... — бурчала Паша, наваливая на мать огромный букетище. — Все одно — погибнет таперича сирень-то. Парней таперя в армию позабирают, хто ж девкам будеть ветки с такой высоты ломать? Сирень, коли не ломать, чахнуть. Как баба неломанная. Ломать их надо, сирень и баб, когда цветуть. А неломанные чахнуть. Тоскуютъ они по рукам!

— Чего ж тогда рвать не разрешала? — спросила мать безо всякого любопытства.

— Ох, сердешные! — всплеснула руками Паша. — Не разрешала? Злая была, что они тискаются, а я быляй. И потом... Это ж когда было-то? Еще до войны. А таперя... Как же ж вам будет-то? Ведь вы ж немцы, то есть таперя наши враги...

— Но это просто фамилия такая!

— У-у-у! Это еще хуже. Всем видать, как бельмо на носу. Ну, уж как будет-то... Накося вот, держи!

Паша вывалила второй огромный букет в руки Олега. Он растерянно обхватил одной рукой сирень, другой прижимал к животу обмотанную полотенцем скрипку. Гуськом они затопали по тропинке в сторону станции.

Пройдя несколько шагов, Олег обернулся. Паша стояла к ним спиной и яростно ломала ветки, одну за другой.

Жих! Жих! Ж-жж-иииииииии-ых!..

Она с остервенением швыряла их на землю, топтала ногами и выговаривала слова, которые Олег и позже, став взрослым, старался не употреблять при женщинах.

2. Солист без скрипки

Перед тем как надеть на Олега новую темно-синюю матроску с белым парусником на груди, мать долго терла сына мочалкой, стригла ногти на руках и на ногах.

— А на ногах зачем? — спросил он. — Ведь никто не увидит.

— На всякий случай, — объяснила она.

Мать ощупывала ему руки так, словно он родился с девятью пальцами или только что упал на камни и ободрал до крови ладони. Но все у него было пока что цело. Люська между тем хихикала. Она вообще не верила в человеческие таланты — ни в свой, ни в чужие.

Родители наряжались, будто шли в театр. Отец облачился в выходной синий костюм и завязал темно-красный галстук с косыми синими и белыми полосками, который явно душил его. Мать надела черное платье с кружевным воротником (в нем она Олега с отцом очень нравилась) и свои единственные парадные туфли на высоченнейших каблуках. Наконец сына заставили дважды высморкаться в отцовский платок, чтобы не пачкать его собственный, и повели. Люська осталась лежать на диване с книжкой.

.....

Она даже не попросила мать дать ей походить в туфлях на каблуках, как обычно делала раньше.

Происходило это года за два до войны. В полутемном коридоре двухэтажного особняка на Татарской улице в нервном ожидании экзамена собралось полным-полно детей и еще больше родителей. Некоторые читали объявление на стене: «Дети старше пяти лет по метрике в первый класс скрипки не принимаются». К Олегу это не относилось, а другие посетители качали головой, что-то ворчали и уводили детей несолоно хлебавши. От нечего делать отец и сын Немцы начали играть в ладошки, кто чью кроет.

— Вы с ума сошли! — зашептала мать, сердито глядя на отца. — Сейчас же прекратите! Отобьешь ребенку пальцы как раз перед проверкой.

— Немец есть? — отворив дверь, спросила строгая седая женщина с белым бантом под подбородком.

Все стали оглядываться.

— Тут, как же! — отреагировал отец.

— Свидетельство о рождении, пожалуйста!

Она скользнула глазами по метрике, проверила дату рождения и ушла обратно, жестом предложив войти. Отец подтолкнул Олега к двери, а сам остался и взял мать за руку. Олег сделал несколько шагов и, открыв рот, растерянно остановился у порога.

Женщина с белым бантом уселась за рояль. На блузке у нее ослепительно сверкала старинная серебряная брошь.

— Здравствуй, дружок! Значит, твоя фамилия Немец, а зовут Олег, так?

Олег послушно кивнул.

— Ты петть любишь?

Олег опять кивнул. Он с интересом разглядывал на груди у женщины брошь — в жизни таких не ви-

дел. Она поманила его к себе, взяла в свои ладони его ручонки и стала их вертеть, мять, примерять к своим. Потом что-то записала в тетрадку.

— Значит, петь любишь? Тогда спой песню, которая тебе нравится.

Знал Олег все песни, что тогда, перед войной, пели.

— Много славных девчат в коллективе, но ведь влюбишься только в одну! — заорал он.

Он очень старался: отец велел петь как можно громче. Но женщина зажмурилась, замахала руками.

— Хватит, хватит, голубчик! Достаточно! Теперь я сыграю, а потом ты простучишь ладошкой ритм по крышке рояля. Понял?

Чего ж тут не понять?

Она положила одну руку на клавиши рояля и проиграла короткую мелодию. Догадаться было проще простого: «Широка страна моя родная». Олег проба-рабанил. Женщина кивнула и записала что-то на бумажке. Брошь у нее на груди заколыхалась.

— Все! — сухо сказала она. — Можешь идти домой. Олег попал в объятия матери.

— Не забыл про «до свидания», сынок?

Пришлось вернуться. Олег снова открыл дверь и увидел: там сидит такой же мальчик в такой же матроске и ему так же мнут пальцы.

— До свиданья! — заорал Олег и хлопнул дверью.

Через несколько дней отец ввалился вечером в их комнатенку с таинственным свертком.

— Держи! Да не урони.

Сверток открывали торжественно. В нем оказалась скрипка — новенькая, пахнувшая деревом и лаком. Купить ее было нелегким делом. Олегу требовалась четвертушка, самая маленькая скрипка, какая только может быть. Кроме скрипки, в бумаге был еще смы-

чок, баночка с канифолью и пластмассовая подушечка под щеку — все, что нужно настоящему скрипачу.

Отец и мать переглядывались, наблюдая, как Олег примеряет скрипку к подбородку. Счастье прямо-таки струилось из глаз родителей. Перед сном в постели они размечтались вслух. Им виделось, что уже завтра по всему городу развешивают афиши: выступает лауреат всех конкурсов, какие только бывают, знаменитый скрипач Олег Немец и т.д. и т.п. Вот они скромно сидят в первом ряду, а их сын стоит посреди сцены. Зал в умилении утих, и скрипка в руках их сына оживает. Вот он кончил — в зале овация. Букеты цветов летят через их головы на сцену, и все такое прочее.

Одно только родителей беспокоило: как им самим себя вести? Мать считала, что нужно аплодировать вместе с залом, невзирая на то, что это их собственный сын, а отец был уверен, что лучше скромно сидеть, потупив глаза, и делать вид, что они ни при чем. Так делают все хорошо воспитанные люди. Ну, а когда их попросят на сцену, тогда они скромно выйдут и тоже будут кланяться.

Немцам везло. Учительница в музыкальной школе, та полная седая женщина с белым бантом и брошью, оказалась третьей скрипкой оркестра оперного театра и большой энтузиасткой поиска одаренных детей. Ее муж был в том же оркестре первой скрипкой, а сын — едва входившим в моду молодым дирижером, имя которого, если он приезжал из столицы, Немцы немедленно отыскивали в уличных афишах. Преподавательница с воспитанниками нянчилась, велела родителям привозить детей заниматься к ней домой. Немцы возили сына через весь город на колымаге-автобусе, чтобы Олег мог полчаса поводить перед учительницей смычком.

Годы спустя, сидя в оркестре, Олег Немец не раз задумывался, почему с такой страстью отец и мать хотели сделать из сына Паганини. Почему не Рембрандта, или Ньютона, или Лермонтова? Впрочем, Лермонтов — пример неудачный: его тоже учили в детстве играть именно на скрипке. Ну, еще понятно было бы, если б родители сами были музыкантами. В том случае заговорила бы наследственность, а тут?.. Упорство, с которым родители это делали, было и остается загадочным, мистикой.

Сразу после экзамена, едва раздавался телефонный звонок от знакомых, мать первым делом сообщила:

— Олега-то нашего взяли в музыкальную школу! Конечно, проверили и обнаружили способности. Пальцы у него специально для скрипки. Чувство ритма, а также аб-со-лют-ный слух. Экзамен он сдал блестяще, это точно. Теперь все зависит только от его трудолюбия.

И мать смотрела на Олега испытующим взором.

Сам Олег, хотя и радовался, но не ликовал. Сперва ему было интересно ходить в сопровождении матери в музыкальную школу, водить там смычком по струнам и гадать, откуда вылетают звуки. Но еще больше нравилось носить скрипку по улице. Некоторые прохожие на тебя оглядываются: гриф торчит из газеты. Олег специально так заворачивал, чтобы скрипку было видно.

Маленьких чехлов для скрипок в продаже не было. Выручила мать родственница тетя Полина. Муж ее химичил на заводе «Химик» и под полой вынес кусок серебристой ткани, похожей на клеенку, из которой делали аэростаты. Из этой ткани мать сама сшила чехол по размеру скрипки. Теперь, когда Олег

шел в музыкальную школу, на серебряный чехол стали оглядываться абсолютно все.

Скоро, однако, Немец-младший перестал разделять родительские восторги. Играть каждый день подолгу одни и те же гаммы надоело. Утром хотелось поваляться в постели, потом заняться игрушками. Только встанешь — мать сразу спешит напомнить:

— Про гаммы забыл? А переходы с одной струны на другую, как велела учительница? Ты должен полчаса отыграть!

Он послушно начинал играть и тут раздавалось:

— Не так держишь скрипку! Посмотри на картинку в учебнике: не так изгибается кисть, когда водишь смычком!

Мать говорила авторитетно, будто всю жизнь только и делала, что учила детей играть на скрипке. Олег торопливо играл и в долгие паузы отдыхал, глядя на издевательски медленнодвигающиеся стрелки часов. Но минутную стрелку не заставляли играть на скрипке, и она не торопилась обогнуть половину циферблата.

Даже гулять во дворе стало теперь не так весело, как раньше. Не успеешь выйти — ждешь, что тебя вот-вот позовут домой. Подрагаться толком нельзя, из окна сразу крик:

— Пальцы! Ты повредишь себе пальцы!

Олег грустнел: все люди как люди, а он? Лучше бы он учился боксу. Всем во дворе было ясно, что это пригодится скорей, чем игра на скрипке.

— Ну как наш маэстро? — спрашивал отец, возвращаясь вечером домой. И видя кислую физиономию сына, иногда добавлял, обращаясь к матери. — Слушай, а может, не мучить его, если ребенок не хочет?

.....

— То есть?! — возмущалась мать. — Откуда ему знать, хочет он или нет? Бросит сейчас, а потом захочет, но будет поздно.

За обедом мать рассказывала отцу поучительные истории про знаменитых скрипачей.

— Вот, например, Ойстрах... И этого, как его, за-была только, как зовут, кажется, Бусю Гольдштейна насильно вытаскивали из-под кровати. Ремнем били, чтобы играл. Вот и результат: его знает весь мир!

Потом мать поворачивалась к Олегу.

— А тебя, Оля, не бьют, считают, что ты сам понимаешь, как это важно. Так что ты просто обязан играть добровольно!

Отец посмеивался, но в целом был солидарен с матерью. Они упорно не хотели понимать, как скучно и противно три раза в день по полчаса стоять возле стола и водить, водить, водить смычком туда-назад, туда-назад, туда-назад...

Первый концерт скрипача Олега Немца состоялся не в музыкальной школе, а в бомбоубежище. Город еще не бомбили, но воздушные тревоги начались.

Заслышав завывание сирены, мать наспех одела Олега, схватила другой рукой Люську и потащила детей в подвал соседнего большого дома. Они долго спускались по темной лестнице. В прелом помещении, с синей лампочкой на потолке, шелестел вентилятор. Вокруг стояли и сидели, кашляли, сопели, жевали, слышался детский плач. Где-то вверху продолжала завывать сирена воздушной тревоги.

— Играй! — сказала Олегу мать, едва отдышавшись. — Тебе же пора играть.

Прихватить с собой скрипку она, разумеется, не забыла.

.....

Олегу было неловко, но он послушно вынул из серебряного чехла инструмент, натер смычок канифолью, огляделся, стал настраивать струны. Все вокруг перестали возиться и разговаривать, даже детский плач утих. Головы повернулись к нему.

Юный Паганини начал играть упражнения, переходя со струны на струну, путаясь и начиная снова. Люди смотрели и слушали, будто в самом деле неожиданно оказались на концерте скрипача. Интеллигентная старушка, почти без волос, обмотанная шарфом, присела на пол, покачиваясь в ритм музыки. Олег перешел от упражнений к простенькой мелодии, которую он, хотя и неуверенно, уже мог сыграть.

— Тише, граждане, не толкайтесь! Здесь музыкант.

Некоторые из сидящих стали пробираться поближе, сидели на пол. Какой-то старичок по соседству проворчал:

— Нашли место, где музицировать...

Но на старичка зашикали. Казалось, люди забыли, что где-то наверху могут бомбить, или хотели забыть. Едва Олег закончил и опустил скрипку, раздались жидкие хлопки, которые представлялись матери оварцией, когда она рассказала про концерт в бомбоубежище отцу. Отец похлопал Олега по щеке. В тот день на западной окраине город в первый раз бомбили.

Матерей с детьми начали отправлять в эвакуацию. Отец принес из табачного киоска фанерный ящик из-под папирос «Беломорканал», который они за полтора часа набили пожитками.

— А скрипку возьмем? — внезапно спросил Олег. — Буду там играть в бомбоубежище. Мне понравилось.

Отец и мать переглянулись.

— Обязательно, — кивнул отец. — Не то как же ты вернешься к учительнице? Забудешь все...

На вокзале толпа гудела у только что поданного состава. Отец пытался обнять мать, а их толкали со всех сторон.

— Ишь, нашли место миловаться!

— Дайте дитяам в вагон пролезть.

— Вещей-то нахватали! — кричали дежурные на платформе с повязками. — Бросайте, людей не можем затолкать.

— Документы, — потребовала проводница.

Возле нее стоял человек в штатском. Мать протянула паспорт. Человек глянул на фото и матери в лицо.

— Немцы, значит, — сказал он, оглядывая их с некоей иронией, — а от немцев бежите. Оставались бы...

— Зачем это? — чуя подвох, тревожно спросила мать.

— А их подождать...

— Да мы русские, что вы! — голос у нее задрожал.
— Фамилия такая.

— Дети вписаны?

— Конечно, вписаны, а как же?

— Эвакосправка есть?

— Эвако — что? — не поняла мать.

— Документ на эвакуацию.

— Справка там, в паспорт вложена.

— Так... Пропустите их в вагон!

Мать высунулась из окна, и отец бережно передал ей скрипку.

— Пускай сын играет каждый день. Это очень важно, важно для будущего.

— Ладно, ладно, не волнуйся, себя береги, — отвечала мать, кусая губы, чтобы не разреветься.

Она будто чувствовала, что видятся они в этой жизни последний раз.

.....

— Смотрите, какой огромный чехол для скрипки! — крикнул Олег, показав пальцем в окно.

Над вокзалом в блеклом солнечном небе висел пухлый аэростат из такой же серебристой ткани, какую муж Полины вынес с завода на чехол для скрипки Олега.

Поезд дернул и пошел. Олег, мать, Люська закачались, протиснули головы в оконную щель и, глотая прокопченный паровозный дым, силились глядеть назад. Расталкивая людей, отец побежал за вагоном, но на платформе было тесно. Другие провожающие тоже пытались бежать, сбивали друг друга, началась давка. Лицо отца смешалось с другими, и он исчез. Таким он остался для Олега Немца навсегда: родным, растерянно улыбающимся, очень далеким и расплывчатым — похожим в толпе на всех других отцов.

Поезд гудел, набирая скорость, и платформа с отцом осталась далеко. Состав был смешанный, из товарных вагонов и пассажирских. Немцам досталась в общем вагоне роскошная полка на троих. Мать решила, что она положит детей валетом, а сама притулится в уголке и будет спать сидя. Олег, боясь забыть наказ отца, вдруг попросил:

— Я поиграю, мам! И так раз сегодня пропустил...

С удивлением мать вытащила ему из серебристого чехла скрипку. Вагон мотало. Отводя руку со смычком, Олег ударялся о полку, и звуки получались то прерывистые, дрожащие, то жалобные, заунывные. Сидевшие на соседних полках пораскрывали рты и водили глазами вслед за смычком. В проходе стали собираться зрители со всего вагона, даже больше народу, чем было в бомбоубежище.

Ехали медленно, безо всякого расписания, часами стояли на полустанках. На больших станциях мать

бегала за кипятком и хлебом, который выдавали по талонам. Вагоны то и дело перегоняли с пути на путь, и раз мать осталась бы на незнакомой станции, не начнись в этот момент бомбежка: состав остановили, и она успела добежать.

Мать с удивлением замечала, что в дороге Олег три раза в день играл упражнения и его не приходилось заставлять. Он играл. Ему нравилось, что зрители собираются в проходе слушать, хотя играл он одни и те же гаммы. Впрочем, были в вагоне и недовольные, и ворчащие.

— Совсем с ума посходили! — ища сочувствия, говорила всем проходящим хромая женщина средних лет, стуча клюкой об пол. — В туалете засор, а они на скрипке...

Никто не знал, куда они ехали шесть дней и шесть ночей. В маленьком уральском городке эшелон загнали в тупик и объявили, что поезд дальше не пойдет.

Охающие старухи в черном собирались на станции кучками глазеть на выковыренных. И впрямь это их слово было точней, чем чужое и непонятное эвакуированные. Уполномоченные с красными повязками на руках бегали со списками, распределяли по улицам, по домам. Это называлось уплотнением. Сердитые хозяева нехотя принимали к себе жить. Но народ русский к насилию приучен и давлению сверху поддается без особого сопротивления. Подчинялись люди нехотя, а после теплели, ссужали, кто керосинку, кто картошки, кто лишнюю подушку.

Немцев пристроили в комнате, довольно чистой, с окном, выходящим в огород. За перегородкой жила семья хозяина дома — шофера мясотреста. Мяса в городе, конечно, в помине не было, но трест имелся. Сперва мать страдала оттого, что кровать за стенкой скрипит вече-

ром, а потом шоферская жена встает, и в сенях журчит вода, но постепенно привыкла. Через несколько дней шофер узнал для матери, что в мясотресте требуется секретарь-машинистка. Мать пошла туда. Начальница мясотреста посмеялась над ее фамилией. Проверив анкету и позвонив куда-то, она сказала:

— Главное, что ты с образованием, а значит, грамотная.

И зачислила в штат.

Отец в каждом письме спрашивал, регулярно ли сын играет на скрипке. Мать в длинных письмах, которые она сочиняла, уложив детей спать, описывала отцу происшедшее чудо. Олег играет теперь больше, не приходится даже заставлять, ему самому нравится. Выходит, мы с тобой не ошиблись, у него действительно талант. Как только война кончится, сам увидишь. Играть-то маэстро играл, но учить его было некому. Олег остановился на гаммах, которые упрямо повторял двадцать раз в день, и двух примитивных мелодиях.

— Отведи меня в музыкальную школу, — просил он. — Папа сказал, чтобы я играл всю войну.

— Где ее взять, музыкальную школу? Нет ее здесь...

Оркестра или музыкантов в городке тоже не имелось. А если и были, мать не могла их разыскать. Говорили, была группа духовиков, которые подрабатывали, играя на похоронах, но всех их во главе с дирижером-пожарником позабирали на фронт. Однако на берегу пруда, недалеко от плотины, засаженной хилыми тополями, приютился домик, в котором за сто лет до войны по великой случайности родился известный всему миру композитор. Поскольку это было единственное в округе учреждение, имевшее отношение к музыке, в поисках учителя мать отправилась в домик на плотину.

.....

Дом, в котором родился великий композитор, был небольшой, с оконцами, выходящими в палисадник, и крылечком. В нем размещался мемориальный музей композитора.

Посетителей в музее не имелось, видно, не до этого людям было. Хранителем и директором музея оказался, согласно дощечке на двери, тов. Чупеев. Мать увидела бодрого старичка с усами, напоминающими Буденного, и трясущимися руками. Когда Чупеев хотел что-то сказать, он сперва облизывал усы языком, и они западали ему в рот, а со словами вываливались обратно. Глаза старика слезились и смотрели немного в разные стороны, как бы минуя собеседника.

Долго и сбивчиво мать объясняла ему цель своего визита, а он никак не мог понять, что к чему.

— Говорите громче, я плохо слышу! — то и дело требовал директор.

Мать повторила все сначала, и теперь он вроде бы сообразил.

— В городе нашем скрипачей нету, понимаете ли. А сам я рубал белых в нашей округе шашкой на скаку, а теперь вот на заслуженной пенсии. Но поскольку война, вышел по призыву, на культурный фронт...

Директор оторвал от газеты квадратик бумаги и стал скручивать сигарку из махорки, потом ловко высек огонь, ударив кусочком металла о камень, и прикурил от тлеющей веревки.

Мать закашлялась от дыма. Словами, ею произносимыми, руководил на расстоянии отец, которого в это время уже забрали в ополчение, и мать не отступала, не могла отступить.

— У меня муж на фронте. Он велел учить сына музыке. А вы не хотите помочь!

.....

— Сейчас фронт везде, — строго сказал Чупеев, поняв ее слова как упрек. — Однако же и я поставлен для охраны культурных завоеваний, а не просто так... И потом, матушка, я плохо слышу.

Не сдавалась мать:

— Раз вы единственный в этом городе, кто состоит при музыке, помогите! Мальчик — вундеркинд, понимаете?

— Вун дер... чего?

— Ну, талант. Что же нам делать? Скоро все кончится, мы вернемся домой, и снова будет музыкальная школа. А пока... Я ведь не бесплатно!

— Война идет, голубушка, — оправдывался старик. — Деньги роли не играют. А мальчика, конечно, жалко. Да... Что же делать? Ладно. Пускай приходит.

Мать прибежала домой радостная.

— Сынок, я все-таки нашла тебе учителя музыки. Нашла! Только играй ему громче, он немножечко глухой.

Ближе к вечеру Олег взял скрипку и отправился в музей за плотиной, к старичку. Музей был уже закрыт, Олег постучал в дверь.

— А ну, покажь скрипку! — попросил Чупеев, впустив Олега.

Маэстро огляделся. Внутри была полутьма, на стенах портреты в старинных рамах, на столах под стеклом разложены ноты. Старик с любопытством повертел скрипку в руках, окурив ее махоркой так, что из отверстий долго потом выходил дым. Не беря в руки смычка, директор попробовал струны большим пальцем, вернул скрипку и велел:

— Ладно. Не боги горшки обжигают. Настраивай, деточка!

И уселся в кресло, в котором девяносто пять лет назад восседал отец великого композитора, когда сам тот классик был в возрасте Олега и учился играть.

— Ля, — попросил Немец-младший.

— Чего? — не расслышал учитель музыки.

— Нажмите, пожалуйста, ля.

Старик послушно подошел к роялю, стоявшему в углу комнаты, вытер ладонью пыль с крышки и обтер ладонь о собственный зад. Он поднял крышку и одним пальцем проиграл гамму, от до до до, — единственное, что директор умел.

Олег уловил ля, быстро настроил скрипку, стоял, ждал.

— Ну-с, валяй, — старик выпустил клуб дыма. — Чего можешь воспроизвести?

Олег знал несколько пьес, которые умел играть по нотам. Ноты в суete отъезда взять забыли, — до них ли было, когда эвакуировались? От дыма Олег закашлялся, но поднял скрипку к подбородку.

— Упражнения могу для каждой струны и для всех... Еще могу этюды...

— А из готовых, однако же, произведений?

— Могу Бетховена «Сурок».

— «Сурок»? Что же? Давай твоего «Сурка».

Старик подошел сбоку, наклонил ухо поближе к скрипке и начал скручивать новую сигарку. Бетховенский «Сурок» Олегу нравился. Он напевал его, даже когда не играл.

По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною...

Сурка было жалко. Бездомный, забитый и голодный, бродил он с хозяином в поисках куска хлеба.

«Сурок», между прочим, сохранился в памяти Олега на всю жизнь, и сыну своему четверть века спустя Олег это напевал.

Немец-младший сыграл «Сурка» два раза подряд, начал третий раз и оборвал. Опустив скрипку, он стоял молча, только кашлял, глотая махорочный дым.

— Молодец! — похвалил Чупеев. — А песню «Священная война» знаешь?

— Знаю. Только сыграть не могу.

— Тогда спой. Только громче, а то я не слышу.

— Вставай, стр-р-рана огр-р-ромная, — запел Олег, — вставай на смер-р-ртный бой!

— Однако же и поешь ты тоже неплохо! — воскликнул старичок. — Вот и выучи к следующему разу, чтобы играть на скрипке «Священную войну». Еще хорошо бы «Интернационал». А то Сурок, Сурок... Сейчас война, драться надо!.. На сегодня хватит. Как разучишь, приходи. Мы с тобой вместе и споем!

Вообще-то Олег думал, что «Сурок» — тоже военная песня. Он уже повидал бездомных и голодных на вокзалах. Но спорить Немец не стал. Он застегнул серебристый чехол. Старичок попрощался с ним за руку, как со взрослым, и подтолкнул к двери.

Было начало осени. На улице стемнело. Навстречу с пруда дул холодноватый ветер, шевеля тополиными ветками и неся сухие листья. Фонари не горели. Кусок луны слабо мерцал над водой. Олег ускорила шаги, потом побежал домой. В том месте, где кончалась плотина, стоял ларек. До войны в нем, судя по надписи, продавали мороженое. Олег уже миновал ларек, когда его потянули в сторону за воротник. Не успел Олег сообразить в чем дело, как его схватили за плечи, развернули и прижали к стене ларька. Он обнимал двумя руками скрипку.

— Закурить не найдется?

— Да я не курю...

Их было человек пять, и старшие на две головы выше его. Они смотрели, прищурясь, хихикали, подталкивали друг друга плечами.

— Деньжата есть?

Денег у него тоже не было, но они и сами это выяснили, потому что облазили его карманы.

— Чего ж у ты есть? — спросил тот, который стоял напротив и был заправилой остальных.

Он ловко перекатывал папироску губами справа налево и обратно.

— Дай ему в глаз, Косой, и пусть катится, — предложил кто-то.

Так это, оказывается, Косой! Его боялся весь город. Это он отнимал у ребят хлеб, когда они, отстояв в очереди, бежали из магазина. Олег знал, что плакать в такой ситуации — последнее дело, но слезы сами полились то ли от беспомощности, то ли просто от страха.

Взгляд Косого остановился на серебристом чехле.

— Что за чемоданчик? Шкалик, взгляни!

Шкалик, маленький, юркий, вынырнул из-под Косого.

— Да это же Немец, выковыренный. Немец — фамилие у него такое. Фашист, значит, фриц...

— Здорово! — заржал Косой. — Значит, мы фашиста в плен взяли. Может, его повесить, а?

Все загалдели. Шкалик между тем ухватился за чехол. Олег прижимал к себе скрипку.

— Слышал приказ? — пропищал Шкалик. — Ну!

Сейчас отберут и тогда... Отец не простит этого матери, мать не простит Олегу, не переживет.

— Немецкая рожа у него, а ходит по русской земле!

.....

Косой лениво сделал шаг вперед и небрежно махнул кулаком. В нос Олегу не попал, удар пришелся по скуле, под глаз. Боль заставила думать быстрее. Еще не зная, что предпринять, Олег крепче сжал скрипку. Вдруг он, меньше всех ростом, резко присел на корточки, словно провалился вниз и, прижимая скрипку к животу, ринулся головой под ноги Косому. Тот подставил подножку, но Олег и так уже лежал на земле. Они не успели навалиться на него. Еще мгновение, и он вылез из круга на четвереньках, шмыгнув в тень, в кусты.

— Держи фашиста!

Это был голос Косого.

Его успокоили:

— Не бойсь! Далеко не уйдет.

Компания разбежалась прочесывать окрестность.

Олег лежал у ограды в сорняках, прижавшись к земле и накрыв собой скрипку. Руки, лицо, ноги обожгло крапивой, все загорелось, нестерпимая боль охватила тело.

Дружки Косого покружили, посвистели, переругиваясь, и снова собрались у ларька. Тогда Олег пополз. Он полз по-пластунски, как разведчики в кино. Не удалось, однако, скрыться.

— Вон он! — радостно заорал Шкалик.

Ватага сбежалась, окружила Немца плотным кольцом. Он поднялся, все еще обнимая скрипку обеими руками.

Две сильных руки развели Олегу локти. Шкалик выхватил скрипку и протянул ее Косому. Косой перекинул папироску из одного угла рта в другой и велел:

— Открой! Посмотри балалайку!

Шкалик начал отстегивать на чехле пуговицы. У него не получилось, и он стал просто отрывать их. Наконец чехол сполз, скрипка осталась раздетой.

— Тонкая штука! — удовлетворенно протянул Косой, с интересом вертя в руках инструмент. — Давай, фашист, сыграй! Послушаем!

Он протянул скрипку Олегу.

Тот взял инструмент, но отрицательно покачал головой:

— Я не умею, я только учусь.

Немец поднял с земли чехол и дрожащими руками попытался натянуть его на скрипку. Чехол у него вырвали и бросили в пыль.

— Мы желаем музыки, — осклабился Косой. — Верно я говорю?

Компания оживленно загудела.

— Играй, падло!

Косой поднес кулак к самому носу Олега.

— Чувствуешь, чем пахнет? Ха!

Все опять загоготали следом за ним.

Олег заплакал бы, но так горела кожа на лице, что слезы уже не могли течь или он их не чувствовал. Тут решение, близкое и соленое, как слезы, пришло к нему. Он ясно понял: другого не дано. Олег бросил скрипку на землю и наступил на нее ногой раз, потом другой, третий. Скрипка жалобно хрустнула. Одна струна загудела под подошвой и умолкла.

Несколько мгновений компания пребывала в неопределенности. Все глядели на Косого.

Первым всполошился Шкалик.

— Косой! Давай его утопим в пруду...

Олег рванулся в сторону. Но его ударили и держали за руки, чтобы не удрал.

— Атас! — крикнул кто-то.

По плотине шел военный патруль — трое рослых матросов в черных бушлатах с красными повязками

.....

на руках и с автоматами. Косой струхнул, но сделал вид, что потерял интерес.

— Отпустите его, он чокнутый! — сказал Косой.

Сам он повернулся и в мгновение исчез. Кто-то пнул Олега под зад ногой. Все они рассыпались в разные стороны по примеру атамана. Патруль медленно прошел мимо и растворился в темноте.

Постояв в одиночестве, Олег нагнулся, поднял с земли бывшую скрипку. Обломки фанеры висели на проволоке. Он аккуратно запихнул куски в серебряный чехол и медленно побрел домой.

Мать возилась на кухне. Увидав заплывшее от крапивы лицо сына и под глазом синяк, она обняла Олега, запричитала, заплакала. Он сказал, что подрался и все, больше ничего она выведать не могла.

Чехол он как ни в чем не бывало повесил на гвоздь.

Глаз стал тяжелым, не открывался. Лютая обида комкала сердце.

— Когда опять на урок, сын? — спросила из кухни мать.

— Через три дня, — ответил Олег.

Три дня он врал матери, возвращавшейся с работы, что играет по три раза в день, что разучивает песню «Священная война» и «Интернационал». Он хотел, чтобы мать не волновалась и не писала о случившемся отцу.

Над кроватью Олега висел чехол с останками скрипки. Люська неведомо как догадалась: брат рвануться к скрипке не успел, — она стащила с гвоздя чехол и открыла. Оттуда высыпалась деревянная труха и моток струн.

— Так я и думала, — философски протянула Люська.

Но Олега не выдала.

Ему казалось, мать радовалась, что он играет. А Олег то и дело думал о том моменте, когда она узнает, что скрипки больше не существует. Уж хоть бы она узнала скорей!

— Знаешь, Олег, — сказала вечером мать. — Сегодня у Люськи на плотине какие-то подонки хлеб отобрали. Хозяин взял топор, и мы с ним побежали, но там уже никого не было.

— Это Косой! Я знаю, Косой! — крикнул Олег и умолк.

— Мне соседка тоже сказала, что Косой. А что с твоей музыкой?

— Понимаешь, учитель велел тебе передать, что я очень талантливый. Ему меня просто нечему учить. Он сказал, из меня и так получится Паганини, может, даже Ойстрах. Но после войны.

Мать аж присела на стул и продолжала удивленно смотреть на сына.

— Боже, ты такой же чудак, как твой отец! Только... он мне никогда не врал.

Немец-младший взглянул на гвоздь над кроватью. Там было пусто.

— А скрипка? — спросил он.

— Боже ты мой, конечно, выбросила! — качнула головой мать. — Да что уж...

— Я ничего ей не говорила, — сказала на всякий случай Люська.

— Ма, а как ты узнала?

Мать сжала губы, чтобы не разреветься, что с ней часто случалось в последнее время. Она вынула из кармана резной обломок подпорки под струны.

— Это тебе на память.

— Где ты взяла?

— Утром, после того как ты подрался, на работу

.....

бежала. И вот, нашла на плотине. После войны купим тебе другую скрипку. Будешь писать отцу — об этом ни слова, ладно?

3. Коробка гуаши

Задолго до войны отец Олега купил коробку дорогих японских красок. Получилось это так.

Всю жизнь он мечтал стать художником, Немец-отец. Молодым носил этюды к художнику Грабарю, и тот его однажды похвалил. Отец пытался даже делать гравюры, как Фаворский. Судьба, видно, не складывалась. Стал отец ретушером в фотографии, а потом в издательстве. Там ретушеров требовалось все больше для исправления реальной жизни, которая в книгах становилась все лучше, все веселее. А мечта о живописи в душе отца не умерла. Тень несостоявшегося художника следовала за ним по пятам и однажды толкнула на нелепый поступок.

Отец шел по улице в центре, и на яркой витрине в торгсине (были когда-то такие магазины для торговли с иностранцами за валюту, а со своими гражданами — за натуральные золотые изделия) он увидел японские краски в серой картонной коробке. Коробка с синими иероглифами по бокам была открыта, в ней стояли двадцать четыре баночки с королевскими гербами на блестящих, никелированных крышках. Имея такую гуашь, это было ясно даже дилетанту, просто невозможно не стать художником. Пока отец стоял у витрины, он понял: упустишь такой случай — он может и не повториться.

Во что бы то ни стало коробка должна принадлежать ему.

Он сунулся было в дверь, обратившись к продащице, но та откровенно засмеялась. В торгсине на советские деньги ничего не продавали. Отец ушел ни с чем, сперва расстроился, но по дороге успокоился и смирился. Вечером рассказал это матери как шутку: полцарства не за коня — зачем ему конь? — а за краски. Мать отнеслась к этой шутке неожиданно серьезно.

— Постой! У меня же золотое колечко есть! Помнишь, бабка мне подарила, когда я с тобой познакомилась...

Бабушка была уверена, что, увидев кольцо из червонного золота, отец сразу женится на матери. Отец действительно женился. Правда, кольцо это увидел уже после свадьбы. Мать стеснялась его носить (тогда это, мягко говоря, не модно было в пролетарском государстве) и, ничего не сказав бабке, тихонько спрятала, а потом в суете просто про кольцо забыла.

Но когда мать поняла, что отцу необходимы японские краски, она, порывшись немного в вещах, отыскала спрятанное в старой сумочке кольцо, пролежавшее там несколько лет, и протянула ему. Отец замал руками, отказался.

— Да зачем оно нам? — воскликнула мать. — Безделушка старых времен и все. Кому сейчас придет в голову носить кольца? Разве что недобитой буржуазии, бывшим нэпманам. А краски нам жизненно нужны. Имея такие краски, будешь творить и станешь настоящим художником. Вот увидишь, тебя выставят в Третьяковке!

Мать ничего не понимала ни в красках, ни в живописи, но хорошо чувствовала движения души отца.

.....

Отец, поколебавшись, взял кольцо и отправился в торговлю.

Там приемщица лениво взяла лупу, рассмотрела клеймо на ободке, бросила кольцо на специальные весы и что-то записала в ведомость.

— На переплав, — сказала она и кинула кольцо в ящик, стоящий в сейфе. — Вы чего желаете купить?

— Мне бы краски, — попросил отец. — Во-он те, японские.

Она поставила перед ним на прилавок коробку с синими иероглифами на боковых стенках.

— Больше ничего?

— А сколько остается?

— Еще на кисточки хватит, — сказала она.

Такого счастья отец не ожидал. Пачка кисточек легла на коробку.

В дом отец внес коробку впереди себя на руках, торжественно, будто исполнял некий языческий ритуал. Лицо его сияло.

— Сколько же она стоит? — из простого любопытства спросила мать.

— Если узнаешь — разведешься, — ответил отец.

С тех пор как Олег Немец помнил себя, коробка стояла на этажерке под приемником. Трогать краски строго-настрого запрещалось. Всем друзьям и знакомым, которые часто захаживали в дом, отец собственноручно показывал гуашь, выставляя на стол одну за другой баночки с яркими цветными этикетками. Он очень гордился, что у него есть такие краски.

Казалось, в коробке не было ничего особенного: темно-серый футляр из плотного картона. Разве что на боках обозначены синие замысловатые иероглифы. Зато внутри!.. Баночки с яркими красками стояли по шесть в ряд, каждая в своей особой ребристой ячейке.

В никелированные крышки можно, как в кривом зеркале, разглядывать свое изуродованное изображение. На крышках выпуклые старинные гербы. Цвета у красок чистые, сочные. Плюс ко всему, если отвинтишь крышку — ощущаешь особенный, вкусный запах.

Отец собирался развязаться с делами, немножко освободиться от приработка и снова, как в юности, заняться живописью. В этот раз — всерьез. Он нечестно говорил, но часто думал об этом. На жизнь денег не хватало, он брал больше и больше работы. Скорей, все же, кроме денег, не хватало ему таланта и настойчивости. Но и в этом случае кто возьмет на себя смелость отказать человеку в праве надеяться?

Так и не выбрал он времени взять кисти и опробовать краски.

Впрочем нет, один раз он открыл их. К Немцам зашел управдом, попросил написать плакат: «Соблюдай светомаскировку!» Очень выразительный и яркий получился плакат. Но больше краски отец не открыл.

После Олег не раз думал: не они ли с Люськой виновны в том, что отцовским мечтам не суждено было свершиться? Его и сестру надо было кормить, одевать, обувать, Олега учить музыке. Виноваты были Олег с Люськой несомненно уже тем, что родились. Но не они одни. А если так, то кто же еще? Гитлер? Сталин? Судьба?

Мать с детьми эвакуировали. Отец оставался один. Потерянный, он стоял посреди маленькой комнаты и оглядывался: что еще, совершенно необходимое, они забыли?

— Не беда! — говорил он почти весело. — Ненадолго все. Скоро вернетесь! Но для меня вот это обязательно возьми. Только это. Мало ли что...

.....

Он протянул матери коробку с японскими красками.

— Может, останешься один и начнешь рисовать? — осторожно предложила она.

— Сейчас все равно не до того. А у тебя они сохрятся.

Отец повернулся к сыну.

— Только береги мои краски, не разбей! Война кончится, я обязательно живописью займусь. Вот увидишь!

Все тогда были уверены, что сразу после войны само собой наступит счастье, полное, светлое, радостное, и все свершится, сбудется, осуществится мгновенно, будто по мановению волшебной палочки.

Так коробка с японскими красками очутилась в фанерном ящике из-под папирос «Беломорканал» и вместе с матерью, Олегом и Люськой попала в город на Урале. Отец остался дома. Там он ушел на фронт, тут заботы свалились на мать.

Постепенно она продала на толкучке привезенную хорошую одежду, себе и детям латала старье. Продавать стало нечего. Несколько раз вынимала мать из ящика серую коробку с красками, вертела в руках и прятала обратно.

Но однажды, когда с продуктами стало еще хуже, поколебавшись, мать приписала в конце письма отцу: «Еще хотела тебя спросить про японские краски. Что, если мы обменяем их на отруби или кусок сала? Кончится война, купим новые, в сто раз лучше этих».

Ответа не пришло.

Мать переживала, кляла себя, что написала отцу про краски. Ведь он собирался после войны рисовать. Зачем же было его расстраивать?

.....

Как-то раз мать и Люську отправили в деревню убирать картошку. Олег остался один. Все, что мать оставила ему поесть на три дня, он слопал за раз. Второй день Олег голодал, на третий вспомнил про краски.

Вынул он их со дна фанерного ящика, понес на рынок. Сейчас он обменяет их на хлеб и на продукты, сам будет сыт и еще накормит мать и Люську, когда они вернуться.

В той части рынка, которая была отведена под толкучку, народ в действительности не толкался. Там ходили не торопясь, останавливались, присматривались к товару, приценивались, торговались. Те, кто продавал или менял, стояли рядами и выкрикивали:

— Кому новые галифе? Почти новые галифе...

— Ситчик довоенного образца. Налетайте, дамочки!

— Планшет немецкий! Был немецкий, стал советский!

— Сапоги старые, отремонтируешь — будут новые!

В этот-то ряд и встал Олег с коробкой японской гуаши.

Подходили к нему многие. Брали коробку, открывали, разглядывали королевские гербы на никелированных крышках, удивлялись своему искаженному отражению, смотрели краски на свет, зачем-то трясли, даже лизали, пробуя на вкус. Кто ухмылялся, кто щелкал языком, кто спрашивал, где юный владелец украл эту коробку, кто пожимал плечами, но все возвращали краски обратно, не спрашивая, чего и сколько Олег хочет за них получить.

Постоял он так с полдня, расстроился, совсем голодный унес краски домой, спрятал их на место. От голода ныло под ложечкой. Он питался картофель-

.....

ными очистками, которые подбирал у соседей. Жарил и парил он их на сковородке, то и дело подливая воду.

Матери, когда они с Люськой вернулись, Олег ничего не сказал...

Минуло с того времени примерно четверть века.

Пришел как-то Олег Немец домой. Заглянул из коридора в комнату, видит, сын его рисует и сам с собой разговаривает. Олег подсел к нему, стал вникать в рисунки. На картинках ползли танки, стреляли пушки, пикировали самолеты и, конечно, взлетали ракеты с пышными огненными хвостами.

— Что это? — спросил Олег.

— Не видишь? Воздушный бой! Вот — наши, вот — фашисты. Огонь! Трах-трах...

Олег не видел, где наши, а где фашисты. Но, действительно, на картинке шел бой, и Валеша точно знал где кто. Откуда у ребенка, родившегося через полтора десятка лет после войны и не умеющего читать, столь обширные исторические сведения? Очевидно, частично из детского сада, ну, еще из детских книг, да и телевизор он смотрит. Везде и всюду без конца твердят про войну и показывают войну.

Но Валеша вообще был странным ребенком. Раз, обидевшись на мать за несправедливый упрек, схватил он жирный красный карандаш и провел по стене черту на всю длину комнаты. Когда Олег спросил, что это изображено на обоях, сын ответил, уже успокоившись:

— Не видишь? Это моя злость!..

Жена возмутилась, а Олег заинтересовался. Про линию злости он рассказал своему зятю Нефёдову. Как Люськин муж объяснит поступок его темпераментного сына?

.....

Школьный учитель истории Нефёдов, крупный домашний философ, задумался и истолковал факт по-своему.

— Возможно, это самовыражение, — сказал он. — Мальчик пытается найти себя в изображении чего-то... Если хочешь научить сына рисовать, не покупай ему этих малюсеньких детских красок. Купи настоящие банки гуаши, большие кисти, пускай мажет что хочет и как хочет. Не связывай его фантазии. Свя-зать ее еще успеют.

Немец так и сделал. Он купил рулон обоев и при-крепил кнопками большие куски на стенах — тыль-ной стороной наружу. Пусть лучше Валеша выража-ет свои чувства тут, чтобы не ремонтировать кварти-ру.

— Рисуй везде, — распорядился Олег. — А вообще тебе нужны настоящие краски. В получку куплю.

— Купи, — согласился сын. — Бабушка давно хоте-ла подарить и не подарила.

Олег тоже стал замечать, что мать здорово поста-рела в последние годы и стала забывчивой.

— Обещала ему краски? — спросил Олег, когда она приехала в гости.

— Ведь и верно, обещала! Наши, отцовские, пом-нишь...

Мать время от времени находила и дарила внуку свои реликвии: то значок «Почетный донор», то иг-ральные карты, то полтинник старой чеканки. И прав-да, в следующий приезд она не забыла, привезла свер-ток.

Олег развернул и долго разглядывал полуразва-лившуюся коробку с выцветшими синими иерогли-фами.

— Знаешь, мам? Ведь я носил их продавать...

.....

— Знаю, — кивнула мать. — Я, сынок, тоже. Да кому тогда было дело до японских красок? Вот никто и не купил... А Валеша где?

Внук лежал под кроватью с деревянным автоматом в руках и выслеживал каких-то врагов.

— Валеша! — позвала она. — Поди-ка сюда!..

Торжественно держа перед собой серую коробку, бабка произнесла:

— Вот краски. Помнишь, обещала? Нарисуй бой с фашистами, про которых я тебе рассказывала.

Стало ясно, что имеется еще один источник информации, из которого ребенок черпал познания про ту проклятую войну.

— Валешенька, — прибавила бабка, — это краски деда твоего. Береги их! Краски очень хорошие — японская гуашь. Правда, Оля?

— Кто это — Оля? — спросил Валеша.

— Оля — твой отец, — сказала бабка. — Олей я его маленьким звала.

— Очень смешно, — заметил Валеша. — Он что — был девочкой?

— Вылитый дед! — заметила бабушка. — Тот тоже всегда говорил: «Очень смешно!» А сам не смеялся.

— Ба, где мой дедушка? — спросил Валеша.

Мать заморгала глазами, не ответила.

— Он к нам не приедет?

— Нет, не приедет, — сухо сказал Олег.

— Никогда?

Ему не ответили, и Валеша не переспросил. Он уже открыл коробку. Там стояло двадцать четыре разноцветные банки — никелированные крышки с гербами слегка потускнели, но все еще отражали предметы. Олег дал сыну кисть и молча показал на лист бумаги на стене.

— Открой! — тихо попросил сын.

Олег попытался отвинтить крышки. Края их по-
ржавели, не поддавались. Немец колотил по ним ку-
лаком, накладывал мокрую тряпку, поливал горячей
водой и, наконец, облив крышки одеколоном, отвин-
тил.

Краски в банках остались такими же яркими, как
были, но за прошедшие годы окаменели и потреска-
лись. Рисовать ими Валеша не смог.

— Пап, — все так же шепотом попросил сын. —
Купи мне другие, которые красят. Ты же обещал...

— Ну как краски? — крикнула из кухни бабуш-
ка. — Нравятся?

— Очень нравятся, спасибо! — ответил внук.

Промолчав, Олег с гордостью отметил: приятно
иметь дело с воспитанными людьми.

— По-моему, Олег, Валю пора учить музыке...

Все, абсолютно все возвращается на круги своя,
усмехнувшись, подумал Немец.

На другой день он зашел в универмаг и постоял
возле скрипок. Понятны благие желания матери сде-
лать так, чтобы ее любимый внук пилил на скрипке.
Но хватит в доме одного скрипача — его самого. И
Немец принес домой из универмага портфель, наби-
тый банками с разноцветными красками. Уж лучше
иметь дома художника: это хотя бы тихо.

Новые краски сразу пошли в дело. Валеша тут же
стал малевать на стенах самолеты, танки и еще какие-
то штуки, понятные ему одному.

— Когда будет война, — объяснил сын, — я буду
летать вот на такой ракете. Смотри!

И он показал на стену.

— Только войны нам не хватало! — пробурчала
жена. — Да еще, чтобы ты там летал...

— Ну, конечно, на ракете, — согласился Олег. — На чем же еще?

— Война — это очень интересно, да? — спросил сын.

— Не очень, — сказал Немец.

Засохшие японские краски он аккуратно сложил в коробку и поставил на сервант.

— Рисует Валеша? — спрашивала бабка, приезжая к ним в гости.

— Конечно рисует! Вот, видишь?

Олег показывал на стены, увешанные разрисованными листами, а потом смотрел на сервант, где стояла коробка с высохшей японской гуашью.

4. Уроки молчания

Автобус устало тронулся. Сзади Олега старая женщина слабыми пальцами пыталась удержаться за дверцу, в которой отсутствовало стекло. Дверца закрылась и туго прижала женщину к пассажирам, стоящим на ступеньках. Прямо перед глазами Олега на поручень легла рука, такая узкая, будто из одной сделали две. Внезапно Олег ощутил голод, хотя только что позавтракал. Эта рука держала перед его глазами серебряную ложечку, полную сахарного песка. Во рту стало сладко.

Двери с трудом расползлись на остановке. Посветлело. Олег увидел родинку у женщины на щеке, ближе к носу. Крупную родинку, которая придавала лицу смешливое выражение. Женщина глядела мимо, занятая своими мыслями. Он старался быстрее сообразить, что скажет, если она тоже признает

его. Ему было восемь, а стало, как-никак, сорок. Стало быть, ей...

Она получала на большой перемене от завхоза буханку хлеба на класс, резала ломтями, а ломти делила на четвертушки. Медленно шла она по проходам и на каждую парту клала три кусочка. Затем еще раз проходила по классу и каждому насыпала чайную ложку крупного желтого сахарного песка из полотняного мешочка. Голодные дети жадно следили глазами за ее длинной узкой рукой. Ложечка быстро опускалась в мешок, осторожно вытаскивалась и снова пряталась.

Есть начинали все вместе, когда пустой мешочек ложился на учительский стол. Сначала Олег не торопясь объедал черные блестящие края. Обсасывая горелую корку, он постепенно подбирался поближе к сахару. Теперь можно было погрузить в песок язык и втягивать нектар, подобно пчеле, по крупнице, укрепляя в перерывах волю, чтобы хватало надолго.

Учительнице тоже полагался хлеб и чайная ложка сахару. В первый день учебного года по неопытности все слишком быстро съели и уставились на нее. Она вытерла платком пальцы, села за стол и положила перед собой свою порцию хлеба. Поднесла было кусочек ко рту, но подняла голову и оглядела класс:

— Кто желает добавки?

Руки взметнули все.

— А ты, Патрикеева? — спросила учительница.

Олег оглянулся. Патрикеева сидела позади него — остросулая удмуртка с широко посаженными глазами. Мать у нее умерла, а про отца она ничего не знала. До школы жила в деревне с бабкой и по-русски понимала плохо.

— Патрикеева, — медленно повторила учительница, отделяя слово от слова. — Ты — почему — не — хочешь — добавки?

— Хбчу!

Патрикеева тоже выставила руку.

— Ну вот. У нас остается ничей кусок. Будете его получать по очереди.

— А тебе? — спросила Патрикеева.

Она говорила учительнице «ты».

— Я сыта, ребятки, не хочу...

И тут же отнесла хлеб первому счастливицу, на которого весь класс смотрел с завистью.

Теперь каждый день на большой перемене класс хором кричал, чья очередь, и, глотая слюни, следил за очередником, который обсасывал вторую порцию.

А возможно, они любили ее не за это.

Олег напряг память и с трудом вспомнил ее имя, хотя имена обычно не держатся в его голове. Она велела, чтобы звали ее Даша Викторовна, говорила, что паспортное имя у нее трудно выговаривается и ей самой не нравится.

В тот год Олег настроился идти в другую школу в другом городе, куда его записали весной родители, а попал в эту, потому что между двумя школами пролегла эвакуация. Школой на Урале оказалась одноэтажная бревенчатая изба под черной дранкой, а в настоящей школе разместили госпиталь. «Немец Олег» — округлым, как звенья цепочки, почерком Даша Викторовна вписала данного мальчика в журнал.

Двор школы, от забора до забора, был голый, основательно утопанный. Травка опасно вылезала по краям из-под досок забора, между которых зияли щели. Дорогу в школу сокращали, бегая через огороды, подкармливаясь по пути чужой морковкой. Классы маленькие: учитель-

.....

ский столик, притиснутый боком к перекошенной, потрескавшейся доске, и разнокалиберные двухместные парты, на которых, скукожившись, сидели по трое. Сумка у среднего лежала на полу. Олег упирался в нее ногами. Чтобы среднему выйти к доске, крайнему следовало встать. Всклакивали все охотно: тело затекало, и хотелось двигаться.

Даша Викторовна выглядела так, будто война ее не коснулась. Словно жила она до или после. Ходила в обтягивающем фигурку светло-синем костюмчике и белой блузке с кружавчиками, как нынче ходят стюардессы. Лицо у нее было скуластое, и глаза немного раскосые. Темные густые волосы, идеально зачесанные назад, скручены в тугий узел, такой тугий, что Олегу казалось, ей всегда больно.

Написав на доске мелом, она тщательно вытирала свои длинные пальцы белоснежным платочком с кружевами и складывала его по прежним складкам. Она была удивительно красивая в профиль, когда глядела в окно, где за стеклом в узорах занималась красноватая заря. Почерк ее в ученических тетрадях был такой же красивый, как она сама.

Всеми миру было некогда, а она относилась к детям с лаской. Кровь стыла от прочитанного в газетах, не говоря уж об услышанном, а она читала им сказки и завязывала ушанки под подбородками. У всех лица печальны — она на уроках улыбалась. А может, просто родинка у носа делала ее веселой?

Она не любила про себя рассказывать. Раз только вспомнила, как было у нее в жизни два самых счастливых дня. Двадцатого июня сорок первого она кончила педучилище, а двадцать первого расписалась с курсантом летной школы. Это у них задолго было запланировано и наконец свершилось. Они стали мужем и женой. Двадцать второго он улетел.

В ноябре... нет в декабре сорок первого морозы стояли лютые, за тридцать. В доброе время по радио повторяли бы, что детям в школу не идти. Утром, подбегая затемно к школе, Олег слышал визг пилы. Завхоз Гайнулла плечом впихивал чурбан на козлы и работал двуручной пилой, приспособив на другой конец хитрую пружину.

Гайнулла орудовал единственной рукой. Правый плоский рукав офицерской гимнастерки был заправлен под истертый ремень. Ворот расстегнут, одно ухо шапки поднято, другое висит. Он не мерз и в тридцатиградусный мороз, только облачко пара висело у лица. Работал Гайнулла остервенело. Пилу с плохим разводом заедало, он дергал ее, упираясь в чурбан коленом. Бревно урчало, но не отдавало пилу.

До самого звонка вокруг козел толпились зеваки. Некоторые давали советы, как лучше освободить защемленное полотно, как нажимать на пилу. Когда Гайнулла пилил, казалось, он никого не замечает вокруг. Он вообще был молчалив и говорил только в крайних случаях. Даже матюгался не всегда, а только если заедало пилу. Все-таки дети вокруг — он тоже понимал кое-что в педагогике.

Все считали завхоза фронтовиком и, побаиваясь, хранили к нему уважение. Ведь он такой же, как у многих учеников отцы, которые были далеко. Не многим старше. Но однажды Гайнулла рассказал, что на фронте он не был. Руку отрезало ему трамвайным колесом еще до войны.

— А гимнастерка откуда? — как мухи, пристали к нему ребята.

— Гимнастерку достал. На толкучке достал. Привез из деревни сала и обменял.

Уважение растаяло, завхоз стал лицом второстепенным, придатком к школе. Само собой, он обязан привозить из леса дрова, топить две печи, выходившие боками в четыре класса, потом снова пилить, звонить на перемену и на урок.

Гайнулла тихо прокрадывался в класс с охапкой сосновых поленцев, от которых пахло смолой, и бесшумно открывал дверцу печи, стараясь остаться незамеченным. Если полено падало от его однорукости, он стыдливо оглядывался на учительницу. Позже Гайнулла бежал по скользкой улице на другой конец города, в пекарню, где по измусоленной доверенности получал под расписку четыре буханки хлеба и мешочек желтого сахарного песка.

Незаменимость Гайнуллы ощутилась, когда он исчез.

Учительница из четвертого, закутавшись в платок, вышла на крыльцо с колокольчиком. Бренча, она проталкивала детей в дверь и причитала:

— Ох, сердешные вы мои! Померзнете теперь. И куда запропастился этот Гайнулла?..

— Он заболелся, — сказала Патрикеева.

— Заболел! — поправила училка и вздохнула.

Учительницы сами приносили охапки дров, бежали по очереди в пекарню за хлебом. Печи дымили, дети кашляли. Через неделю дрова кончились. Гайнулла лежал с воспалением легких.

Обычно Даша Викторовна приходила раньше всех, затемно, и сидела в теплом классе. Она проверяла тетради до самого звонка, изредка перебрасываясь парой слов с Гайнуллой. Ученики здоровались, она каждому механически кивала, не отрывая глаз от тетрадей. Теперь она не спешила прийти пораньше, появлялась перед звонком.

.....

Дети сидели в пальто, шапки заталкивали в парты. В пальто по трое сидеть за партой было совсем тесно, но теплее. Прижимались друг к дружке и засовывали руки под воротник, поближе к шее. Вынимали, если что-нибудь записывали, а потом опять прятали руки.

Утром все обнаружили, что в чернильницах замерзли чернила.

— Ничего! — утешала Даша Викторовна. — Вот скоро поправится наш завхоз, и снова будет тепло...

На следующий день учительница из четвертого класса давно отзвонила на крыльце в колокольчик, а Даши все не было. Наконец дверь отворилась, и Даша Викторовна застыла на пороге в пальто с лисьим воротником, подоткнутым так, чтобы не очень были видны потертости.

Все тяжело поднялись, с трудом выползая из-за парт, и весело стояли, пока она медленно дошла до стола и замерла. Легкое облачко пара появлялось и исчезало около ее рта. Даша оперлась на стол кулачками, смотрела мимо класса, в стену. Смотрела она целеустремленно в одну точку, и ученики начали оглядываться: что она там увидела, сзади на стене? Парты скрипели, кто-то сопел, кто-то толкал соседей, а она стояла не шевелясь.

За окнами прошуршали сани, донесся удар хлыстом и крик:

— Но-о-о!..

И снова все стихло.

Даша Викторовна силилась совладать с собой. Вынула платочек, уже смятый и мокрый, закрыла им глаза, села. Она хотела что-то сказать, но слов не получилось.

Разрешения учительки сесть не последовало, и все не знали, как быть. Кто уселся сам, кто продолжал

.....

стоять, облокотясь на парту. Поскрипывали расшатанные скамейки. Тонкие облачка пара вспархивали из детских ртов. Тишина казалась бесконечной. Вдруг Патрикеева позади Олега всхлипнула и зарыдала, бросившись на парту. Все тупо уставились на нее. Странная была девочка, угрюмая и молчаливая.

Вскоре Патрикеева успокоилась и сидела, размазывая слезы руками, вымазанными чернилами, отчего по лицу ее пошли фиолетовые подтеки, как синяки. Снова стало тихо. Все сидели не шевелясь, боясь взглянуть друг на друга и на застывшую перед ними, но отсутствовавшую Дашу Викторовну. Просто сидели, уткнувшись носами в парты. Отзвенел звонок на перемену, потом на второй урок, — никто с места не двинулся.

Неожиданно в середине второго урока вошел Гайнулла с охапкой дров. Когда Гайнулла входил, класс не вставал, а тут вдруг все поднялись — от нервного напряжения, что ли. Он был худ, лицо заросло щетиной, на шапке снег, лоб в каплях пота. Он пришел больным. И выглядел дряхлым стариком-доходягой.

Завхоз остановился у двери, смотрел на Дашу, губы у него шевелились. Он свалил поленья, тяжело вздохнул, сел на корточки, ловко вынул из заднего кармана пачку лучины и самодельную зажигалку. Уложил дрова, подсунул под них лучину и зажег. Остывшая печка задымила, дрова не желали гореть. Дым пополз по потолку к окнам и стал опускаться, ища выхода. Класс начал кашлять. Но постепенно печка принялась, задышала, потянула воздух обратно в себя, дрова начали разгораться.

Уходя, Гайнулла обернулся, опять посмотрел на Дашу, покачал головой и тихо притворил дверь. К

.....

концу второго урока завхоз вернулся. Гулко кашляя, он еще раз набил печь поленьями и снова исчез.

Появился он опять на большой перемене. Ввалился в класс, тяжело дыша, и положил на стол перед Дашей буханку хлеба и мешочек сахару. Она кивнула, не посмотрев на него, а он, не говоря ни слова, вытащил из кармана гимнастерки ножик, открыл его одной левой рукой, зацепив конец лезвия за кромку стола, и, ловко прижимая грудью буханку, стал нарезать ломти.

Даша Викторовна очнулась, открыла портфель, вынула серебряную ложечку и положила перед Гайнуллой. Он поманил пальцем Патрикееву. Вынимал ложечкой песок, сыпал на хлеб, а Патрикеева разносила по партам. Это было не так, как делала учительница. Нарушился привычный ритуал: сначала разнести хлеб, а потом пройти вдоль парт, насыпая сахар, чтобы ни крупинки не уронить на пол.

Как всегда, последний кусок должен был достаться очередному ученику в виде добавки. Несколько великоватый, кусок этот лежал на столе.

— Съешь, Даша Викторовна, — тихо сказала Патрикеева.

Она всегда странно выговаривала ее отчество.

— Съешь! — повторила Патрикеева. — Никто не хочет.

— Спасибо.

Едва шевеля губами, учительница произнесла первое за день слово и поднесла ко рту хлеб. Тот, кто должен был сегодня по очереди получить этот кусочек, открыл было рот, чтобы напомнить о себе, но промолчал. Рука ее дрожала, сахар сыпался на стол. Она съела, по инерции сгребла крошки, насыпала в рот, вынула сырой платочек, прислонила к губам и сидела не двигаясь.

.....

Когда прозвенел звонок с третьего урока, Даша сказала, прерываясь на каждом слове, будто слова сжимались спазмами в горле:

— Идите... на перемену. Идите... Идите...

Слез своих она уже не стыдилась.

Сперва поднялись те, кто был ближе к двери. Они выскользнули в коридор, оставив дверь открытой. За ними, уже с шумом, как куры с насеста, соскакивали с парт, размахивая крыльями пальто, остальные.

Класс быстро опустел. В коридоре все стояли, сгрудившись, ничего не понимая и поэтому не решаясь бегать и драться. Учительница из четвертого, закутанная в шаль, подошла к этой толпе.

— Ну, как ваша Даша Викторовна? Вы уж ее не обижайте, дети. Горе у нее. Самолет подбили в воздухе. Мужа... В общем, похоронка пришла.

Толпой достояли все до звонка и вернулись в класс. Патрикеева, оказывается, не выходила. Расселись опять и сидели, не разговаривая, не споря, не дерясь. Постепенно в классе потеплело, а дыму поубавилось. Ученики тихо поднимались, вешали пальто на гвозди, вбитые в доску на стене. Одна Даша сидела в пальто. Ее знобило.

Когда уроки кончились, она отпустила класс, осталась одна.

Утром Олег боялся идти в школу и хотел остаться дома. Мать, убегая на работу, пригрозила, что напишет на фронт отцу. Хотя вестей от него давно не приходило и это был избитый прием, он почему-то действовал.

За школьным забором пила работала живее, чем обычно. Дорожка у ворот уже была расчищена, и веселый дымок завинчивался над крышей. Во дворе, по другую сторону козел, напротив завхоза, стояла Даша

Викторовна в пальто нараспашку. Олег осторожно взглянул на нее. Она раскраснелась, запыхалась. И те, кто шел в школу со страхом, приободрились, радостней скакали по ступенькам.

Даша Викторовна оставила пилу и побежала за детьми. На уроках было тихо, но не так, как вчера. Учительница взяла себя в руки, а может, отвлеклась, попилив дров. Глаза оставались холодными и чужими, но она разговаривала, даже немного улыбалась.

Класс ожил. В тот день все старались сидеть не ерзая, читать, писать изо всех сил, даже вечные вертуны вроде драчливого Стасика, сидевшего впереди Олега. Даша обычно говорила, что после войны, когда будут просторные классы и в достатке парты, Стасика она посадит одного. Стасик жил с матерью и четырьмя сестрами. На отца его похоронка пришла в самом начале войны.

Дни шли, и Даша Викторовна постепенно вернулась к себе самой. Зима сдавалась. Сквозь облака ненадолго вылезало солнце. Копыта протаптывали колеи, в которых к вечеру замерзала вода, и можно было, разбежавшись, катиться вдоль всего квартала.

Вечером Олег с приятелями собирались на улице. Лузгали семечки, толкались, догоняли сани, заваленные грузом. Повиснув на перекладине, ехали, пока возчик, подкравшись, не сгонял кнутом. Двинулись бы в киношку — там шла «Девушка с характером», но денег не было.

— Глядите-ка! — вдруг крикнул Стасик и показал пальцем на противоположную сторону улицы.

Там по дощатому тротуару шла Даша Викторовна. Сейчас перебежит дорогу узнать, чего ее ученики здесь делают, и отправит домой. Но Даша не обращала на них внимания. Рядом с ней вышагивал Гайнул-

ла, гордо выпятив вперед новую руку в черной перчатке.

Не протезу все удивились, — разнося дрова, завхоз ходил с протезной рукой по классам уже дня три. Деревянным кулаком он загонял поленья в печь, если те сопротивлялись, и разрешал ребятам нажать рычаг. Пружина щелкала, и рука сама сгибалась. Нет, дело было не в руке, а в том, что училка держала Гайнуллу под руку. И не протез нес он перед собой торжественно, а ее живую руку, лежащую на его искусственной.

Они остановились возле кино, поглядели афишу и прошли мимо. А ученики стояли как вкопанные, следя за ними глазами.

— Видали? Вот так!

Стасик, передразнивая, вперевалочку прошелся вдоль улицы, неся руку, как нес ее Гайнулла.

— А что тут видеть? — спросил Олег.

— Да ты что, не видишь, какая она блядь? Мужа только убили, а она, сука, уже с ним!

Болтаться на улице расхотелось, да и холодно стало. Поеживаясь, все разбрелись по домам.

На другой день Олег вошел в класс и остановился у двери.

— Про Дашу знаешь?! — возбужденный Стасик стоял ногами на парте, спрыгнул вниз и ухватил Немца за ворот рубашки. — Хотя... ты же с нами был...

Всем в классе он распространял вчерашнюю новость, но Олег вчера сам все видел, и Стасик потерял к нему интерес.

Класс словно подменили. Это была истерия или какое-то массовое бешенство, называйте, как хотите. Все, включая самых тихих девочек, скакали по партам, дрались, мяукали. Олег бросил сумку под

.....

парту и, чтобы не отстать от других, стал подбрасывать и ловить шапку. Шапка ударялась в потолок, падала, осыпая Олега белой пылью, и сама становилась белой. Стасик с криками двигал парты, и скоро в классе стало невозможно пройти.

Никто не заметил, как вошла Даша. Нет, конечно, заметили, потому что стало еще шумнее. Она прижалась к двери, побледнела, хотела что-то произнести, но это было бесполезно. Всех она не могла перекричать и тихо пробралась между сдвинутых, как баррикады, парт к учительскому столу, нашла свой перевернутый стул, вернула его на место и села. Даша смотрела расширенными глазами на происходящее и ждала.

Стасик вскакивал ногами на парту и снова садился. Опять вскакивал, поворачивался к учительнице задом, крутил им и снова садился на парту. Он представлял руки ко рту, складывая их в трубу, и дудел, вернее, ревел что-то громкое и бессмысленное.

Даша терпеливо сидела, не понимая, что произошло, и просто ждала, пока класс устанет и уgomонится. Не тут-то было.

— А я думала... — начала было она.

Никого не интересовало, о чем она думала. Ее не слушали или делали вид, что не слушали.

Наконец орать и бегать вроде бы устали. Выдохлись, возможно, или просто надоело. Тогда Даша велела открыть тетради. Одни открыли, большинство нет. Учительница спросила:

— Немец, ты приготовил домашнее задание?

С головы Олега сыпался мел, а Стасик размазывал его по парте и дул что есть мочи, опыляя соседей. Олег почти всегда делал уроки и хотел сказать «да», но Стасик больно ударил его по ноге.

.....

— Не сделал! — заорал Олег. — Никогда не буду делать!...

— Но почему? — спросила Даша.

Вместо ответа Олег подбросил вверх шапку. Она шлепнулась на стол учительницы, испустив клуб белой пыли.

Ввалился Гайнулла, отворив дверь охапкой дров. Он не смог пройти к печке и стал ногой отодвигать парты. Никто ему не помог. Класс снова начал орать, еще сильнее прежнего. Гайнулла свалил поленья возле печи и встал, стянув назад складки гимнастерки. Он молча поднял руку, потряс деревянным кулаком и замер.

Видимо, женским своим естеством Даша вдруг что-то почувствовала. Она покраснела, отвернулась от класса и пошла к доске писать. Тряпка пролетела по классу и, задев слегка учительницу, шлепнулась в доску. Даша положила мел, не дописав фразы, обернулась к классу и стояла, как на суде, тоненькая, почти прозрачная. Класс заорал, засвистел и улюлюкал с новой силой. Тогда училка стала пробираться между партами к печке.

Она подошла к Гайнулле, все еще стоявшему с поднятым вверх деревянным кулаком, встала на цыпочки и поцеловала его в небритую щеку. В классе мгновенно наступила тишина. Даша щелкнула рычажком, опустила протез и сказала:

— Не волнуйся, я уйду.

Не обращая никакого внимания на сидящих за партами, она пробралась назад к учительскому столу, схватила портфельчик и, пачкаясь мелом, тем же путем твердо удалилась из класса. Гайнулла медленно покачал головой и развел руками. Он стал шире с протезом и величественней. Так, с разведенными ру-

.....

ками он и вышел. Стасик тут же влез на парту и, размахивая руками, торжествовал победу. Но печь осталась не растопленной, и все сидели, дрожа от холода.

Полтора урока до большой перемены Даша Викторовна не заходила. После звонка, не успели самые прыткие вывалиться из класса, она внесла буханку и мешочек сахару. Голод заставил всех тихо разойтись по местам и ждать. Три десятка пар глаз внимательно следили за каждым ее движением. Сидевшие на передних партах уже втягивали носом аромат теплого ржаного хлеба.

Буханка захрустела под ножом, срезающим горбушку. Теперь запах свежего хлеба дотек до последних парт. Олег сглотнул слюну. Стасик, заметив это, презрительно на него посмотрел.

— Слюнтяй! — пробурчал он.

Он вскочил на парту и крикнул Даше Викторовне:

— Можете не стараться! Все равно есть не будем. Сами жрите!

Даша заплакала, но продолжала нарезать ломтики, и слезы капали на хлеб. Стасик оглядел класс.

— Все вы слюнтяи! — сказал он. — Продались за корку чернушки. Ну и хрен с вами!

Спрыгнув на пол, он полез в свою парту.

— Я матери не велел замуж выходить, а то уйду, — сказал он, уже ни к кому не обращаясь. — И тут уйду!

Стасик вытащил из парты сумку, рванул с гвоздя пальтишко и хлопнул дверью с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. Оставив буханку недорезанной, Даша выбежала за ним.

На хлеб набросились толпой, тут же разорвали как попало и в драке начали выгребать из мешка ладонями сахар. Половину рассыпали, раскрошили нарезан-

.....

ные куски хлеба, подбирая с полу и поспешно засовывая в рот крошки. Кому-то отвалилось много, другим не досталось вообще.

Позади Олега раздались всхлипывания. На парте лежала Патрикеева, плечи ее вздрагивали. Олег постучал по ее плечу.

— Ты чего, Патрикеева? Ну, чего ты?!

— Гады вы! Какие ж вы гады! Свёлочи!!..

Оказывается, она знала не только слово «ты», но и слово «вы».

— А она? — спросил Олег. — Она же сама виновата!

— Чего она такого сделала? Чего?

— Сама знаешь!

— Я-то знай, а ты?

— Ну, что? Что ты знаешь?!

— То, что Гайнулла ей брат. Родный брат! Они из наша деревня и тута живут возле мене. А вы — гады...

Она ухватила с парты ручку, размахнулась. Олег инстинктивно прикрылся рукой и закричал от боли. В классе установилась тишина. Все собрались вокруг них и смотрели то на Немца, то на Патрикееву. На ладони Олега наливалось сине-красное кровавое пятно.

На другое утро пришла новая училка. Она назвала свое имя, бесцветное, как и она сама. Почти все выветрилось из памяти Олега. Помнит он только, что сидела перед ними крепкая старуха с мужским хриплым голосом и с усами. Учить она давно уже перестала, а ее снова вызвали в роно. Война ведь, и все обязаны, и она тоже. Запомнил Олег у нее усы и — как бы сказать поточней — кавалерийские команды, на которые она переходила в возмущении:

— Встать! Сесть! Все шагайте за мной! Передай матери, чтоб явилась!

Стасику, который вернулся через три дня, от новой учительницы доставалось больше всех. Он ее раздражал.

Да, что было, то было. Война обижала детей, а дети обижали других. Даша Викторовна не вернулась. Патрикеева говорила, что она работает в учреждении и в школу решила не возвращаться. Ушел завхозом в соседний госпиталь Гайнулла...

Автобус тяжело причаливал к остановке. Пожилая женщина, держась узкими ладонями за перила, глядела в автобусе мимо Олега, чуть усмехаясь. А может, ему так показалось: просто родинка у нее на щеке возле носа была смешливая.

Двери со скрипом отворились. Олег вдруг соскочил на землю, не доехав до своей остановки. Сразу стало легче дышать. Даша Викторовна не оглянулась, и автобус увез ее.

Стоя на пустом перекрестке, Олег разжал пальцы и поднес к глазам ладонь. Чернильная точка от пера, которое воткнула в него Патрикеева, синела возле большого пальца, как начатая, но не доведенная до конца татуировка.

5. Чужая свадьба

Дверь оказалась не заперта. Мать ее отворила и видит: Олег и Люська сидят в полутьме, укутанные в одеяло. Совсем заоченели, бедненькие. Печь холодная, а дрова, напилены и наколоты, рядом лежат — это их работа.

— Вы ведь голодные. Что ж ты, дочь, печку не растопила?

— Тебя ждем!
— Тогда помогай скорей. Почти как в сказке: ваша мать пришла, костей принесла...

Люся выбралась из одеяла, стала разбирать кости и мыть их. Мать тем временем растопила печь и, чтобы детей приободрить, сказала:

— Маринка-то снова письмо получила!
— Опять читать не дала? — спросила Люська. — И сама, небось, не читает? Вот глупая!..
— Сама-то не читает — мне отдала..
— Дай посмотреть!
— погоди, сперва поедим...

Мать помешивала бульон в кастрюле. Олег стоял рядом и глотал слюни.

Приготовление бульона было семейным ритуалом. Раз в неделю мать приносила кости. Мясо с них на комбинате тщательно обдирали на колбасу, колбаса шла, как говорили, для армии, а кости выдавали сотрудникам мясотреста, где мать служила машинисткой. Когда над кастрюлей появлялся дымок, дети со вкусом вдыхали запах. Но бульон варился долго, и приходилось томиться, пока наступят счастливые минуты еды.

О письме мать рассказывать не спешила, болтала про всякую ерунду. Потом она сосредоточенно снимала с бульона пену и собирала ее на тарелочку. Пена шла на десерт.

Счастливые минуты еды пролетали мгновенно, и на некоторое время наступала сытость. После еды, кашляя от дыма, Олег и Люська забирались с ногами на кровать, сидели, греясь друг от друга, и мать им читала принесенное с работы чужое письмо.

Что-что, а уж насчет писем мать все знала. В обязанности машинистки входило принимать почту. Ут-

.....

ром мать спешила в трест, чтобы самой разобрать всю корреспонденцию. Деловые письма откладывала (не убегут!), личные же сразу разносила по столам. Возьмется кто другой и начнет требовать: станцуй — дам письмо. Таких шуток мать не переносила. Она любила быстрее отдавать письма, любила, но при этом нервничала.

Письма к Марине шли особые. Потому они и заменяли семейству Немцев свои радости. Их-то отец уже не писал. Плановика Марину все считали материнной подругой, хотя она была лет на десять моложе. Снимала она угол неподалеку от треста. Попала Марина в эвакуацию на Урал из Украины, смуглая и чернобровая среди всех бледных приезжих. На носу и щеках ее пестрели веснушки — чуть-чуть, ровно столько, чтобы выглядеть невероятно симпатичной.

— Ох, и повезло тебе в жизни, Маринка! — бывало, говорила ей мать. — Господи, какая ж ты красавица!..

— Шутки шуткуете! — заливалась смехом Марина, будто в жизни не гляделась в зеркало.

Многие мужчины к ней подкатывались, иные и с серьезностью, но она никого даже обнадеживающим взглядом не достаивала. Что бы ей ни говорили, чего бы ни предлагали, хохотнет, да и только. Если кто понахальней, то так отбреет, что хам после весь день, небось, вареным раком себя чувствует и на следующий день хорошо подумает, прежде чем опять подступаться.

Гордой да неприступной она неспроста была: аккуратно писал ей солдат Гриша, а она ему регулярно отвечала.

Встречались они еще со школы в маленьком городке, вместе поехали учиться в техникум в област-

ной центр, откуда Григория в первый день войны забрал военкомат. Марина же, отплакав свое одиночество, сидела в общежитии техникума до тех пор, пока фашисты не подошли к самой окраине города. Потом бежала, куда глаза повели, и чудом спаслась.

Столько писем, сколько Марина, не получал в тресте никто. Когда она их читала, отложив работу, все женщины на нее смотрели, и она это знала. Сперва она непременно пожимала плечами. Вот, дескать, чудище, пишет всякую чепуху. Но это так, от кокетства. Постепенно щеки ее розовели, и чем дальше, тем приятнее было ей читать.

— Сумасшедший, — говорила она томным голосом. — Такие слова пишет...

Но видно было, что ей эти слова нравятся. В ответ на просительные взгляды женщин она молча протягивала им листок, исписанный бисерным почерком, чтобы влезло как можно больше. Женщины перечитывали эти странички по нескольку раз, согреваясь чужим теплом, а после еще долго обсуждали друг с другом детали.

— Марин, у тебя с ним хоть что-нибудь было? — не раз спрашивала мать.

— Да ты что! — хохотала Марина. — Как же это можно, до свадьбы-то?! Да и негде было: и в общежитии, и в городском парке день и ночь народу полно...

— Ну, вы хоть целовались?

— Целовались, да, было, не скажу, что не было. А все остальное откладывали до счастливого времени. И вот теперь...

Оборвав на полуслове, Марина вдруг становилась печальной, что ей совершенно не шло.

Мать приносила письма домой и читала вслух детям, но фактически и для себя тоже. Сперва пропус-

.....

кала про поцелуи, потом все стала читать. Люська эти письма помнила наизусть. Ей четырнадцать стало, да и Олег на год подрос.

Маринкин Гриша хотя называл себя в письмах пехотурой, но мало писал подробностей о войне. Не только потому, что это запрещалось военной цензурой, но, видно, и неинтересно ему было. Больше всего вспоминал он, как жили до войны, дом, родных и соседей, учителей, школьные проделки товарищей. Потом он в подробностях описывал Марину, какой ее запомнил: руки, глаза, брови, плечи, волосы. Будто он писал вовсе не ей, а вел некий дневник. Описания эти заменяли ему живые встречи. Еще Григорий мечтал в письмах, как они будут жить после войны. Сыграют свадьбу веселую, все будут петь, плясать, никто не вспомнит войну. Ее надо будет забыть, как будто ее вообще не было. Если войну не забыть, то счастья не будет. Только вот как забыть, когда кругом столько крови и грязи, что за целый век не расхлебать? Мечтал Григорий вернуться в домик родителей с молодой женой Мариной. Насадят они вокруг домика яблонь, народят мальчика, девочку и будут бегать с ними наперегонки через луг к речке Камышовке.

Все не раз разглядывали фотографию Григория. Наголо остриженный в военкомате, чернобровый, как Марина, толстощекий, с большими печальными глазами, он стоял по стойке «смирно» и строго глядел в объектив, как смотрят солдаты на всех фотокарточках.

Часто после уроков Олег забегал к матери в трест, колотил одним пальцем на машинке. Олега знали, за глаза звали «немчонком», но любили, давали кто карандаш, кто пустой коробок из-под скрепок. В коро-

бочках этих удобно было держать марки и гайки, которые мальчшки отвинчивали на свалке с разбитых танков.

В тресте Олег боялся только одного человека — главбуха Корабелова. И правда, строгий был человек. Когда сотрудицы собирались вокруг Марины обсудить письмо, главбух выходил из стеклянной загородки, завешанной планами и социалистическими обязательствами по перевыполнению того, что еще не было выполнено. Все поспешно умолкали и мгновенно расходились по местам. Шагал Корабелов торжественно, маленький и крепкий, в черном неравномерно выцветшем костюме с протертыми зелеными нарукавниками. Черты лица его были на редкость правильные, и сам вид его внушал доверие. Если день был солнечный, то на свету становилось видно, что лицо его поедено оспой, а стекла очков толстые, как лупы, которыми мальчишки выжигают на заборах ругательства. Главбух высоко поднимал подбородок, молча глядя из-под очков на женщин, которые были выше его. Выше были все.

Он был полуслеп, главбух Корабелов. Бумаги прислонял к очкам вплотную и читал по складам. Ключ в сейф вставлял на ощупь. По остальному здоровью и возрасту Корабелов вполне бы мог находиться в действующей армии, да глаза подвели. Все могли понять и простить трестовские женщины в ту пору, ибо все были без мужей. В тресте говорили, что незадолго до войны умерла у него во время родов жена, и с тех пор стал он так строг и угрюм. Впрочем, при хорошем настроении главбух мог и пошутить, даже засмеяться.

Марину главбух выделял среди всех остальных, не делая такого исключения даже для начальницы трес-

.....

та, женщины немолодой, но за собой следящей. Всех работниц, независимо от возраста и должности, он сухо звал по имени-отчеству, только Марину просил:

— А ну, красавица наша, подай-ка мне плановый отчетик за прошлый кварталчик!..

Не обижались женщины, что только одна из них назначена Корабеловым на должность красавицы. Не у всех о том была забота в сорок втором году. И потом, Марина действительно была вне конкуренции.

Как-то за главбухом зашел младший брат его Левушка — ехать на рыбалку. Лет Левушке было около сорока. Ростом он был не выше старшего брата, изрядно полысевший, словно с цыплячьим пушком на голове. Жена у Левушки утонула прошлым летом, когда они купались вместе, и слухи ходили, что они поссорились и Левушка ее утопил. Но, может, это просто злые языки каркали. Так или иначе, оба брата куковали без жен вместе.

Корабелов в тот момент был вышедшим по начальству, и Левушка присел возле женщин, рассказывал что-то смешное. Они оживились, стали причесываться, украдкой передавали друг другу зеркальце.

Вдруг вошла Марина, которую главбух посылал за сводкой на комбинат. Она скользнула взглядом по младшему Корабелову, села за свой стол и уткнулась в бумаги. Левушка покраснел, засмутился, стал говорить несуразно. Едва вернулся главбух, младший брат поспешно убрался к нему за стеклянную перегородку.

Женщины сделали вид, будто ничего не заметили. Левушка Корабелов был человеком солидным, работал инженером на военном заводе №79, где делали приборы для самолетов, поэтому ему полагалась «броня» — освобождение от фронта.

.....

Через неделю все узнали, что у главбуха скоро день рождения, но это событие никого особенно не заинтересовало. Обсуждали другое: из всего треста пригласил он к себе одну Марину. Женщины сразу маневр раскусили, и некоторые были недовольны. Не потому, конечно, что не их пригласили, а от того, что не к главбуху Марина шла. Как же так? Ведь у нее жених на фронте!

Под давлением коллектива начальница треста лично закрылась с главбухом за стеклянной перегородкой и от имени администрации и профкома наметнула, что ситуация щекотливая. Корабелов-старший выслушал ее спокойно, ни словом не перебивая, даже кивая иногда в знак согласия, и ответил искренне:

— Я и сам вообще-то против чего такого... Но ведь просто день рождения. Никого я никогда не приглашаю, но тут братан настоял. Откуда мне знать, может, ничего, может, сговор у них какой? Не дети, чай... А что, кстати, сама красавица голоса не имеет? Ее-то спросили?

И правда, саму Марину никто ни о чем даже не спросил, за нее решили. С другой стороны, чего спрашивать, когда мясотрест в курсе ее личной жизни до малейших деталей, описанных в письмах Гриши?

После того дня рождения Марина пришла на работу как ни в чем не бывало, и все про это приглашение забыли. Но еще через два дня, когда мать положила ей на стол конверт с фронта от Гриши, Марина письмо прочитала и убрала в стол, а стол, как все заметили, заперла.

С того дня никто у нее писем не просил, только смотрели с завистью, как она их в ящике прятала. Письма по-прежнему часто шли, но мать как преданная подруга старалась передавать их ей потихоньку, чтобы никто не видел.

Свадьбу назначили через месяц — Левушка спешил. Марина пригласила всю бухгалтерию. Событие по тем временам было редкое, если вообще не уникальное, и всех, естественно, взбудоражило. Если бы никого не звали или же попросили избранных, меньше было бы в тресте разлада. А тут такое началось, чего свет не видывал.

Одни женщины сразу заявили, что ни за какие коврижки не пойдут. Маринина верность была их верностью, и измена ее становилась теперь их изменой. Все они могли понять, все простить, эти женщины, только не это.

— Личное ее дело, — возражали им другие. — Не жена она Григорию, имеет право разлюбить. Да и была бы жена, что же она — не человек? Всяко в жизни происходит, новый муж лучше старых двух.

— Григорий же на фронте! — напоминали, удивляясь, первые.

— Да разве любовь это? Подумаешь, целовались...

— А по-вашему, если его убьют, ей кукушкой куковать?

— Так он же живой!

— Живой! А Левушка Корабелов — не живой? Он человек с положением. И потом... вам-то какое дело? А тут хоть наедемся раз за всю войну.

— Ну и идите, ешьте досыта, а мы не пойдём!

Чувствуя на себе недобрые взгляды, Марина молчала, уткнувшись в ведомости. Только арифмометр у нее на столе периодически верещал. Но долго одной выдержать трудно. После работы она пошла домой вместе с матерью.

— Почему все злятся? — стала жаловаться она. — Чего я такого сделала! Ну, существовало у нас с Гришей увлечение. Только ведь сердцу не велишь! И по-

.....

том, то было в детстве, а с Левушкой я взрослой стала... На-ка вот, кстати, спрячь, чтобы Левушка у меня в сумке не нашел.

Марина протянула матери Гришино фото. А отдав, разрыдалась. По обязанности подруги мать гладила ее по голове и успокаивала:

— Не расстраивайся ты, Мариша! Пообижаются, поругаются и забудут. Бабы ведь у нас разные: у кого свое несчастье, а кто тебе просто завидует. Как сердце велит, так и поступай.

Не от души мать говорила тогда. Люська и Олег знали, что мать тоже Марину осуждала. Как и все, мать надеялась, что свадьба по каким-либо причинам расстроится. Но и жалко ей было Марину. Вот почему старалась она быть помягче, оправдывала и тех, и других.

Писем от Григория в те дни не приходило. Какие меж ними стали дела, никто, наверное, теперь не знал. Марина не делилась даже с ближайшей подругой.

Возможно, Марина чувствовала, что мать лукавила, а на деле ее сторонилась. Да и некогда невесте было: после работы бежала в дом к жениху и вдвоем с матерью Корабеловых готовились они к приходу гостей. Все запасы в состоятельном этом доме пошли в дело, на телеге привезли из деревни продукты, укрытые крестьянами, корабеловскими дальними родственниками, от сдачи государству. Три соседки пришли помогать варить, жарить да печь пироги.

За три дня до свадьбы, утром, мать, как обычно, чуть свет сбегала за почтой и разбирала ее. Налево — личные письма, направо — служебные. Письмо от Гриши сразу в глаза ей бросилось. Хотела она отнести его и положить на стол Марине, но задумалась. Как раз Марине-то его письма теперь, наверное, ни

к чему, — не с Левушкой же их читать! Да и вообще, пожалуй, лучше ей с Гришей совсем не переписываться. Исчезнет она из Гришиной жизни и все тут. Перемелется, мука будет.

Значит, как же — не отдавать ей это Гришино письмо? Взять грех на душу? Но ведь так тоже нельзя. По какому праву мать может на это решиться? И потом, должна же Марина написать ему правду, как и что, иначе он и дальше про свою любовь писать будет.

Встретив Марину в коридоре, мать отозвала ее в темный угол, чтобы никто их не видел, и протянула Гришино послание.

— Нет! — сразу запротестовала Марина, издали взглянув на конверт и спрятав руки за спину. — Брат не стану! Ни-ни! Что было, то ушло. Устала я жить в углу с чужой хозяйкой. А тянуть — Левушка ждать не станет...

В общем, попросила она мать, чтобы та сама отписалась от Григория, дала ему понять: не следует ему больше к Марине адресоваться. Как поймет, так пускай и будет.

Вот это-то письмо мать и принесла домой, чтобы читать вместе с Люськой и Олегом. Втроем поели они с хлебом бульона, сваренного из костей, и вскрыли конверт. Как только мать начала читать, она испугалась.

Григорий радостно писал, что в бою был ранен в руку осколком снаряда и что пришлось ему поиграть в санитарном батальоне в домино недельки две. Рука еще забинтована, но уже скоро заработает. И перед возвращением на передовую командир части спросил его, чего он хочет: медаль за отвагу или три дня, не считая дороги, на побывку домой. Он, конечно же, выбрал дом. А поскольку родители его под фашиста-

.....

ми (живы ли, нет ли, не известно), он, как только его из санбата выпустят, постарается улететь попутным рейсом в Москву. Оттуда поездом он доберется прямо к своей чернобровой — единственному человеку, который остался ему на земле дорог, и уже считает минуты. Если согласишься, сразу поженимся и сыграем свадьбу. Чего ж тянуть, когда все у нас с тобой ясней ясного?

— Вот здорово, что он приедет! — обрадовался Олег. — Прямо с передовой!

— Глупый ты! — заметила Люська и передразнила. — С передовой!.. К тебе что ли он рвется?..

Мать растерянно молчала, придумывая для Марины выход. Люська предложила:

— Надо срочно написать ему, чтобы ни в коем случае не приезжал.

— Но куда? Куда писать-то? В часть — так его там нет. В санбат — тоже выписался...

Так они ничего и не придумали. Спрятала мать письмо в папку с надписью «Дело №...», принесенную с работы. Письма — дело святое, всегда считала она. Мать их берегла и себе вслух иногда почитывала.

На другой день Марина забежала к Немцам домой, просила мать и Люську помочь в хлопотах на свадьбе. Она хорошо это придумала, чтобы все-таки увидеть мать на своей свадьбе.

— Да мне Олега оставить не с кем! — попыталась отговориться мать.

— С ним приходи. Пускай и он попирует!

— Конечно, ма! — сказала Люська. — Надо же помочь! Я посуду мыть буду.

— Ты лучше дома ее мой, — отреагировала мать, — а то не допросишься.

— Дома мыть, — Люська отвечает, — неинтересно.
— Видали? Посуду мыть готова, лишь бы на свадьбу попасть!

— Мам, может сказать Марине, что Гриша приезжает? — предложил Олег.

— Молчи, сынок. Зачем ей настроение портить? Опоздал Григорий со своим приездом, ох, опоздал...

Свадьба началась днем в субботу. Марина шепнула матери, что они с Левушкой еще в пятницу вечером сходили в ЗАГС, а на утро обвенчались в церкви. Дом у Корабеловых был солидный, огороженный высоченным, мрачным забором. Во дворе жила старая дворняга, разбитая параличом. Она не вылезала из конуры, не могла лаять, только сопела и кашляла. Братья Корабеловы жили в доме с матерью. Теперь сюда переселилась Марина.

Достанется ей, думала мать. Левушка, хотя ему и сорок, — маменькин сынок, а старуха крутая. Свекровь Марину уже проверила, как та полы моет, чтобы отскабливала доски добела. Велела звать себя мамой и зарплату ей сдавать в день полочки.

Гость валил косяком. Народу на свадьбу набилось битком. Кто позже пришел, за столом не уместился, пил и закусывал стоя, во втором ряду. Гости гуляли всю ночь, то и дело кричали «Горько!». Когда по случайности становилось тихо, было слышно, как за окнами кашляла, надрываясь, собака.

— Господи, — вырвалось вдруг у Марины. — Да ведь она ночью спать не даст...

— Тебе и не надо спать ночью, — назидательно сказал старший Корабелов.

Гости грохнули от смеха. Сильно захмелевший Левушка поднялся из-за стола и снял с гвоздя двустволку.

.....

— М-моей жене м-мешает с-собака, — сказал он мгновенно притихшим гостям, слегка заикаясь. — Больше не б-будет м-мешать.

— Не надо, Лева! — крикнула Марина. — Умоляю...

— Молчать! — отрезал он. — Я уже решил.

Хлопнула дверь, и следом за окнами грохнул выстрел.

— Танцы, танцы давайте! — кричали гости.

Заиграл сильный патефон, танго поплыло над столом:

Мне бесконечно жа-а-ль
Своих несбывшихся мечта-а-а-ний,
И только боль воспомина-а-а-а-ний
Гнетет меня.

Мать на кухне мыла посуду, а Олег и Люська ее вытирали. Интересно, думала мать, что из бухгалтерии никто не пришел, даже те, кто целился наестся. Григорий не приехал: с транспортом, очевидно, плохо, не смог добраться. Слава Богу, пронесло.

Поздно вечером мать увела сытых и сонных детей домой, а на свадьбе веселье еще было в разгаре. В воскресенье утром, затемно, как просила Марина, мать подняла их обоих, чтобы вернуться к Карабеловым и дальше мыть посуду. В этом был и плюс: опять дети могли хорошо поесть.

Ночью слегка подморозило. Но когда посветлело, оказалось, что небо почти чистое, солнце выглянуло из-за горизонта, ледок начал таять. То ли зима началась, то ли осень еще собиралась вернуться.

Пришли Немцы к Карабеловым рано. Открыли калитку и остановились перед собачьей будкой: пес лежал в отверстии, будто спал, только кровавое пят-

но растеклось по земле и замерзло вокруг его головы. В доме было тихо. Мать с Люськой сразу принялись мыть посуду, а Олегу скучно стало торчать в кухне, он выскользнул в горницу.

Гости, которые не ушли, спали — кто на сдвинутых стульях, кто просто в углу на полочке. Те, кому неудобно спалось, просыпались и бесцельно бродили по дому. Двое вошли на кухню за рюмками, чтобы опохмелиться, и чокались, по очереди откусывая один огурец.

Кто-то завел патефон. Из спальни вышел, зевая во весь рот и потягиваясь, Левушка. Пушок на его голове колыхался.

Гости, все еще во хмелю, заголосили:

— Ну как, молодой, жена-то?

— Давай, рассказывай!

— Да что рассказывать? — смутился Левушка.

— Видно скуповата, раз быстро отпустила...

Появилась старуха Корабелова, погладила сына по спине.

— Мягко ты больно, вот и скуповата... Да ничего, не горячись! Женщина тоже может иметь свое право...

Олегу разговоры эти были скучны. Он отправился во двор и в сенях столкнулся с главбухом Корабеловым.

— Не мечись, не мечись, мальчик, под ногами, — сказал тот без всякой сердитости.

Зря Олег его всегда боялся.

Во дворе у сарая был турник. Олег стал подтягиваться, раскачался, сорвался и больно шлепнулся на лед.

Хлопнула калитка. Во дворе появился солдат, робко огляделся и, поправив пряжку от ремня, туго стягивавшего шинель, спросил Олега:

— Браток! Мне сторожиха в тресте дом указала. Тут Марина проживает?

На крыльце заскрипели доски. Полусонный гость вывалился из дверей, ухватился за перила, справил надобность и ушел. Солдат поправил вещмешок с привязанной к нему каской и повторил:

— Чего молчишь? Марину знаешь?

Олег застыл, сидя на льду и соображая, как быть. Он ничего не ответил, бросился в дом, пролез сквозь людей на кухню и потянул мать за фартук. Та сразу поняла.

— Вытирай пока рюмки, доченька. Я сейчас...

Мать накинула на плечи платок. Но тут в кухню вошла Марина. Под глазами у нее посинело, веснушки поблекли. Бросилась она к матери, приникла к щеке.

— Не уходи, только не уходи! — зарыдала Марина.
— Одна я тут, чужая им!

— Ну... Ну... — погладила ее мать по голове. — Успокойся. Да и дело сделано. Куда ж назад? Ничего, стерпится. Левушка — человек нетрудный.

— Не понимаю я его, совсем не понимаю!

— Поймешь! Не сразу, однако, поймешь. Никуда теперь не денешься...

Олег тянет мать за фартук. Отстранила она Марину.

— Подожди-ка, — говорит, — я сыну помогу.

И следом за Олегом прямым ходом к воротам.

Солдат сидел на корточках, подперев спиной столб, смотрел на мертвую собаку. Мать оглянулась, не видит ли кто, и тихо спросила:

— Гриша?

Он кивнул.

— Пойдемте со мной!

— Маринка разве не здесь?
— Да пойдите же, говорю, быстрее пойдите отсюда!

Разговор у матери с Григорием был короткий. Гриша поселился у Немцев на полу возле печки.

Дети с ним пилили дрова, ходили в лес, сбивали смолистые шишки и собирали в мешки, катались на трамвае от круга до круга. Оживился Григорий только раз, когда в морозный день привязал к сапогам коньки, взятые у соседа, и пробежался по замерзшему пруду.

Вечером, накануне Гришиного отъезда, мать неправдами достала на мясокомбинате костей, сварила бульон и все подливала и подливала Грише. Днем отпросилась она у главбуха и побежала домой, чтобы успеть Гришу проводить. Его не было: он отправился в комендатуру перед отъездом отметить. А дома что-то произошло, мать сразу догадалась.

Люська ходила по комнате надутая. Олег лежал на кровати и плакал.

— Что у вас здесь случилось?

Оба молчали.

Мать села к Олегу на кровать.

— Что с тобой, сынок? Чего ты?

— Может, и ты нас разлюбишь и бросишь? — кричит. — Тогда давай быстрее!

— С чего ты взял?

— С того, что я все понял!

— Чего понял? — переспросила мать. — Да у меня никого на свете нет дороже вас!

— Понял все! Сперва любят, а после обманывают!

— Глупый! — хохотнула Люська. — Разницы не понимаешь: то дети, а это мужчины с женщинами. У них вечно сначала с одним, потом с другим!

— С другим!.. На Григория, значит, плевать?!

— Дурак ты! — сказала Люська.
— Может, я и дурак, а Марина ваша — предатель!..
Долго Олег всхлипывал. Плакал он не от своей обиды, от Гришиной. Мать не смогла его успокоить, только пристыдила:

— Сейчас Григорий придет, а ты зареванный весь. Тоже мне мужчина!

Но, видно, был у них до этого разговор с Григорием. Потому что вернулся тот из комендатуры, молча вещички сложил и говорит:

— Спасибо вам за все. Не ходите меня провожать, не надо.

— Обязательно пойдем, Гриша! — возразила мать. — Я с работы специально для этого отпросилась.

Приехали они на трамвае на вокзал. Все дни Григорий держался, а тут, перед концом, пал духом, шел и повторял:

— Как же это, а? Как же?

— Вот так уж, Гришенька, так устроена жизнь. Насилу мил не будешь...

Механически мать твердила дешевые слова, но, наверно, нужные, как все утешения.

— Выходит, я виноват. Но в чем же?

— Марине тоже не сладко, — сказала мать. — Женщины требуют от начальницы, чтобы уволили ее из треста. Не хотят с ней работать. Любовь — такая вещь...

Хотя — какая именно вещь любовь, мать и сама понимала все меньше. Да и позже соловьи для нее не запели. Старухой стала, жизнь в одиночестве прожила и одна трех внуков вынянчила.

Постояли Немцы с Григорием у вагона. Состав шевельнулся, заскрипели сцепки. Гриша обнял Олега, потом Люську. Мать обнять застеснялся, сказал:

— Передайте ей: Гришка, мол, желает тебе счастья.

— Обязательно передам, — кивнула мать.

Он забрался в теплушку, уселся на пороге и махал рукой. Мать, Олег и Люська, убыстряя шаги, двигались по платформе, стараясь не отстать от вагона. Вдруг Григорий отвязал от мешка каску и бросил Олегу.

— Держи!

Каска забренчала, крутясь по камням, пока Олег не схватил ее.

— Зачем ему? — встревожилась мать. — С вас же спросят!

— Война спишет! — крикнул Григорий.

— Гриш, ты в другой раз сперва женись, а после любви, ладно? — подал голос Олег.

— Ладно! — улыбнулся Григорий.

Поезд загудел и пошел быстрее.

Мать остановилась на платформе, обняла Люську, которая почему-то разрыдалась. Олег, размахивая каской, бежал за поездом до самой водокачки.

Обещание свое мать не выполнила, Марине ничего не сказала. После проводов Немцы стали ждать Гришины письма к себе. Фото его, которое Марина отдала матери, Люська поставила на подоконник, рядом с фотографией отца.

Немцы очень ждали писем. Но Григорий не написал.

6. Преступление билетерши

Люська немец легко, чуть ли не вприпрыжку, выбегала к доске, и до нее долетали смешки, хотя она еще ни слова не сказала. Может, из-за отсутствия ви-

.....

таминов она не росла и смирилась с тем, что никогда не вырастет. И все-таки она еще немного повзрослела.

Каждый день, когда дома никого не было, Люська кокетничала сама с собой перед маленьким зеркалом, причесывалась по-новому, потому что вчерашняя прическа ей не нравилась. Она сама себе перешла из материнной черную юбку с разрезом и пуговицами; девчонки шептались, будто юбка слишком облегает бедра и вообще с таким высоким разрезом носить позорно.

— Уроки не делаешь. Чем же ты вообще занимаешься? — с подозрительной интонацией спрашивала классная руководительница. — Целыми неделями в школе тебя нет!

— Подумаешь, работать пойду...

— Она еще хамит! — взрывалась учительница, мгновенно переходя на крик. — Ну, это уже слишком. Девочка-лодырница... Да как же такое можно допустить во время войны!

Говорила она, как снаряды взрывались: бум, бум, бум... Видимо, не случайно у ширококостной классной была кличка Бомба.

Может, просто пришла весна, думала Люськина мать. Хотя и военная, а все же весна! Та самая, про которую столько написано и столько объяснено, что и слово-то произносить вроде бы неловко.

Так или иначе, но в конце третьей четверти, перед самыми каникулами, скопилось у Люськи пять двоек. Мать вызывали в школу раза три, но это не помогло. Завуч позвонила в соседнее ремесленное училище:

— Нельзя ли пристроить восьмиклассницу, очень хорошую, только учится плохо?

В ремесленном набора не было. Оставалось просто исключить Люську Немец в назидание другим.

Люська не сказала матери, что ее исключили из школы. Каникулы шли замечательно, чего же травить материну душу?

Утром, найдя красивую картинку в довоенном журнале, Люська причесывалась под нее и танцевала перед зеркалом непонятный танец, заменяющий ей гимнастику. Нарочно громко топя каблучками, чтобы потревожить соседей, она спускалась с крыльца и бежала в кино.

Купив самый дешевый билет, Люська садилась в дорогой восьмой ряд. Если прогоняли, не смущалась и пересаживалась. Бывало, глядела она одну картину несколько дней подряд.

Посреди дня забегала она домой чего-нибудь поесть. С братом вдвоем они разогревали оставленный матерью суп. Ели молча, каждый занят своим: Олег марками, которые он за отсутствием альбома переклеивал в новую тетрадь. Люська — мыслями о том, что после каникул в школу идти не надо. Поев, Люська немедленно убежала.

— Куда? — строго спрашивал Олег, догадываясь о происходящем.

Хотя он был младшим, но, в конце концов, в доме он — единственный мужчина.

— Не твое дело! — очаровательно улыбаясь, отвечала Люська.

Она его авторитета принципиально не признавала.

В госпиталь Люська прокрадывалась через черный ход. Там пахло хлоркой. Сегодня какая палата? Вчера была шестнадцатая, безрукие, значит, сегодня семнадцатая, безногие, второй этаж.

Она открывала дверь и слышала возгласы:

— Артистка пришла!

— Садись, доченька!

— На-ка, кисельку сперва похлебай...

Люська садилась на пустую кровать и говорила:

— Ну вот, значит. Я вам какое рассказывала? «В шесть часов вечера после войны»? Теперь, значит, «Сестра его дворецкого». В общем, так...

И начиналось устное кино. Она его пересказывала в лицах, куплеты пела, плясала и сцены изображала в действии, ловко прыгая между кроватями и тумбочками. Когда, пробившись сквозь толпу в дверях, входила санитарка и объявляла мертвый час или обход врачей, палата упрашивала:

— Не шуми, тетка Ньюша, пушай она до конца расскажет!

Санитарка и сама садилась, слушала и смеялась, а после опять спохватывалась:

— С ума сошли! Она же без халата! А ну, марш отсюдова!

Люська поправляла юбку и, не простившись, убежала.

— Когда придешь, артистка? — неслоь вслед.

— Может быть, завтра, а может, никогда...

Больше всего ей нравилось, как голодные мужчины на нее смотрят, и поэтому она туда возвращалась. Но приставать к ней из-за ее малолетства не решались. Да и палаты были с тяжелоранеными.

Не очень-то понимал Олег, что происходит, но где Люська пропадает, знал, бегал к госпиталю и поджидал сестру, чтобы защитить ее по дороге домой. Мело в тот день, который ему запомнился, казалось, зима вернулась. Возле входных дверей прыгал Олег на одной ноге, потом на другой, но так и не согрелся.

.....

Решил пробежаться вокруг здания. Окна на первом этаже сплошь заклеены бумагой — ничего не видно. Забрался Олег на кучу угля перед подвалом, прыгнул с нее вниз, упал и вдруг из снега и грязи поднялась прямо перед ним рука со скорюченными синими пальцами и тут же упала.

Огляделся Олег и понял, что стоит возле горы человеческих обрубков — рук и ног, сброшенных рядом с углем, и стало ему страшно.

— Иди, пацан, отсюда, пока я тебя лопатой не огрел!

Из подвала вылез мужичок в нижней рубашке и солдатских галифе, весь в угольной пыли. Ногой он откатил в сторонку пару замерзших рук, соскоблил с них снег, посыпал углем, поддел широкой лопатой и унес в подвал. В двери подвала Олег видел красное жерло печи и две руки, брошенные на пылающие угли.

Люську он не стал дожидаться, прибежал домой, когда совсем стемнело. Про то, что видел, решил ни матери, ни Люське не рассказывать. А сам эту гору отпиленных рук и ног, принадлежавших еще недавно солдатам, что на всех пяти этажах лежали, помнил всю последующую жизнь. Тогда и потом сон ему снился один и тот же: у него самого руки и ноги отпилили, он ползет по снегу, пытаясь их найти, а руки его и ноги от него уползают. И взрослым он, бывает, орет посреди ночи, пугая жену, и просыпается в холодном поту, ощупывая себя, на месте ли те части его тела, которые только что явственно видел в снегу отделенными.

Люська вернулась домой поздно, и мать посмотрела на нее с осуждением. Поэтому говорить с матерью про жизнь не имело смысла. Ясно, что сделает

.....

мать. Она отодвинет тарелку, будет хмуро молчать, а после скажет:

— Вот спасибо тебе, доченька! Отблагодарила нас с отцом за то, что всю жизнь спину на тебя гнули!..

И будет прикладывать к глазам передник. Мать устала, ни к чему ей забот прибавлять. В Олеге Люська была уверена, что не проболтается.

В понедельник, после каникул, Люська, как обычно, взяла портфель и отправилась как бы в школу. Погуляла по улицам до десяти, а в десять начинался первый киносеанс. Она взяла самый дешевый билет и уселась в середине восьмого ряда, на свое привычное место. Зрителей было мало, в основном ребятишки из второй смены. А кино очень интересное.

Вернулась она днем, как обычно. Олег учился во вторую смену; он был занят своими делами, и Люська, молча поев, побежала на соседнюю улицу. Двадцать третья палата, второй этаж.

— Красотка наша тут!..

Во вторник, чтобы полегче было, выложила она книжки и отправилась с пустым портфелем. Олег ничего не заметил, а мать и недавно. Деньги, которые мать дала им обоим на каникулы, она уже потратила свои и Олеговы. Больше не осталось, а без денег в кино не попадешь.

Люська заглянула к Марине, материной подруге, занять у нее рубль. Марина раньше работала в тресте, вместе с матерью, а как замуж вышла, перешла в управление торговли. Люська сразу заметила, что у Марины животик округлился и платье в талии натянулось. Марина перестала крутить арифмометр, сразу вынула из сумки три рубля и тут заметила в Люське перемену.

— А ну, выкладывай! Чего у тебя происходит?

Стоит ли Марине рассказывать, неизвестно. Но слезы сами собой показались. И вообще Марина умная и практичная. Не передаст матери, это уж точно. Арифмометры в управлении трещат — никто посторонний ничего не услышит.

Марина не удивилась, услышав об исключении из школы, прижала Люську к себе, погладила по голове, пожалела:

— Горюшко! Ведь пятнадцать уже, а нескладеха. Нравится кто?

Марина отстранила Люську и оглядела внимательно с головы до ног.

Девочка пожалала плечами.

— Да ты не стесняйся! В твоём возрасте все бывает. На что деньги берешь?

— На кино.

— Не надоело? Кино, кино!.. Работать тебе надо, милая. Я вот об институте мечтала, а даже техникума не кончила.

— Тебе хорошо, ты замужем! — вырвалось у Люськи.

— Не завидуй! Приходится вокруг мужа день и ночь крутиться. Муж, как конь: его надо кормить, поить, мыть, чистить, прибираться за ним, и тогда семейная телега кое-как едет. Баб одиноких вокруг видишь сколько стало? Держи ухо остро. А тебе рано еще. У тебя времени хоть отбавляй. Работать пойдешь, так тебе путь никуда не отрезан, сможешь и доучиться. Если, конечно, поумнееешь. А нет, так сойдет. В общем, после войны видней будет.

— У-у-у, до этого еще дожить надо, — повторила Люська чужие слова.

— Делать-то что любишь? Чего молчишь? Одни хиханьки в уме? Послушай-ка, у Левушки моего есть

.....

в Кинопрокате знакомый. Епишкин его зовут, но мужик серьезный. Попрошу Левушку поговорить с ним, может, пристроят тебя... А сейчас ступай отсюда, мне дела делать надо. Не реви, уладится. С матерью сама поговорю, чтобы не очень на тебя наваливалась. Это лучше, чем она случайно узнает. Так?

Люська кивнула, три рубля за лифчик спрятала и убежала.

Не забыла Марина. У матери вытянула слово, что та пилить не станет. Пускай Люська работать идет, тебе же подспорье. В среду Люська зашла к Марине попросить еще денег. Но та денег больше не дала.

— Нету у меня: все свекровь забирает для учета. Зато есть новость. Кинотеатр «Аврора» знаешь? Войдешь, скажешь, мол, к директору. Тому объясни: я, мол, от Епишкина. Не перепутаешь? Им билетерша нужна.

— Билетерша?

— А ты, милая, кем же предполагала? Чарли Чаплином? Иди, иди! Работа не пыльная. Билеты проверила, и отдыхай себе, в носу ковыряй...

— Кино смотреть можно?

— Да хоть целый день! Не возьмут — тогда приходи, еще подумаем.

В четверг погуляла бывшая восьмиклассница около «Авроры», огляделась. Стены кино были обшарпанные, только с фасада голубой краской покрашены. У входа мальчишки семечки лузгают. Окошко кассы на улице, в нем кассирша дремлет. Билетерша Люську к директору пропустила и с любопытством посмотрела вслед.

В дверь, на которой написано «Директор кинотеатра», Люська постучала робко. Никто не откликнулся, и она вошла.

.....

Директору было на вид лет сорок. Он сидел за столом в коричневом костюме и при галстуке. На Люську директор не глядел, разговаривал по телефону. Долго он говорил, смеялся, наконец скосил на нее глаза.

А была Люська в самодельной черной юбке с разрезом и блузке из кружев, которую ей Марина подарила, потому что самой стала мала. Брови Люська слегка подкрасила, колечко от волос отделила и загнула под глазом, как в довоенном журнале.

Директор положил трубку.

— Ну, чего?

Люська объяснила.

— А лет?

— Семнадцать, — прибавила себе пару годиков Люська.

Мала для такой работы, прикинул директор, солидности не хватает, а так вроде ничего. Авось справится. И потом Епишкин звонил, можно считать указание дал.

Поставили Люську Немец у входа. Пожилая билетерша Фаина Семеновна стала ей показывать, как проверить и оторвать контрольный корешок от билета, изобразила, как без билета лезут, а бывает, число подделают или сеанс. Сама Фаина Семеновна появилась в «Авроре» недавно. Пошла она работать, как только мужа у нее загребли на фронт. Но уже вполне освоилась и, по сравнению с Люськой, чувствовала себя большой начальницей.

— В случае чего, Люся, — учила она, — кричи милиционера, но поста не оставляй. Пускай лучше один хам прорвется, чем орава. Это же государственные деньги, понимать надо!

Люська поняла. Билеты она научилась проверять и отрывать быстро, только руки мелькают. Народ прет, особенно перед самым началом сеанса. Никому до тебя нет дела, скорей бы протиснуться. Все опаздывают, а билетерша одна. Она хозяйка, она командует, и спорить с ней нельзя.

— Проходите, быстрее, не задерживайтесь!

Зрители подчиняются, бегут в зал.

— Вы спутали сеанс, гражданин. Вам на следующий!

И здоровенный дядечка, виновато бормоча оправдания, пятится назад. Ну, а вздумали бы ее не слушаться, что ей тогда одной против толпы делать? Об этом лучше не думать.

Среди зрителей иногда попадались ее бывшие одноклассники. Они удивлялись, подмигивали. Один раз Бомба, Люськина классная, в кино приходила. Остановилась, загородив могучим торсом весь проход, и заявляет:

— Ну, чего ты тут, немец, стоишь столбом? Иди в школу, покайся завучу...

Люська только улыбалась:

— Чего я у вашего завуча забыла? Мне и здесь хорошо!

Настало пыльное лето, потом осень с дождями пришла, и Люська, стало быть, в билетершах приработалась. В госпиталь она бегала теперь не каждый день, но только когда работала в утреннюю смену, да и то все реже. За день Люська так уставала стоять на одном месте, что в палате пересказывала раненым фильмы, сидя на кровати, не танцевала, как раньше. Зато больше картин знала теперь наизусть.

На дневных сеансах народу было мало. Мальчишек-первачков она сама, бывало, подзывала и

.....

потихоньку пропускала без билета. А когда приходил Олег, строго требовала, чтобы брат билет купил. Пускай знает, что Люська спуску не даст.

Директор в зале сидеть не разрешал, велел дежурить у входа. Но он приходил поздно, а уходил рано. И едва начинался сеанс, Люська быстренько задвигала тяжелый засов на двери и пробиралась в зал.

Смотрела она все фильмы подряд, ей не надоело. Была у нее записная книжечка. На каждой странице сверху написано название фильма, а под ним крестики. Посмотрит картину — еще крестик. Этот фильм Люська видела семнадцать раз, тот двадцать четыре, некоторые только девять или семь. Она знала всех артистов в лицо и по фамилиям. Наших, довоенных и новых, и английских, и американских. Она бы узнала любого актера, встретиться он ей на улице. Но нашим артистам у них в городке делать было нечего. Американским и английским — и по-давно.

Иногда директор, проходя мимо деловой походкой, кратко приказывал:

— Зайди в кабинет!

Он велел ей закрыть дверь, сесть, спрашивал ее, как осваивается, чего нужно.

— Нужно для чего? — недоумевала Люська.

— Мало ли, — засмеялся он. — Допустим, для ускорения отрыва билетов.

Разглядывал он ее внимательно, прямо-таки гипнотизировал, но ничего такого не позволял. Велел ей подметать у входа после сеанса, чтобы предприятие было образцовым на случай ревизии. Один раз директор открыл ящик стола и положил конфету, какой Люська не видела целую вечность.

— Это премия за хорошую работу.

.....

Он поднялся из-за стола, прошел к двери и запер ее на ключ.

— А вот это зря, — сразу отрезала Люська.

— Почему же зря? — удивился он. — Поцелуемся, только и делов...

Директор положил ей руку на плечо, пальцы сжал и притянул к себе. Люська напряглась и оттолкнула его.

— Нет уж, вы сперва меня выпустите и сами тут целуйтесь! А то я кричать начну.

— Ух ты, какая нервная, — сказал он. — Да я ведь пошутил...

Он и после иногда так шутил, но осторожно, даже, пожалуй, обходительно. А может, просто не спешил...

Запоздала однажды Люська к началу второй смены. Фаина Семеновна свою вахту отстояла и ушла. Директор лично топтался у входа и проверял билеты, пока Люська не появилась. Она думала, будет нагоняй, а директор указательным пальцем ей по щеке провел и ушел.

Люська точно запомнила этот день, потому что после, проверяя билеты, чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Бывало, директор выходил из кабинета, следил, как она проверяет билеты, и опять скрывался за дверью. Но тут она оглянулась осторожно — в фойе директора нету. Народу на улице у кассы много, в особенно ребятишек. Когда сеанс начался и касса закрылась, а все опоздавшие пробежали и Люська уже задвигала засов на двери, она наконец догадалась.

Неподалеку от входа стоял солдатик на одном костыле, без ноги. Белобрысая челка торчала на лбу. Наверно, зачесывал назад и не получилось. Он был ушастый, как теленок. В ватничке поверх нижней

.....

рубашки и в галифе. Значит, из госпиталя удрал. Прислонился солдатик к стене кинотеатра, обхватив костыль длинными руками, и неотрывно глядел на нее. А стоило Люське обернуться — тотчас отворачивался, будто расписание сеансов в витрине изучал.

Лицо его показалось Люське знакомым. Он в «Аврору» давно приходит. Чего ему надо, этому одноногому? Не иначе как в кино хочет попасть, а денег нету. Известно, как сильно хочется в кино именно тогда, когда нету денег. Люська поманила его пальцем. Солдат отвернулся и быстро заковылял по тротуару прочь. Дурачок! Ему же лучше думала сделать...

На следующий день солдатика не было, а через день он на своем костыле стоял на том же месте. Она его заметила перед двухчасовым сеансом. Но когда Люська его позвала — опять удрал. Ловко он с костылем управлялся.

Что-то она поняла, но засмеялась принужденно и, поведя плечами, сделала вид, будто ей абсолютно ничего не понятно. К ней часто приставали, и она слышала разные слова за спиной. А ему ничего от нее не нужно. Смотрит, и только. Даже не заговорит. Смотреть можно, пожалуйста. Но чего в ней особенного? Вон на улице какие шикарные красотки ходят! Загляденье! Одеты с иголки, несмотря на войну, бери любую, — ту за деньги, эту даром. Куда Люське до них в ношеном да перешитом десять раз!

Через день солдатик опять маячил на улице возле окошка кассы, рассматривал расписание сеансов. Пропустив зрителей, Люська выбрала паузу, подкралась к солдату тихо, так что удрать он не успел, и хватилась рукой за его костыль.

— Хочешь в кино? Говори — хочешь?.. Да я без денег проведу. Подожди!

Парень вздрогнул, покраснел и стал смотреть себе на пыльный сапог.

Когда журнал начался, билетерша оглянулась и поманила его. Теленок заморгал. Она была худющая, маленькая, а он на полголовы выше и года на два старше. Она ввела его в фойе и заперла дверь на засов. В зал она засемила впереди него, а он ковылял за ней, ни на шаг не отставая.

Фильм давали невероятно популярный, народу набилось полно. Люська посадила солдатика на свой стул, а себе принесла табуретку из фойе. Она, если верить ее записной книжке, уже сорок два раза видела «Жди меня». И теперь, смотря в сорок третий раз, заранее улыбалась в смешных местах и, чуть шевеля губами, произносила все, что за ней послушно повторяли герои и героини.

Она чувствовала, что парень смотрит на нее, а не на экран. Люська слегка косила глазами, и солдат тотчас отворачивался. Перед самым концом фильма она побежала открывать двери. Парень вышел последним и остановился.

— Пока! — сказала она.

Он не ответил и с места не сдвинулся.

— Между прочим, меня Люсей звать.

— А я Нефёдов.

— До свидания, Нефёдов. Между прочим, я завтра в первую смену. Последний сеанс в два часа.

Солдатик кивнул и заковылял прочь. Она не стала смотреть ему вслед, закрыла за ним тяжелую дверь и задвинула засов.

Назавтра Нефёдов пришел к двум. И Люська провела его в зал. Наблюдать за тем, как он смотрит, было

.....

интересно. То он замрет, то на губах блуждает робкая улыбка, а то вдруг глаза становятся испуганными. Она помнила, что дальше на экране произойдет, и старалась угадать, как он отнесется. Она показывала ему свой фильм и переживала.

Он был не такой, как другие, этот Нефёдов. Словам других она не верила ни на грош, а тому, что сказал бы он, — да, поверила бы. Но он все время молчал. Только то и дело забывал про кино и смотрел на Люську, пока она не напускала на себя сердитость.

Ее смена кончилась. На четырехчасовой сеанс поверяла билеты Фаина Семеновна. Люська вышла вместе с Нефёдовым. У выхода ее тронул за локоть директор.

— Зайди ко мне, — тихо сказал он.

— Зачем?

— Дело есть!

Люськина рука лежала на костыле Нефёдова, и солдат сжимал ей пальцы. Она освободила руку и убежала, ничего ему не сказав.

Фаина Семеновна, мимо которой она прошла, покачала головой и сделала большие глаза. Директор пропустил Люську в кабинет, закурил, красиво пускал дым, молчал. Она ждала, сложив руки на груди. Он прикрыл дверь, усмехнулся.

— Не бойсь, запирать не буду.

— И не боюсь.

— Давно этим занимаешься?

— Чем? — не поняла она.

— Не прикидывайся, я ведь по-хорошему. Пропускаешь, а деньги в карман. Все вы одинаковые.

Она молчала.

— Хорошо, что не отпираешься. Я все видел. Стоял сзади и видел.

.....

Директор поднялся из-за стола, протопал из угла в угол кабинета, почти задев Люську плечом.

— Ну, провела, — сказала она. — И что же?..

— Государство обманываешь, не меня, Люся Немец, — сухо заметил он. — Товарища Сталина обманываешь. А еще с рекомендацией от Епишкина. И в зале сидишь, уходишь с поста. Не раз ведь тебе указывал... Делиться когда будешь? Половину надо отдавать. Я ведь не для себя — для Проката.

— Не брала я денег!

Удерживаться, чтобы не плакать, Люська училась с детства. И хотя это не всегда получалось, на этот раз она не заплакала. Совсем было бы ни к чему.

— Садись, — приказал директор, вдруг все решив. — На мое место садись.

Она послушно села в кресло. В нем свободно могла уместиться еще такая же девчонка, как она. Он подошел сзади, погладил ее по шее, потом рука его скользнула ей на грудь. Она вскочила, отбежала.

— Значит, не хочешь у нас работать? Противишься руководству. Ладно! Стало быть, вынь в правом ящике бумагу. Пиши! Так пиши: «Директору кинотеатра “Аврора”». Написала?.. Пиши дальше: «Заявление. Прошу меня уволить по собственному желанию». Так... теперь ставь подпись. Можешь жаловаться в Прокат, но не советую.

— Подумаешь, даже лучше!

Люська облизала палец, вымазанный в чернилах, повела плечом и вышла, не попрощавшись.

Тротуар был скользкий. Она поежилась от белых хлопьев, нехотя падающих на нее. Шел первый снег в эту осень. Нефёдов терпеливо стоял у афиши, опершись о костыль, ждал ее.

— Уволили, — сказала Люська.

.....

Он взял ее руку, держал и молчал. Ему хотелось ее утешить, помочь ей, но он не знал, как это сделать. Хотел снять ватник, чтобы укрыть ее от снега, и зас- теснялся.

— Знаешь чего? — сказал Нефёдов. — Айда в гос- питаль...

— Зачем?

— Там тепло.

— Ты вообще-то из какой палаты?

— Из седьмой я...

— Из седьмой? Туда я не хожу. Я только к тяже- лым, которые не могут вставать. А ты выздоравлива- ющий...

— Пойдем к нам. Главврача я упрошу — он тебя санитаркой возьмет. Целый день будем видеться.

— Чудак ты, Нефёдов! — она ласково на него по- смотрела. — Да если санитаркой пойду, ко мне це- лыми ротами приставать будут, а ты будешь смот- реть.

— Пускай только попробуют! Я костылем так вре- жу, что враз отвяжутся.

— Как будто у них своих костылей нет... Ну, ладно, мне домой пора, мать с ума сойдет.

Люське хотелось остаться одной. Она дрожала — то ли от холода и сырости, то ли от усталости.

— А завтра? — спросил он, глядя на нее испуган- ными глазами. — Завтра придешь? Придешь завт- ра?..

Она чуть заметно повела плечами и убежала.

Директор «Авроры» открыл окно, отодвинул за- навеску, вдохнул сырой воздух. Два силуэта привлек- ли его внимание, и он сразу узнал их. На углу, возле входа в его кинотеатр, уволенная билетерша расста- лась с одноногим безбилетником.

7. Нефёдов и Нефёдова

С некоторых пор мать стала присматриваться к Люське внимательнее. Люська чувствовала, что мать ею недовольна. Не бранит ее, конечно, осторожничает, знает ведь, что дочь огрызнется. Но и не так ласкова мать, как прежде. У Олега, так у того все на лице написано, а у Люськи теперь тайны. Видно, что мать расспросить порывается. То и дело очень хочет спросить и о том, и о сем, но удерживается, потому что Люська молчит, и что происходит, не понять.

Люська влюбилась, как же. Вот смеху-то! Ну, допустим. Допустим, влюбилась. Матери, которая уже навоображала в голове с три короба, что тоже понятно, на всякий случай хочется предостеречь, и она говорит как бы нейтрально:

— Смотри, доченька, не наделай глупостей!

— Да о чем ты, ма? Чепуха какая!

Люська заранее знает все, что мать ей скажет. Ну чего она может ей посоветовать?

— Осторожно, Люся, веди себя. Ты еще неопытная, сейчас, знаешь, какие люди стали? Война все человеческое повытравила, а все животное вылезало. Если что, отец мне не простит.

У матери-то все просто было, а тут... Но уж если ты, мать, считаешь, что твоя дочь дурой растет, так раньше надо было беспокоиться. Поезд ушел. Мало ли чего тебе в голову лезет! Теперь дочь, можно считать, взрослая, хоть ты ее и числишь несмышленишем. Раз взрослая, может и личные тайны иметь. И потом, война войной, а жизнь-то проходит, как песок между пальцев.

Хочется матери его увидеть. Можно подумать, она сразу разберется, хороший он или плохой. Зачем ей

.....

его видеть, если дочь сама еще не понимает? Настроись слишком серьезно, а потом поссоримся. Мать обязательно сразу заметит:

— Вот-вот! Предвидела ведь. Так и вышло.

Стало быть, гораздо удобнее, если мать ничего не знает, ведь тогда и предвидеть ей нечего. Сперва Люська сама разберется. Ты спи себе спокойно, дорогой товарищ мать, на улицу вечером по двадцать раз встречать не выбегай. А хочешь попусту нервы тратить — беспокойся на здоровье, если считаешь, что дочь у тебя дебилочка.

Люське ясно, конечно, почему мать беспокоится. Пришла она недавно домой вечером, а Олег — кто его за язык тянет? — говорит:

— Все знаю! Я тебя возле госпиталя видел! На скамейке обнималась — с одноногим.

— Знаешь, Немец, и молчи! Не твое дело!

Происходящее его, Олега, совершенно не касается: хоть он и брат, но младший. Олег обиделся.

— Думаешь, не понимаю? Сам знаю, что не мое дело. Просто тебя с одноногим видел, и все! Он что — твой жених?

— Не зови его одноногим! У него, между прочим, имя есть: Нефёдов он.

— Пускай Нефёдов. Мне все равно. Да ты не бойся, я матери ничего не сказал.

— Я и не боюсь.

— И не бойся! Только... Мать-то думает, что это не Нефёдов. Она беспокоится, что это Косой за тобой ударяет.

— Она что — ненормальная?

— Нормальная! Косой же приходил — она видела. Косого она возле нашего дома видела, а Нефёдова — нет.

— Косого я сразу прогнала. Велела, чтобы он на глаза мне не появлялся.

— Дура ты! Мало ли что велела... Так он тебя и послушает! Я теперь из школы домой боюсь ходить. Их много, они знаешь что у плотины творят?..

Дела шайки Косого у плотины известны были всему городу. Люська знала еще побольше Олега, потому что ей Косой кое-чем похвально.

Начал он приставать к Люське, еще когда она в кино билетершей работала. Люська с ним старалась не болтать и на работе его не очень боялась: народу там кругом полно, по вечерам милиционер дежурит, и военный патруль норовит в кино время скоротать. Но Косой выжидал, когда никого не будет, останавливался возле Люськи и говорил всякие глупости насчет ее прелестей. Да еще руками норовил ее ухватить. Люська кричала:

— А ну, убери руки!

Тут обычно люди с билетами подваливали, и Косой исчезал, разве что глазами зыркал и злобно цедил что-то сквозь зубы.

Вскоре Люську выгнали из кино.

Раз она из госпиталя возвращалась, уже когда ее санитаркой туда временно на подмену взяли, — без денег, но за питание. Она издали усмотрела, что вся шайка Косого толчется на плотине у ларька с надписью «Мороженое». У них проволочные крючки — за возы сзади цепляться на коньках и по замерзшим колеям ехать. Они мальчишек подкарауливают и крючками за валенки цепляют. Упавшего подтаскивают к забору, окружают компанией и срезают коньки. Если сопротивляешься — еще и бьют, а коньки продают на рынке. Ребята плачут, а дружки Косого над ними издеваются.

Бежит Люська домой быстро, задыхаясь, уже и холода не чувствует, и темноты не замечает, остался страх один. Обойти бы эту компанию стороной, да вокруг пути нету: одна единственная дорога через плотину. Снег, как на зло, хрустит под ногами от мороза. Может, надеется Люська, в темноте не заметят. Но маленький парнишка, которого они Шкаликком зовут, всегда за Косым ходит как тень, все ему доносит и служит на побегушках. Косой эту свою шестерку уже в «Аврору» к Люське подсылал. Шкалик подбегал к ней и шептал:

— Косой велит тебе, Люська, после работы подойти к заднему выходу из кино, там, где помойка и где он, Косой, лично тебя будет ожидать. Не придешь — тебе же хуже.

Тогда Люська от Шкалика отвернулась, даже ответом не удостоила.

Тут, на плотине, она сразу, как их увидела, хромать начала. Думает, буду идти хромая, в темноте не узнают, и приставать не будут: ну, кому хромая да убогая девушка нужна? Пошла она, ковыляя изо всех сил, но не тут-то было. Шкалик первым ее высмотрел, возле самых ее ног дорогу для проверки перебежал и — прямо к Косому с важным сообщением. Привстал на цыпочки и тому на ухо про Люську. Люська бежит, хромая на одну ногу, ни жива ни мертва.

Косой шлепнул Шкалика по голове и сразу побежал наперерез. Люське деваться некуда. Остановилась она в растерянности, не зная, куда податься. Он подошел вплотную и стал ее разглядывать.

— Ты, — спрашивает Косой, — разве не ко мне шла?

— Нет, — отвечает она, — не к тебе.

— Неправильно, Люся, поступаешь. Зачем хромой прикидываешься? Тебе это не идет. Ты мной лучше не брезгуй!

— Это почему же?

— Потому что я тобой интересуюсь. А ты мимо бегёшь. Боишься кого что ли?

— Боюсь.

— Не бойсь! Пока я на воле, тебя никто не тронет, кроме меня, поняла? Пойдем, я с тобой до дому проследую, чтобы все видели, что ты моя краля.

— Я не твоя!

— А будешь моя. У меня как раз в данный момент подруги нету. Вакансия.

Хватает он Люську за галию, поворачивает и становится с дороги в сторону. Был бы с ней сейчас отец, подумала она, он бы защитил, что-нибудь сделал, не позволил бы так с ней поступать. Люська, надеясь отделаться от Косого, идет быстрыми шагами, а он рядом топает, ни на шаг не отставая.

— Ты, — говорит, — Люся, отчего хмурая? Может, голодная? Не стесняйся. Завтра приходи на плотину, я тебя хлебом обеспечу. В шесть часов фургон из пекарни в магазин едет. Ну, мы шутим маленько. Вскрываем его на ходу и несколько буханок выкидываем.

— А если поймают?

— Поймают — срок дадут. Хе-хе! Может, отобьемся. Ножички у нас — сталь хорошая. Немецкая сталь, трофейная. А поймают разом — там питание казенное... Приходи, краля, хлеба дадим.

— Нет, — говорит Люська, — не приду.

— Придешь! — говорит Косой. — Никуда не денешься. Не придешь завтра — пеняй на себя.

Он вдруг притопнул ногой и запел звонким и чистым голосом:

.....

— Милый мой, а я твоя,
Куда хошь девай меня,
Хочешь, в карты проиграй,
Хошь, товарищам отдай!
Эх!..

Довел он Люську до дому, а тут, с крыльца, мать навстречу: не выдержала — отправилась дочку встречать. Косой к забору отошел, но мать его все равно заметила. Взяла она Люську под руку и домой отвела. Дома ничего не стала спрашивать, только кровать ей постелила.

Очень Люська стала бояться. И не за себя только — за брата. Косой не из тех, кто просто так отступается. А Олегу из школы во вторую смену потемну домой добираться. Поколебавшись, решила Люська пойти его встречать.

Наверное, Шкалик ее еще по дороге туда приметил. На обратном пути из школы Олег вдруг остановился и Люське кивком головы указал:

— Вот они, вся компания. Нас поджидают. Зачем ты только за мной пошла?

Едва они поравнялись, Олега за рукав в сторону потянули. Люська им кричит:

— Не трогайте его, он же маленький!

— Его и не трогает никто, — вмешался Косой и приказал. — Отпустите!

Они руки разжали. Косой пнул Олега ногой и прощедил сквозь зубы:

— Беги отсюда, чтоб я тебя не видел. Ну, кому сказано?

Не уходил Олег, стоял, потому что Косой не отпускал Люську, не давал ей пройти, руки расставил.

— Оставайся, краля, с нами. Неужели не поняла?

— Пусти меня! — она попыталась вырваться из кольца, плотно их окружавшего.

От Косого несло самогоном. Он схватил Люську обеими руками за края воротника и так рванул пальто, что все пуговицы посыпались. Косой оскалил зубы и вдруг набросился на Люську. Повалив на снег, он вытащил нож и, прижав лезвие к ее горлу, стал обшаривать ее другой рукой. Стоявшие вокруг похохатывали, присвистывали, подбадривали Косого. Люська уворачивалась, защищая то одну свою часть, то другую, закричала, но кто-то содрал с нее вязаную шапочку и в рот ей засунул. Она изо всех сил отталкивала его, и тогда руки ей развели его приятели и ногами к земле придавили.

Олег пролез между ног у стоявших вокруг и, ухватив Косого за ногу, укусил. Косой матюгнулся и лягнул ботинком в пах Олега так, что тот откатился и некоторое время лежал без сознания, не чувствовал даже, как его били ногами другие.

Косой справился с Люськой, но она так стонала и извивалась, что все у него получилось быстро и нелепо. И тогда он полуподнялся, стоя на коленях у нее в ногах, угомонился, даже вынул шапочку у нее изо рта и помог ей подняться. Она всхлипывала и прикрывала руками полы пальто, хотя холода не чувствовала. Приятели его молчали, ждали, что будет делать атаман.

— Пустите ее, — рявкнул он, застегивая штаны.

Люську трясло, и она еле стояла на ногах.

— Сама же виновата, дура, — Косой теперь размяк, и ему хотелось поговорить, а может, оправдаться. — Буханочку дать? Свеженькая. Братана накормишь, и мать тоже...

Она не отвечала, закрывая лицо ладонями. Только отрицательно мотнула головой. Кольцо его приятелей раздвинулось, давая ей пройти.

— Интересно получается! — продолжал он. — Не хочет хлеба, видали? Гордая ты больно, но это мы обломаем. Вот что: завтра в шесть часов придешь к «Авроре». Желаю с тобой прошвырнуться на киносеанс, ясно? Пугать не буду, ты меня знаешь. А сейчас ступай, краля, — вон братан твой скучает.

Олег сидел на снегу и тоже не то плакал, не то подвывал. Губа у него была разбита.

— Ты живой? — она помогла ему подняться.

Косой поглядел на них и, сплюнув, прибавил:

— Шкалик, а ну проводи их до дому до хаты, чтобы чужие случаем не забили.

Шкалик послушно потащился сзади Люськи с Олегом. Они брели молча, словом не обмолвившись, и Шкалик семенил за ними, как послушная собачонка. Довел их до самого дома и убежал.

Погляделась Люська в зеркало: на шее у нее много кровоточила полоска, оставленная ножом. Люська про себя твердо решила ничего не говорить матери и с Нефёдовым больше не встречаться, раз она теперь такая испорченная. Но как дальше жить, не ясно. Жизнь у Люськи отняли, она бы повесилась, но мужества на это не хватило.

Утром, когда мать убежала на работу, Олег вдруг, собираясь в школу, спрашивает:

— Ты Нефёдову скажешь, как Косой к тебе приставал?

Она растерялась.

— Только не вздумай, — отвечает она, — пойти жаловаться Нефёдову. Стыдно это. Он после ранения, ходит на костыле, а у них ножи. Я вообще его видеть не хочу!

— Значит, боишься за него?

— Боюсь!

— Видеть не хочешь, но беспокоишься. А за себя, значит, не боишься?

— Тоже боюсь, но...

Что «но», она не знала.

Олег убежал в школу, а когда вернулся, Люська поняла, что брат хитрит.

— Знаешь, Люсь, надо вечером пойти к «Авроре».

— Еще чего не хватало!

— Надо и все! Нету другого выхода. Если не пойдешь, они все равно тебя потом опять поймают и будут мучать. Иди к «Авроре» в шесть.

— Ты что, к Нефёдову ходил?

— Неважно, ходил или нет, — ответил ей брат степенно, — но Нефёдов сказал, обязательно прийти.

Долго Олег молчать не мог, и постепенно Люська от него выведала, что братец ее два урока прогулял, потому что бегал в госпиталь. Его туда не пустили, и тогда он издали, через окно, высмотрел Нефёдова в палате, вызвал его во двор и там все ему выложил.

— Ну, не все, — поправился Олег. — Все ты ему сама рассказывай, если хочешь...

Еще Люська узнала, что Нефёдов долго молчал, выслушав Олега, и сказал, что он это дело до вечера обмозгует, но так или иначе ровно в шесть вечера будет у кино, и чтобы Люська не опаздывала. И Нефёдов прибавил, чтобы Олег не приходил, глаз Косому не мозолил и не мешался. А то все можно испортить.

Люська весь день просидела дома и проплакала, к вечеру смирилась и решила: пусть будет, что будет, а пойти — она все-таки пойдет. Олег прав, нельзя ей не пойти. Иначе — получится, что Нефёдов будет ее ждать, и выйдет, что она его обманула.

Так она себя уговорила, а под конец надумала, что она должна выложить Нефёдову про все, что случи-

.....

лось, и потом с ним попрощаться. Про Косого она старалась не думать. Она даже причесываться как следует не стала, не то что брови и ресницы подводить, что ей шло. Пудру материну почти не брала, а уж о губах и говорить нечего, что не подкрасила. Только царапину на шее попыталась, как отец когда-то говорил, заретушировать. К пальтишку другие пуговицы пришила, закуталась в платок шерстяной, на самый нос его натянула, вздохнула тяжело да пошла.

Приближаясь осторожно к кино, Люська издала увидела: неподалеку от кассы Нефёдов в своем военном ватничке маячит. В одной руке костыль, другой рукой железные перила обхватил, — так ему легче стоять на одной ноге. Перила эти возле кассы поставили, чтобы без очереди за билетами не лезли. Стоит Нефёдов и расписание сеансов изучает. Люська подошла к нему, и глаза у нее сами собой слезами набухли. Люська занервничала, стало ей жарко, и она расстегнула пальтецо. Глядят они друг на друга, только железные перила их разделяют.

— Что это у тебя, Люся? — спрашивает Нефёдов и кладет ей руку на шею.

— Так... — захлопала мокрыми ресницами она. — Вчера ножом... порезалась, когда картошку чистила...

— Ясненько, — говорит Нефёдов. — Не плачь, Люся, и никого не бойся. Я с тобой.

Осталось Люське лишь невольно улыбнуться сквозь слезы. Ведь она маленькая и то здоровей Нефёдова, а он говорит, не бойся.

Тут Косой показался. Приостановился, курнул папироску два раза, дал курнуть Шкалику, который позади него, как хвост, и прямым ходом к Люське.

— Здравсте, — говорит. — Пришла, краля? Я и не сумлевался...

.....

Руку протянув, хочет схватить Люську за локоть. Но не успел он. Нефёдов мгновенно подлез под железные перила и между Люськой и Косым костыль свой поставил.

— Пойдем, Люся, — жестко сказал он, игнорируя Косого, — нам с тобой в кино пора. Некогда с посторонними разговаривать, а то опоздаем. Билеты уже куплены.

Косой отодвигает костыль, Люськину руку отпускает, сжимает пальцами плечо солдатику и бурчит ему в ухо:

— Слушай, ты, красная армия! Ползи отсюда, пока я тебе кишки не вспорол...

Но вокруг народ, и милиционер, который Люську знает с тех времен, когда она тут работала, скучает в двух шагах от них и Люське улыбается. Берет Нефёдов Люську под руку и, стуча костылем об лед, посыпанный возле входа песком, тянет ее к двери в кино. Косой плетется позади и, видимо, соображает, где и когда ему этого хромого солдатику убраться с дороги. Люська послушно идет с Нефёдовым, но едва дышит и думает даже, что, может, ей остановиться, чтобы Нефёдов ушел в кино один: ведь что с ним Косой сделает — это представить страшно.

— «Сердца четырех» идет... Ты, небось, этот фильм видела? — спрашивает между тем Нефёдов.

— Я все фильмы видела, — скромно отвечает Люська, едва шевеля губами.

Нефёдов вталкивает Люську в фойе, протягивая билетерше Фаине Семеновне билеты, а Люська с ней здоровается. Косой со Шкаликком бросаются за ними, а билетов у них нет. Билетерша реагирует немедленно и строго:

— Ваш билет, гражданин! Нету? Тогда куда ж вы прете да еще с ребенком?

.....

Косой сует билетерше купюру, а она его руку отталкивает:

— Идите на здоровье в кассу!

Потому что директор стоит у своего кабинета и следит за происходящим.

В зале смеркается: механик свет реостатом медленно гасит. Люська надеется, что сейчас фильм начнется и Косой их в темном зале не найдет. Но не успели они до своих мест дойти — она видит, что Косой, купив билеты, к ним проталкивается. Нефёдов с Люськой вдвоем на одном костыле и трех ногах ковыляют, а он на своих здоровых двух — за ними. Но все-таки они уже пробираются по проходу к своим местам.

Люська помогает Нефёдову сесть, костыль у него, как всегда, берет, а у самой сердце в пятки ушло. Киножурнал начался. Музыка бодрая звучит, и показывают, как советские войска Варшаву берут и как фашисты драпают. Косой в темноте по ряду продирается, добрался до них, но мест свободных возле них нету. Шкалик в проходе сел на пол и фильм смотрит.

Косой запыхался, сопит и говорит Нефёдову:

— Эй, ты, красная армия! Вот тебе, падло, мой билет и ступай отседова на мое место, здесь я посижу.

Нефёдов голову подвинул, чтобы Косой ему экран не загораживал, и отвечает холодно:

— Спасибо, но мне и тут неплохо. Так что иди, парень, на свое место и не застилай своим телом кино.

И рукой отодвигает Косого в сторону. Сзади из зала Косому кричат, что он экран загораживает, смотреть взятие Варшавы мешает.

В гневе Косой руку нефёдовскую стряхнул с себя и берет его за грудки.

— Кому сказано, вышвыривайся отсюда!

У него аж пена на губах и матерщина, как горох, сыплется. Люська сидит ни жива ни мертва, только локоть Нефёдова от страха сжимает. Нефёдов берет из рук Люськи костыль, упирает подлокотник Косому в подбородок и рывком приподнимает костыль вверх, так что голова Косого откидывается назад. Косой отбивает рукой костыль так, что тот с грохотом летит мимо в проход, а сам лезет за пазуху, и у него в руке оказывается финка.

— Нефёдов! — в отчаянии кричит Люська. — У него нож! нож! нож!..

В эту секунду в ряду перед ними поднимаются два человека и заламывают Косому руки, согнув его через стулья так, что вот-вот переломят ему спину пополам. С боков поднимаются еще чьи-то руки и мертвой хваткой берут Косого за ноги, чтобы он не мог брыкнуться.

Сзади кричат:

— Безобразие! Сядьте, кина не видно!

Им спереди отвечают:

— Щчас, щчас, граждане, не волнуйтесь! Один момент, и будет порядок...

— Шкалик, — выкрикнул Косой. — Дуй до плотины, зови ребят, наших бьют!

— Заткнись! — рявкнул чей-то угрюмый бас.

Слышно, как Косой хрипит. Видит Люська, что его выносят, и он исчезает в темноте.

Через некоторое время те, кто выносили Косого, вернулись и опять сели впереди Нефёдова с Люськой. Один из них протянул назад пятерню и пожал Нефёдову руку.

Услышав крики, прибежала в зал билетерша Фаина Семеновна. Киножурнал остановили, в зале зажгли свет.

— Что здесь происходит, граждане? Почему шум?
За билетершей следом в зал протопали трое в матросских бушлатах с автоматами — военный патруль. Только теперь Люська увидела, что в зале, впереди них и кругом, сидят раненые из госпиталя, одетые кто во что горазд, как могут одеваться только раненые: кто в шинели, кто в ватнике, кто в одной пижаме. Это в такой мороз-то!

Патрульные прошагали по одному проходу и вернулись к фойе по другому. Убедившись, что все в зале в порядке, они ушли следом за билетершей.

Свет в зале снова погасили, и вместо журнала стали крутить дальше «Сердца четырех». Первый раз в жизни Люська не смотрела на экран и ничего, кроме Нефёдова, не видела. Вспомнила только про костыль, который упал в проход, нагнулась и подняла. Отдала своему стойкому оловянному солдатику костыль, и как-то так получилось, что она сама взяла его под руку.

Нефёдов к ней наклонился, прижал ее руку к пушистой своей щеке и молчал, но руку не отпускал, держал на своей щеке весь фильм. В конце Люська сказала:

— Нефёдов! У меня рука затекла.

Фильм кончился, в зале загрела веселая песенка. Зрители поднялись со своих мест и двигались по проходам в сторону дверей с надписью «Выход». Вдруг движение застопорилось, в тамбуре перед выходом образовалась толпа, послышались крики, потом стало тихо. Толпа не двигалась, но стояла полукругом, не решаясь идти дальше, на выход.

— Да что там такое? Дайте пройти...

— Двигайтесь, граждане, не задерживайте остальных!

- Куды двигаться-то? Там покойник...
— Где покойник?
— Да вот, прямо тут, у выхода...
— Так милицию надо вызывать. Где милиция?

Люська с Нефёдовым протолкались вперед и раздвинули чьи-то плечи: на полу, возле стены, лежал скорчившись человек. Руки его были связаны сзади, а на голову надет клеенчатый мешок, перетянутый на шее веревкой. Лежавший не двигался и, видно, уже давно задохнулся. Люська сразу сообразила, в чем дело, не ахнула, не пикнула, только прижалась грудью к руке Нефёдова. Он поглядел на труп спокойно, даже равнодушно и сказал:

— Пойдем отсюда, Люся. Ничего тут для нас интересного нет.

— Слушай, Нефёдов! — прошептала Люська ему в самое ухо. — Зайдем к нам? Познакомлю с мамой...

Зрители стали потихоньку продвигаться к выходу, боязливо обходя стороной тело, лежащее у стены. Только раненые из госпиталя подталкивали друг друга, выбираясь из зала, и, дымя сигарками, балагурили, будто ничего не произошло.

Через полгода, когда солдат Нефёдов стал студентом пединститута, они с Люськой пошли в очередной раз в кино «Аврора», и Люська ему вдруг прошептала:

— Слушай, Нефёдов! Я хочу, чтобы ты на мне женился...

Люська Немец действительно стала Люськой Нефёдовой, но произошло это после войны и не сразу. Потом Нефёдовы превратили мать в бабушку, подарив ей двух внучков, таких же белобрысых, как их одноногий отец. Но это совсем другая, сторонняя история, а в этой пора поставить точку.

8. Земной шар на нитке

Олег Немец не любит безделушек. С годами накапливается их в квартире множество — сувениров, статуэток, висюлек разных. Однажды, когда в Америку отбывали, все это пришлось оставить, и, Олег думал, навсегда. Но вот теперь в его двухэтажном доме, где число комнат определить трудно из-за недостаточного количества перегородок, безделушки опять появились, и количество их растет еще быстрее, чем раньше.

Жене они нравятся, ее руки расставляют везде слоников, собачек и кошек, буддийских божков, мексиканских дракончиков и гавайских человечков из лавы, не говоря уже о русских поделках: матрешках, глиняных зверьках и свистульках, тульских самоварчиках, валдайских колокольчиках, вологодских деревянных игрушках.

Куда бы они с Олегом ни ехали, что-то привозится — благо в любой стране такого товара более чем достаточно. С новыми экспонатами Нинель переставляет весь антураж наново. Стоят и лежат эти сувениры в доме у Немцев на полках, на столах, на подоконниках, за стеклами в серванте, на тумбочках в спальне, в ваннах и туалетах, — везде мозолят глаза, хоть выбрасывай потихоньку от жены. Олег даже ссорился с ней из-за этого. У современного человека, убеждал он, достаточно воображения, чтобы украшения домославить. Когда заходит разговор на эту тему, он готов всех уверять, что самая уютная комната та, в которой только что побелили потолок и стены, а мебель вносить не собираются. Мало мебели — много воздуха, есть можно стоя, спать на полу.

.....

Говорит так Олег не ради оригинальничания и не потому, что он аскет. Он действительно не любит лишних вещей. При этом есть одно исключение, которое делает его уязвимым в споре с женой, поэтому она не обижается. Она молча указывает на сервант.

Там у Немца хранится безделушка, которую он бережет. Всю жизнь она с ним. В школу в портфеле носил. В консерваторском общежитии в коробке под кроватью лежала. Вывез ее в чемодане, и таможенники, когда все вещи выворачивали, эту штуку повертели, ничего в ней не обнаружили и в чемодан обратно швырнули. Сейчас она в серванте за стеклом. Валеша, сын, давным-давно, еще когда маленьким был, привязал к ней ниточку. Висит.

Издали это голубой шарик не больше мяча для игры в пинг-понг. Подойдешь ближе — различаешь материки, океаны, Европа, Африка, вот обе Америки, Австралия. Но лучше шарик рассматривать в лупу — тогда и города видны, и горы, и реки. Вот и Европа наша с Азией, сшитая так, что границы нет. На месте Северной Америки маленькая вмятинка. Словом, маленький глобус. Крутанешь пальцем — он на нитке завертится. Только знать надо, в какую сторону вертеть, чтобы не обидеть старика Коперника.

Шар покрутится, замрет, и тут становится видно, что все же глобус этот странный. Все очертания материков обведены жирной черной полоской, реки заметны. Точками обозначены и Москва, и Париж, и Лондон, и Пекин, и Вашингтон, и Рио-де-Жанейро. Но нет того, что должно быть на любой карте: нет границ государств. Все материки окрашены одной светло-коричневой краской.

В одном месте, если приглядеться еще пристальней, точка имеется в районе Урала. Точку ту Олег сам

нанес. Выцарапал он ее вилкой на память, когда принес глобус домой. Было это в сорок четвертом...

После школы, забросив в окно портфель, Олег в компании ребят со двора забирался в трамвай. Билетов они не брали, а чтобы вагоновожатая их не видела, прилаживались в заднем тамбуре на корточки. Трамвай шатало и подбрасывало на ухабах так, будто он двигался без рельсов. Стекла забиты фанерой, только на площадке светло, потому что дверь оторвана. Сидят пацаны на трамвайной площадке и вытаскивают из кармана вчерашние трофеи: гильзы, патроны от пистолетов, сигнальные лампочки из приборов. Идет обмен.

- Два патрона на лампочку.
- Десять гильз на один патрон.
- Дай сперва поглядеть!
- Чего глядеть? Патрона не видал?..

Они сговариваются, но тут трамвай взлетает на ухабе, патрон вместе с лампочкой и гильзами выпрыгивают из рук и проваливаются через щель в полу.

Ехали они до конечной остановки возле вокзала. Наконец, трамвай, повизжав, останавливался на круге. Дальше дорога шла через болото и заброшенный карьер, заросший мелкой кусачей крапивой, к заводской свалке. Свалка располагалась по обе стороны железнодорожной ветки, которая уходила в тупик. Каждый день в тупик загоняли состав с тяжелым краном впереди. Ребята прятались за кусты и крапиву, оттуда внимательно следя за тем, что привезли сегодня, терпеливо ждали.

Кран, пыхтя, разворачивался, и два пожилых работяги в рваных гимнастерках подтаскивали крюк к ближайшей платформе, на которой громоздился разбитый немецкий танк, привезенный с

.....

фронта на переплавку. Рабочие обматывали танк тросами, за них цепляли крюк и отбегали в сторону. Крюк уползал вверх. Танк, поколебавшись и цепляясь за стоявших рядом таких же разбитых уродов, поднимался над платформой и медленно опускался на свалку.

После этого кран отдыхал, отдуваясь паром, а тем временем паровозик-кукушка простуженно свистел и выезжал из тупика. Пустую платформу отцепляли и к крану подогнали другой вагон, с мятыми бронемашинами или пушками. Такую мелочь работяги подвешивали на крюк попарно.

Разгрузив состав, кран убирался из тупика, оставляя на кустах белые клоки пара и копоть. Не успевал он скрыться из виду, как пираты высыпали из засады. Обгоняя друг друга, спотыкаясь о рельсы, перепрыгивая через голые автомобильные рамы и рваные куски металла, братва мчалась сломя голову вниз. Главное — первым забраться в танк. Первым, пока все в целости, пока ничего не отвинтили, не отковыряли, не отломали там самое ценное.

В тот день Олег летел к «тигру». Он забрался на башню танка, попытался приподнять заржавевший люк — не тут-то было. Откуда взять силенок при тех скудных харчах? Подоспели приятели, стали помогать. Вчетвером они кое-как оторвали крышку. Олег ухватился руками за края отверстия и перемахнул внутрь. Дальше все известно. Ноги сами проваливаются, куда надо. Успевай только руками перехватываться. Мгновение — и ты уже на сиденье механика-водителя. Разваливаешься в блаженстве и полной тишине. От мира тебя отделяет броня толщиной в доску. Впереди узкая смотровая щель бросает отсвет на приборы. Тут они все, целехонькие, отвинчивай что

хочешь. Это трофейное, значит, ничье. Все равно пойдет в печь на переплавку, сгорит.

— Эй! Ну что там? — кричат сверху. — Лампочки есть?

— Порядок! — отвечает Олег, задрав голову, чтобы они лучше расслышали. — Еще никто не разбойничал. Факт!

Олег, с трудом дотянувшись, упирается ногами в педали. Заводит мотор, тянет на себя рычаг скорости и едет. Мотор ревет. Только это не мотор, а Олег сам тарыхтит:

— Т-р-р-р-р-тр-тр... Та-та-та! Тр-р-р...

Замолчал Олег, тихо стало. И тут задел он ногой некий предмет, который покатился по стальному полу, задребезжал. Олег наклонился посмотреть — внизу темно, ничего не видно. Он попытался дотянуться рукой до убегающей вещи и больно ударился виском об острый выступ. Помнит только — схватил пальцами то, за чем тянулся, другой рукой провел по лбу — вытер струйку теплой крови и потерял сознание.

Очнулся он на кровати в просторной комнате, похожей на класс. Забинтованная голова болит, кружится, слабость невероятная. Вокруг на кроватях сидят и лежат раненые. Он поднес руку к лицу, — что-то сжато в кулаке. Разжал пальцы — на ладони совсем маленький земной шар. На своих местах голубые океаны и материки. Взял Олег глобус двумя пальцами, повертел. От окна на землю, которую он держал в руках, падал свет; с одной стороны был день, а с противоположной ночь, — точно, как учительница в классе объясняла.

Пальцы были слабые, не слушались, и шар упал на пол. Олег повернулся на кровати, чтобы его под-

.....

нять, и видит: точно по экватору земной шар развалился на две половинки. Спрятал Олег обе половинки под подушку и спрашивает раненого, тоже с перевязанной головой, лежащего на соседней койке:

— Где я?

— В госпитале, — отвечает тот.

— Зачем?

— Да уж не знаю. Дружки твои тебя, говорят, приволокли. Сказывали, на свалке ты головой приложился, они тебя вытащили. У вокзала, аккурат, раненых с поезда на трамвай перегружали. Ну, и тебя подобрали заодно, не бросать же... Благодарю бога, что на мину не напоролся или на необезвреженный снаряд! Куски бы твои не стали собирать.

В палату заглянул хирург. Он сел к Олегу на кровать и сказал:

— Живой? А ну, зрачки покажи!

Олег широко, как мог, открыл глаза.

— Не тошнит?

— Не...

— Раз так — нечего тут место занимать! Перевязку сделали — и марш домой. Дома отлежишься. У меня вон, тяжелые с эшелона в коридорах лежат. А тут, подумаешь, лоб зашили! Дать ему ужин и выгнать! Через три дня придешь — сниму швы.

Мать перепугалась, увидев сына с перевязанной головой. В госпитале бинта не пожалели, накрутили целый чурбан. Весь вечер она просидела возле него, держа ладонь у Олега на лбу. Через три дня чурбан с Олега сняли. А шрам с левой стороны лба остался на всю жизнь.

Сперва Немец стыдился, прикрывал шрам рукой, то и дело ощупывал его пальцем. Но от шрама появилось в олеговом лице что-то уголовное, и во дворе

.....

после войны незнакомые пацаны осторожничали. Раз со шрамами, значит, человек бывалый и не надо к нему приставать. Когда его спрашивали, он скромно отвечал, что шрам у него остался после танка. Привычка трогать лоб пальцем сохранилась, и можно подумать, что Олег задумывается, приставив палец ко лбу.

С годами он так привык видеть шрам в зеркале, что если б красноватая полоска в одно прекрасное утро исчезла, Немец удивился бы, как известный гоголевский герой, который не обнаружил собственного носа. Но шрам, никуда не деться, остался на всю жизнь. Жена в порыве нежности любит целовать Олега в лоб, прикасаясь губами ко шву, говоря при этом, что целует героя войны.

Земной шарик ездил с Олегом из города в город после войны и висит теперь в серванте в доме Немцев в Сан-Франциско. Но так и не узнал Олег, почему и как эта безделушка очутилась в германском «тигре», — мог только сочинять разные истории. Глобус хранил свою географическую (а может, и еще какую-нибудь) тайну и не собирался ею делиться...

И вот теперь симфонический оркестр, в котором Олегу Немцу платят зарплату за то, что он умело водит взад-вперед смычком по струнам, прилетел в полном составе в Вену. Кроме Вены, у американских музыкантов был контракт на концерты в Граце, Инсбруке, Линце и — в самом конце — на родине Моцарта в Зальцбурге, на международном фестивале классической музыки. После оваций в Вене оркестрантов перемещали из города в город на двух туристических автобусах, наполовину загруженных ящиками и футлярами с инструментами. Олег изрядно устал и мечтал скорей прилететь домой, а им предстоял длинный путь через скользкий в эту пору перевал из Линца в Зальцбург.

.....

Дело близилось к ночи, оркестр рисковал остаться голодным, если поздно попадет в гостиницу. До Зальцбурга еще оставалось верст около ста, когда энергичная первая скрипка Эми О'Коннер предупредила, что, если ее немедленно не накормят, у нее завтра не будет сил доиграть до конца Первую симфонию Малера. Водитель кивнул, сбросил скорость, съехал с автобана и замер на площадке перед маленьким ресторанчиком в стиле охотничьей хижины.

Оказалось, они остановились на самой австро-германской границе. Вокруг до горизонта видные при свете луны Альпы, заросшие лесами, и под ногами аккуратно подстриженная зеленая трава. Дорожка, уложенная гладким камнем, ведет к дому. Дом этот деревянный, с большим крыльцом и верандой, окруженный лужайкой, на которой яркие, красные и синие, как игрушечные, столики и кресла. На уровне второго этажа вокруг тянется балкон, с него свисает белый флажок с надписью «Zimmer frei» — приглашение снять комнату.

Внутри хижина была просторной, тихой и уютной: высокие дощатые потолки, диваны по углам, застеленные веселой клетчатой тканью, на столах букетики цветов. Олег уселся спиной к стене на диванчик, чтобы оглядеться. Напротив красовался бар со стойкой и высокими табуретами. Стены комнаты украшали звериные шкуры, старинные луки, ружья, кинжалы. То ли все это богатство досталось хозяину от предков, то ли куплено в магазине старинного оружия, но оно являло собой подобие театрального реквизита. В углу, возле окна, за столиком сидела пожилая дама и медленно раскладывала пасьянс.

Хозяин, крепкий старик на вид лет семидесяти с небольшим, седой, сухопарый, юркий, уже закрывав-

ший заведение, такого наплыва гостей не ожидал. Он был весь внимание и безостановочно улыбался:

— Bitte schön! Пожалуйста!

И, взмахивая руками, как балерина, тут же ни за что благодарил.

— Danke schön! Большое спасибо!

Поняв, что это американцы, хозяин легко перешел с немецкого на английский. А когда узнал, что среди американских музыкантов есть русский скрипач, персонально пожал ему руку и сказал по-русски:

— Добро пожаловать!

Разумеется, никто этого, кроме Олега, не понял. Хозяин говорил на ужасном русском, но все-таки говорил.

— А где здесь граница? — спросил его Олег.

— Граница? — засмеялся хозяин. — Граница проходит в мой спальня через кроватт. Я спитт Аустрия, а мой жена — Германия, хе-хе...

Жена спустилась помогать, зажгла свечи. Гости обсудили меню с учетом голода и чуждой Европе американской диеты. На столах появились кружки пива, и хижина загудела. Хозяин убежал на кухню готовить.

Хлебнув черного пива, Немец посидел минуту с закрытыми глазами, словно медитируя. А когда опять открыл их, дыхание у него перехватило: прямо над ним, на стене, висели громадные ветвистые оленьи рога. По всему видно, могучий был зверь. Может, и бродило неподалеку отсюда, в лесу.

Но не сами эти рога удивили Олега. Он глазам собственным не поверил, протянул вверх руку и потрогал, чтобы убедиться, что ему не померещилось. На одном из отростков висел на ниточке глобус — точная копия шарика, который хранится у него дома в серванте. Голубые океаны, коричневые материки, об-

.....

веденные каемкой. От сквозняка, когда открывались двери, земной шар чуть-чуть покачивался.

Скоро появился хозяин с подносом, стал снимать тарелки со шницелями, форелью, салатами. Ставя каждую на стол, он повторял:

— Bitte schön! Пожалуйста! Bitte!..

— Что это у вас?

Спросил Олег по-английски и пальцем указал на глобус. Рука хозяина с тарелкой застыла в воздухе. Но отвечал он Олегу по-русски.

— Этто? — он смутился. — Вам мешает? Я немедленно забирайт. Bitte!

— Нет-нет, нисколько не мешает. Просто я хотел спросить, что сие за штука такая?..

— Этто мой дочь повесиль. Он здесь вечером занимайт. Дочь занимайт школа медицинский сестра..

— Наверно я плохо объяснил, — не отставал Немец. — Что это за предмет? Для чего?

Хозяин недоверчиво посмотрел на Олега: шутит гость или хочет его разыграть? Он снял с рогов нитку и протянул Олегу глобус.

— Bitte! Этто есть точилька. Обыкновенный точилька для карандашш. Дочка покупайт на любой магаззин...

Олег взял в руки глобус. Он был как две капли воды похож на тот, что висит у него дома. Только материки тут обведены не одной, а разноцветными каемками. Повертев земной шар в руках, на месте Антарктиды Олег обнаружил отверстие — дыру к центру земли. В его глобусе такого отверстия с точилкой для карандаша не было. Внутри виднелось лезвие, укрепленное наискосок.

Наступила пауза. Хозяин поклонился. Он не знал, бежать за остальными тарелками или, может, у это-

го русского будет еще вопрос. Глобус вернулся к хозяину.

— Danke schön, — сказал Немец, исчерпав этим свою эрудицию в немецком, и соскользнул на почти родной английский. — Дело в том, что у меня дома есть такой же глобус...

Хозяин, скорей всего, удивился наивности этого русского. Но виду не подал и вежливо наклонил голову.

— Но без точилки! — прибавил Олег.

— Может быть, бывает без точильки, — согласился австриец.

— Дело в том, — продолжал Олег, — что свой я нашел пятьдесят лет назад на Урале.

— Ураль? Ураль есть граница Европа унд Азия. Ураль знают все дети в аустрийский школа.

— Я нашел его, — упорно продолжал Олег, — в «тигре», разбитом германском танке, понимаете? Как попал такой глобусик в «тигр»?

Хозяин, улыбаясь, смотрел на Олега, будто вспоминая что-то, давно забытое. Морщил лоб, тер глаза.

— Хорошо бы отложить дискуссию на после еды, — вежливо намекнул кто-то из оркестрантов, ничего не понимая в их диалоге. — Есть хочется...

— Сгорят наши шницеля!

— Извините! — спохватился Олег. — Бывают же встречи! Может, они важнее шницелей?

— Важнее шницелей, Олег, — сказала Эми О'Коннер, — нет ничего на свете!

Хозяин между тем убежал на кухню и разнес дымящиеся блюда остальным. Уничтожая форель, Олег то и дело поглядывал на отросток оленьих рогов, висевших на стене. Земной шар там покачивался от дуновений воздуха.

.....

Оркестранты насытились, допили пиво, заторопились. Дело шло к полуночи, до отеля было еще далеко, а перед завтрашним дневным концертом необходимо, если не выспаться, то хотя бы подремать. Хозяин разнес всем кредитные карточки, убрал столы и вышел на крыльцо проводить гостей.

— Danke schön!

Приветливо улыбаясь, он повернулся к Олегу и хотел что-то прибавить лично ему, но не знал, будет ли теперь это интересно.

— Приезжайте Зальцбург опять, всегда будет очень рад! Будет еще черный пиво, рецепт специаль!

— Спасибо.

— Да, тот точилька... — замялся он.

— Глобус?

— Да, именно глобус! У вас не точилька — просто глобус. Такой глобус носил некоторый офицер рейха. Адольф думаль — все пять материков будет его коричневый краска. Все пять — будет рейх, да. Аустрия есть маленький страна, мы на тот глобус нет, никто нет. Тогда мы все уже были рейх, и про Аустрия можно не думать. Да! Где, вы говорите, его нашел? Разбитый танк? Да! Я тоже был немецкий армий. Тотальный мобилизаций... Нет, у меня глобус нет, я был зольдат. Глобус Адольф давал только для офицер... Потом плен — оттуда я говорю русски. Шесть лет лагерь Бологое. Глобус — рейх, теперь точилька. Может, та же фабрик делает, ха-ха!.. А вы тоже воевал?

— Нет-нет, — Олег покачал головой.

— О, Natürlich! Конечно! Вы были молодой. Это большой удача! Война не имел смысл. Сталин был тоже хороший Адольф. Мог быть весь глобус красный краска. Два маньяка играли шахматы. Мы были

шахматы, нас убиваль. Люди умираль за коричневый или красный краска, не за счастье... До свиданья! Auf Wiedersehen!

Олег пожал руку хозяину и потрогал у себя на лбу шрам. Рубец был на месте.

Автобусы с оркестрантами тронулись, и все вокруг исчезло в серой сырой мгле: и Германия, и Австрия, и охотничья хижина, от которой они только что отъехали.

Немец смотрел в окно. Автобус осторожно сползал вниз по извилистому серпантину дороги. Желтые фары едва пробивали пелену тумана. Олег вспомнил плотину, по которой он в такой же туман добирался домой пешком, весь продрогший, скользя по мокрому снегу. Плохо устроен человек. Ничего не забывает. Помнит даже то, что давно надо бы развеять по ветру.

9. Вверх и вниз

— Я дико извиняюсь, этот камень свободен?

Олег кивнул и жестом предложил располагаться.

Тяжеловесный молодой человек в очень черных очках помахал рукой двум хорошеньким девочкам, ожидавшим на пригорке. Они подошли, небрежно кивнули Олегу, скинули маечки, и их пышущие рекламной прелестью тела в ярких купальниках с вырезами на груди до пупа, а на бедрах до подмышек, право же, украсили бухту. Девушки сложили пожитки в тени этого огромного камня, а сами расположились на плоской его части.

.....

— Мы наполовину уже вроде бы знакомы, — заговорил молодой человек, укладывая в тень ласты и транзистор, из которого тихо изливалась некая ритмическая мелодия. — Наполовину или на четверть. Тут пятачок небольшой. Встречались, наверное, на почте или в кафе. Как сейчас помню, вы были с интересной женщиной, очень импортного вида, чуть-чуть в возрасте, что очень ей идет — не отпирайтесь!

— Это моя жена, — пробурчал Олег.

— Понятно. Тогда вам в жизни повезло. А где ж она?

— Обгорела немного и осталась на турбазе. Меня зовут Олег, а фамилия моя — Немец.

— Замечательно! Но язык у вас немножечко плывет не в немецком, а в американском направлении, — молодой человек хихикнул. — Точь-в-точь, как у моей тети Муси, которая приезжала в прошлом месяце с Брайтон-бич. Я не ошибся?

— Возможно, — улыбнулся Олег. — Я живу в Сан-Франциско.

— Во! — удовлетворенный своей проникательностью сказал пришелец. — А я — Боря, Боря с Одессы. Кончаю инфак и произношение чую за версту, хотя в обетованных землях самому не приходилось еще бывать. В американском акценте я на всякий случай тренируюсь: вдруг придется срочно эвакуироваться. Ну а пока надо брать от жизни удовольствия, не так ли? Вот это сильно влюбленные в меня девушки. Они влюблены в меня уже целую неделю.

Девушки чуть заметно усмехнулись. Видимо, за неделю они к Бориной говорливости привыкли.

— Чем же вы, Олег, занимаетесь, если это не секрет? — продолжал Боря. — Большим бизнесом?

— Не совсем. Я пиликаю на скрипке.



— О! Солист или...

— Нет-нет, играю в оркестре...

— А сюда надолго?

— На пять дней после гастролей: жену ностальгия одолела. Она здесь в детстве с родителями отдыхала... Да и я раз мальчишкой побывал... Теперь вот грею свой радикулит, коль больше делать нечего.

Девушки хихикнули. Этот пожилой господин не заинтересовал их даже тем, что он живет в Америке, поскольку жена его значилась где-то рядом.

Теперь они лежали, хотя и на разных камнях, но вчетвером, лицо к лицу, образуя нечто вроде кривого креста. Горячие эти камни находились в Крыму, в Змеиной бухте, недалеко от поселка Коктебель, расположенного, как выяснили великие писатели Ильф и Петров, на берегу Энского моря. Время от времени Олег не глядя пошвыривал камешки в воду. Боря поставил перед собой пакет со сливами.

— Кушайте, Олег, не стесняйтесь. Они тщательно вымыты, и это утоляет...

В Змеиной бухте, если вам не известно, даже и сейчас еще загорает и купается особая публика. Сюда нужно добираться вплавь или, когда море спокойно, карабкаться по уступам, опускаясь до колен в воду и ступнями нащупывая порожки. Вход сюда, в заповедную зону, запрещен. Но охранников нет, а когда они появляются, то надо положить им на ладонь некоторую сумму, весьма скромную, и запрещенное становится разрешенным.

Развлечений в Змеиной бухте никаких, если не считать поисков красивых камушков — халцедонов и сердоликов. Впрочем, почти все они давно собраны и проданы. Из удовольствий остаются сливы и, для некоторых, глубокие вырезы на купальниках. В этой

.....

тихой миниатюрной гавани, отгороженной от мира отвесными скалами и морем, приятно ощущать свою временную независимость от человечества, сплевываемая сливовые косточки.

С Борей было не скучно. Его загорелую плотную фигуру, с явным избытком жирка, переполняла жизненная энергия. Он делал вид, что ко всему равнодушен и свое от жизни взял. Но делал это весело. Шутил легко, не опускаясь совсем в пошлость и не поднимаясь до слишком сложных материй. Количество одесских баек было у него в запасе неисчерпаемое. Когда становилось жарко невмоготу, он надевал ласты, плюхался в воду и лениво плыл довольно приличным брассом, без труда догоняя своих девочек. Их повизгивания напоминали о патриархате и делали его великодушным. Потом он снова лежал тюленем на камнях и, если хотел что-нибудь сказать, совершенно случайно едва прикасался к девчоночьим коленям или шеям.

Откуда они взялись на пляже, двое щуплых мальчишек лет по четырнадцать, никто не заметил. Они оказались рядом и украдкой посматривали на девочек, которые были года на три их постарше. Как уже было сказано, там было на что поглядеть. Мальчишки изредка перебрасывались словами и вдруг заспорили. Хлопая друг друга по спинам, оба вскочили.

Сейчас эти два бройлера подерутся, подумал Олег. Но один повернулся, прошел совсем рядом с девочками, глядя туда, куда нельзя, прижался к стене, нависшей над пляжем в пяти шагах от Олега, и стал ощупывать камни. Потом он повис на выступе, подтянулся и начал карабкаться на скалу.

Боря с девушками сползли между тем с камней в голубую воду, потому что стало невыносимо жарко.

.....

Они немножко поплескались в ласковых волнах на мели, играя с водорослями, проплыли немного и вернулись, обрызгав Олега прохладными каплями воды. Девочки улеглись на камни, и Боря оглядывал их, как тюлень, охраняющий свое стадо.

Боясь перегреться, Олег тоже сплавал, вышел на берег и лег обсыхать на старое место. Он повернул голову, и глаза его побежали по скале, измеряя расстояние. Мальчишка лез вверх уже метрах в пятнадцати от земли. Это заинтересовало всех, кто был в маленькой Змеиной бухте. Все от нечего делать глядели на фигурку, карабкающуюся по отвесной стене.

Пошарив рукой в сумке, Олег вытащил бутылку с минеральной водой, бумажные стаканчики, жвачку и печенье в красивой упаковке — все, что жена положила ему с собой, — и предложил соседям. Девочки с любопытством повертели этикетки перед глазами, но попили только воды. Олег пожевал сливу, сплюнув косточку в морской прибор. Все не сводили глаз с мальчишки. Он прытко и уверенно карабкался по отвесу, цепляясь за не видимые снизу выступы и кусты, шаг за шагом уходя все выше. Лезть вверх нетрудно, подумал Олег. Ноги сами влипают в лунки. Когда лезешь, видишь впереди бездонное небо, и очень приятно преодолевать земное тяготение.

— Ой, смотрите, смотрите! — восхищенно пооткрывали рты девочки, когда мальчишка вдруг повис на одних руках, перебираясь с выступа на выступ.

Ясно, что ради этого восклицания, а вовсе не из-за спора со своим приятелем, полез парнишка на скалу.

Олег встал, сложил ладони рупором и крикнул:

— Эй!

— Эй! — отозвалось выше, в ущелье.

— Может, остановишься, пока не поздно?

— Поздно! — ответило эхо.

Мальчишка упорно качнул головой и продолжал смотреть только вверх.

— Во, грызет гранит! — прокомментировал Боря. — Он хочет вам показать, господа, каким целеустремленным должен быть настоящий супермен. Но он не супермен. Он рядовой фраер... Лично я пойду еще искупаюсь, уж больно жарит. А уж как ему там печет без майки на раскаленных камнях, я и думать не хочу.

Скоро Боря выбрался из воды, стащил ласты и опять брякнулся на горячий, как сковородка, камень.

От земли мальчишку отделяли теперь метров двадцать. Сколько же это будет футов, с трудом шевелил мозгами Олег. Наверное, шестьдесят с лишним. Он ко многому в Америке привык, но не к этим размерам. Двадцать метров, отделявших мальчишку от земли, — ничто по сравнению с сотнями метров скалы, нависшей над морем, но двадцать метров под тобой, вниз уходящие, когда внизу только камни, а скала отвесная, это все же многовато.

Добравшись до приступочка, на котором рос полусохший желтый цветок, мальчишка, видимо, удовлетворил, наконец, самолюбие. Он сорвал цветок и бросил девочкам.

— Дешевый приемчик, — заметил Боря. — Сегодня даже не восьмое марта.

Одна из девочек цветок подобрала и понюхала.

— Никакого запаха, — сказала она. — Только пыль, и больше ничего.

— Пошли ему воздушный поцелуй, — продолжал Боря. — Только бы он не вздумал оттуда с какой-нибудь веткой к тебе парашютировать. От дальнейшего комментария я пока воздерживаюсь.

.....

Только теперь, бросив цветок, мальчишка глянул вниз, чтобы увидеть результат. А глянув, съежился. На него жалко стало смотреть. Он перестал шевелиться, медленно озирался вокруг, напрягая руки и прижавшись всем телом к отвесной стене, и вдруг слева обнаружил маленькую площадку. Притираясь к скале, перебрался на нее и сел бочком, уперев пятки в узкий карниз.

Боря небрежно жевал сливы, сплевывая косточки как можно дальше, дабы показать девочкам, что парень не совершил ничего замечательного. Девочки отбирали друг у друга полузасохший цветок и механически вертели в руках. Они начали нервничать. Прижимали к груди тонкие белые пальцы с неумелым маникюром и, вытянув шею, смотрели на скалу, полуоткрыв влажные губы. Боре не нравилось, что девушки стали чересчур серьезными и про него забыли.

— Посмотрите на этого отважного героя, подружки! — Боря произнес это с интонацией культурника из дома отдыха, чтобы разрядить напряженность, и сплюнул еще одну косточку. — Посмотрите так, будто вы всю жизнь будете гордиться этим юным энтузиастом. Он идет по стопам советских героев-отцов, которые никогда ни о чем не задумывались. Данный мальчик тоже думал задним умом, который подогнал его вверх. Теперь требуется думать передним, чтобы как-нибудь спуститься. Посмотрим, есть ли у него спереди столько же, сколько сзади.

Девочки не улыбнулись. Они, казалось, не слышали. Они продолжали смотреть вверх. Олег от комментариев воздержался. Они с Борей переглянулись. То, что сказал Боря, было несколько жестоковато, как всякая сущая правда. Но Боря был старше, опытнее,

.....

не говоря уж об Олеге. Боря умолк, а Олег думал сейчас о том же: на этом мелком честолюбии он уже в жизни горел, а парнишка, который там висел, еще нет.

Каждый, кто хоть раз взбирался здесь по горам, знает шутки Кара-Дага — Черной горы. Отвесные скалы давно потухшего вулкана исчезают в море, обросшие водорослями и ракушками. Тропинки между нагромождениями гигантских камней считанные и хорошо заметны. По этим проходам желательно ходить собранно и доверительно, ибо тропы тоже иногда бывают следами человеческой мудрости. Где нет троп, в тех местах лучше не пытаться карабкаться, если, конечно, имеешь намерение вернуться.

Скалы Кара-Дага кажутся незыблемыми, прямо-таки вечными. А ухватишься покрепче — отслаиваются пластинками. Если отслоится не в добрый час кусочек камня, за который ты ухватился в опасном месте, превратишься ты в неживой материал, подобный тому, из которого здесь сложены горы, сухие деревья и дельфины, выброшенные на берег. Иногда останется время пожалеть, а бывает, не успеешь.

Восемь-десять таких псевдоальпинистов и горескалолазов каждый год отбывают отсюда в запаянных цинковых гробах. Это называется статистикой. Данный юный восходитель к светлым вершинам, судя по всему, будет статистически учтен. В Америке, думал Олег, есть специальная служба спасения в несчастных случаях, которая называется «Rescue». А тут?

Некоторых, случалось, снимают вертолетом пограничники, но это долгая история, особенно теперь, в безалаберное и потому ленивое для погранслужбы время, когда у них нет денег на водку, не то что на керосин для авиации. И потом, так пытаются снять тех, кто забрался на вершину. С боку вертолет не сни-

.....

мает, он сам может поломать лопасти винта, а вертолет без винта — что-то вроде санузла на колесиках. Так что теперь нужно полдня, а то и больше провисеть на скале, пока местные власти найдут скалолазов. Но и эта надежда реализуется медленно. Их надо уговорить лезть, когда неясно, кто будет платить. Пройдут часы, пока они забьют клинья и, рискуя собой, спустят вышеуказанного самоучку на тросе. Да и есть ли тут вообще скалолазы? Возможно, все они в данный момент покоряют Джомолунгму.

Олег чувствовал, что мальчишка там, наверху, все это уже и сам пробежал в голове. Позировать ему, скорей всего, уже давно расхотелось. Когда внизу тебя не ждет абсолютно ничего приятного, тебе не до позерства. Стоимость цветка, который сорван и сброшен вниз, он вычислил, и оставалось горько пожалеть о содеянном и неисправимом. Конечно же, он знал, не мог не слышать историй про погибших на Кара-Даге, но теория соединилась с практикой слишком высоко над поверхностью мирового океана.

Мальчишка застыл, втиснув ноги в небольшую выемку. Олегу почему-то представилось, как у парня потеют пятки, вдавленные в этот карниз. Мальчик смотрит вниз и не знает, на что решиться. Чего бы он ни решил — плохо.

— Жаль, что у мальчика нет крыльев, — устав молчать, хмуро сказал Боря. — Был бы он Дедалом или в крайнем случае Икаром. Как раз сейчас крылышки бы ему оченьгодились. А может быть, девочки, он ангел, и крылья отрастут?

Не по себе стало Олегу. Противное состояние, когда, будто маленькому, тебе хочется закрыть руками глаза, сесть на корточки и прошептать:

— Меня нет...

.....

Такое в его жизни было. Больше того, Олегу казалось, что он уже побывал там, на месте мальчика, испытал его состояние. Но, во-первых, это было давно, а во-вторых, не совсем правда.

В Змеиную бухту за год до войны Олег приплыл из соседней небольшой бухты верхом, сидя на спине у отца. Мать оставалась ждать их за скалой. Отец фырчал моржом и отчаянно брызгался, потому что плыть с Олегом было все-таки тяжело, хотя отец и не показывал вида. Олег, не понимая этого, прищипывал отца пятками и кричал:

— Быстрее! Быстрее!!..

Если неподалеку выныривали дельфины (тогда, перед войной, они еще не боялись людей), отец уговаривал Олега пересесть на них, а Олег думал, что отец предлагал серьезно, и очень этого боялся.

Потом Немец-старший лежал, раскинув руки, под солнцем, как рыба, выброшенная на берег. Олег, конечно же, устремлялся к скале и пробовал так же зацепиться за эти самые предательские камни, за эти манящие выступы.

Так же, да не так! Потому что тогда рядом был отец, и он дремал, но был начеку. Отец лежал, лелеемый горячими лучами, и вдруг вскочил, почувствовав беду на расстоянии. Он подбежал к скале, дотянулся и стащил Олега за ногу до того, как мальчик сделал тот самый шаг, после которого лезть вверх легко и быстро, а обратно хода уже нет.

Сын был зол на отца и надулся. Сын проявлял героизм, а отец воткнул ему палку в колеса. Семимильными шагами сын хотел вскарабкаться к светлой вершине, преодолеть страх, достичь цели, а родитель уныло стащил его за пятку вниз. Олег лежал на камне обиженный, а отец изрек:

.....

— Уж рисковать жизнью, сын, так хоть знать, ради чего...

Не понял тогда Олег, что сказал отец. А отец не стал объяснять, плюхнулся в воду и поплыл. Через год он пошел на фронт рисковать и не вернулся. Ну, не пошел, его пошли, — ведь у него не было выбора, риск был тотальный, так что какая разница? Он не был никаким героем, отец, он был самой обыкновенной жертвой обстоятельств. Его толкали вперед, туда, откуда заведомо почти не было шанса вернуться. Но все же военная мясорубка молола людей ради защиты других людей, от этого факта никуда не денешься, и было хоть какое-то оправдание смерти.

Олег был тогда вдвое меньше парнишки, подвешенного сейчас на скале. Впрочем, какое значение имеет эта разница? Все на свете мальчишки просто обязаны повторить все на свете ошибки. Все как один они целеустремленно ищут, где бы еще ошибиться. Сие происходит во все времена и эпохи, у всех народов, при всех системах, и изменить это не дано. Чужой опыт не учит, такова природа и обреченность молодости.

— Тяжкое зрелище, — сказал Олег, ни к кому не обращаясь.

— Может, смоемся? — предложил Борис. — Жрать давно пора, а мы когда еще до поселка дотащимся? Товарищ наверху — субъект конченный, свидетельство о его смерти в ЗАГСе уже выписывают, а нам жить да жить. Подушка мы для него все равно плохая. Вы обратили внимание: приятель его — малый сообразительный, давно драпанул от греха подальше. Почему? Может, ему скучно стало или кушать захотел? Ничего подобного! Чтобы не быть свидетелем. Что молодое поколение хорошо научилось делать, так это смыться вовремя.

— Помогите ему, мальчики! Сколько можно так нервничать? — девушки повернулись и вопросительно смотрели на мужчин.

— Хм... Это прагрэссывная мысл, — Боря перешел на грузинский акцент, вскочил, принял позу партерного акробата и посмотрел на Олега. — Сыловой этюд! Ты, дрюг, на мэ-ня. Дэвочки занимают мэста на тэбе. Алле!.. Ну и что? Ну, шесть метров, а до него двадцать с гаком.

Он улегся обратно на камень и продолжал:

— У меня встречное предложение. Я даю перочинный ножичек, и девочки режут свои купальники на полоски. Из них они вяжут веревку. Веревку закидываем ему, чтобы привязал и по ней спускался. Это будет патриотический поступок в стиле Голливуда, а кроме того, эстетически красивое зрелище. Олег, у вас как единственного здесь иностранца, наверное, есть с собой фотокамера, а?

Олег признался себе, что этот симпатичный Боря из Одессы, при всей своей временной циничности, был почти прав. Может, пробираться меж камней километров пять до поселка и там пытаться организовать помощь? На это уйдет как минимум три часа. Столько времени мальчишка не продержится на узком приступочке не шевелясь.

А он там, наверху, замер. Сидел, стиснув губы, и держался онемевшими пальцами за остатки корней, из-под которых время от времени на лежавших внизу сыпались комочки сухой земли. Теперь весь пляж молчал и смотрел на мальчишку. Он чувствовал взгляды, старался собрать волю, и его отчаянное «Зачем я это сделал?» передалось всем, кто на него глазел. Олег понимал его. Уж если такое дело сотворено, остается надеяться на самого себя.

.....

Наконец парнишка решился. Чуть приподнялся, обхватил руками выступ, повис на руках и опустил-ся на один шагок вниз. Нога сорвалась. Пальцы зад-рожали от напряжения, впились в камни. Судорож-но водил он слепой ногой по скале и наконец нащу-пал другой выступ. Он не смотрел вниз: внизу ниче-го радужного не светило.

Мальчик перехватился руками, сделал шагок и снова повис. Если сейчас камень отслоится — конец. В этом вся жестокая доброта Черной горы — Кара-Дага: трещины в камнях, выдутые ветром и размы-тые дождями, видны со стороны неба, а когда лезешь, укрыты от глаз. Захочет Черная гора — удержит, не захочет — отслоит камень.

Пляж молчал. Вылезли из воды те, кто купался, и тихо улеглись на горячих камнях. Парнишка спол-зал медленно, втягивая голову в плечи и замирая пос-ле каждого шага. Смертельный страх сводил мышцы, не позволял сделать следующего движения. Преды-дущие лет четырнадцать мальчика опекали много разных людей, теперь он от них изолировался. Он один заведует собственной жизнью, распоряжается ею полностью. Один и больше никто. В этом редком случае смерть его тоже зависит только от него само-го.

Девочки сжались в комочки и, прислонясь спина-ми друг к другу, задрали головы, — две хрупкие фи-гурки, смешные и беспомощные в своем сострадании.

— Бога нет! — произнес вдруг Борис. — Если бы он был, он бы подлетел и снял юродивого.

Его голос перестал быть ироничным и помрачнел.

Мальчик прополз обратно половину пути, и теперь предстояло самое трудное. Скала подкашивалась, дальше придется преодолевать земное притяжение

иначе: нечеловеческим усилием загонять ноги под стену. А сил не осталось. От напряжения у него отвисли плавки и тело оголилось. Девочки скромно опустили глаза, но не уходили от скалы.

Перестал жевать сливы Борис. Добровольно распявший себя на скале юный Христос портил ему аппетит.

— Попробуем? Может, поймаем? — не выдержал Олег и, забыв, что должен беречь руки, пошел к скале.

Борис отрицательно покачал головой. Он словно приклеился к берегу клеем. Олег влез на камень, попытался дотянуться и подставить ладонь мальчишке под пятку.

Мальчишка сползал, извиваясь змеей и цепляясь неизвестно за что, потому что скала в этом месте была абсолютно гладкой. Было слышно, как он хрипит.

Все старались не смотреть, но подняли головы, когда страшно завизжали девочки. Оставалось каких-нибудь метра четыре, и он все-таки сорвался. Сорвался, слегка ободрал плечо Олегу и мягко шлепнулся, попав на песок между двух острых камней, не то бы сломал ноги.

Девочки подбежали к нему, схватили под руки. Он высвободился, встал сам. Отошел в сторону, лег на большой камень, спрятав свой поцарапанный и вымазанный в крови и пыли живот. Щенок был почти что целехонек.

Присев на корточки, девочки спустили воздух из подушечек, превратив их в сумочки, и, надев босоножки, засеменили к скале, вокруг которой предстояло перебираться вплавь, чтобы выйти из этой чертовой Змеиной бухты. Когда они скрылись из виду, Боря вскочил:

— Надоело! Хорошенького понемножку! Я дико извиняюсь... Надеюсь, мы еще до вашего отъезда увидимся. Я бы хотел записать ваш адресок: вдруг судьба закинет в Сан-Франциско...

И он двинулся догонять влюбленных в него девочек. Проходя мимо потрепанного скалолаза, Борис сильно смазал этому индивидууму по шее, и парнишка удивленно поднял голову. Включив на ходу транзистор, Боря дал джаз так, что стало слышно его маме, проживавшей в городе Одессе.

Немец решил, что еще немного покантуется у моря. Это был его последний день в Коктебеле.

Герой дня лежал на камне полуживой. Чтобы поддержать его морально, Олег подмигнул мальчишке, и тот, удивленный, подмигнул в ответ. Руки его свисали с камня, как плети. На ногтях запеклась кровь.

10. Владан

Когда час пик, въехать в центр Сан-Франциско с северной оконечности залива непросто. Мост Голден Гейт — Золотые Ворота — запружен до предела. Машины то двигаются еле-еле, то останавливаются совсем. Мало кто из сидящих за рулем нервничает, но для Олега Немца это обычно вопрос жизни. Представьте себе скрипача, который выходит во время исполнения Фауст-симфонии Листа на сцену и объясняет дирижеру и зрителям:

— Sorry, я застрял в пробке.

И начинает играть с середины.

Сегодня концерта не было. Двигались они с женой на обед к приятелю, причем не вечером, а около

.....

четырёх часов. Солнце уже склонялось в сторону океана. День, однако, был воскресный, все куда-нибудь ехали, пробка установилась раньше обычного. Нинель то и дело поглядывала на часы, поскольку после званого обеда вся честная компания русских эмигрантов собралась отправиться смотреть российский цирк, не так давно прибывший на гастроли в Калифорнию. Билеты были оплачены по телефону, о чем Олег и не подозревал.

— Другие живут как люди, — сказала Нинель, опустив солнечный козырек с зеркалом и подкрашивая губы. — Ходят регулярно в гости или, там, на концерты. Мы раз в сто лет выбрались и то приедем к шапочному разбору. Стоим, как идиоты, и глядим на тюрьму Алкатрас.

Тема эта была заигранной пластинкой. Нинели хотелось общения, зрелищ, а мужу — полежать на диване.

— Ну как мы можем ходить на концерты, если это моя работа? — Олег уныло произнес часто повторяемый рефрен. — Ведь те, кто служат в банке, не ходят вечером в банк развлекаться.

— Не надо в банк. Да тебя вообще никуда не вытащишь!

— Но в данный момент мы как раз и едем в гости.

— Так ведь выбрались раз в кои-то веки! И то только потому, что Мирон — твой близкий друг. Ты не мог отказаться... Надо же, все-таки сдал он этот сумасшедший медицинский экзамен!

— Каких-нибудь двенадцать лет — и он опять врач. Такова эмигрантская жизнь...

Вдруг поток двинулся. Они увидели, как справа полицейская машина вытолкнула на обочину застрявший грузовичок. Олег прибавил газу, и их «Бью-

.....

ик» запетлял по серпантину парка Президио. Теперь уже недалеко.

Дом у Мирона Ольшанского был недавней постройки: гостиная, семейная, кухня на первом этаже — без перегородок, что для тусовки человек на восемьдесят весьма кстати, потому что съехался русский средний класс со всего Сан-Франциско, большей частью врачи. Гульба шла полным ходом. Публика, Олегу почти неизвестная, но между собой давно, видимо, знакомая, уже бродила по дому с бокалами и кружками, то и дело подкачивая насосом пиво из бочки.

— Нам обоим джин-энд-тоник, — сказала Нинель, с кем-то целуясь.

— Покажите того последнего, который стал наконец американским врачом, — крикнул Олег со смехом.

Но старый, еще российский друг Мирон Ольшанский уже спешил ему навстречу.

— С восьмой попытки! — сияя, сказал он и долго тряс Немцу руку.

— Поздравляю! — Олег похлопал Мирона по плечу. — Видишь, как здорово: меня скоро на пенсию попрут, а ты — молодой врач.

— У меня натуральный обмен: второй диплом приобрел — первые волосы потерял. — Мирон повернулся к гостям, ткнув Олега в спину. — Господа, для разнообразия я вам скрипача пригласил, а то вы тут на медицине зациклились.

— Скрипача? Где же его скрипка?

— Не видите, с ним жена — ее-то он и пилит.

— А концерт будет?

— Пусть сыграет в честь хозяина гимн Советского Союза или какой-нибудь другой реквием...

Олега втиснули между двумя симпатичными дамами, как теперь принято говорить, неопределенного возраста. Они, не спрашивая, стали заполнять Олегу рюмку и тарелку. Мирон увел Нинель на другой конец стола, который ломился от вкусных вещей, и предстояла трудная задача: решить, чего не есть.

Мирон между тем, счастливый от победы, гостей и алкоголя, продолжая неведомый Немцу разговор, крикнул:

— Тихо! Вы тут все пристрастны, особенно бывшие советские урологи и, по определению, не можете быть объективны. Давайте спросим человека нейтрального. Скажи, Олег, какой орган у мужчины главный?

Все за столом перестали громохатать вилками и посмотрели на Немца с ироническим прищуром. Олег не думал и секунды.

— Руки, — сразу сказал он.

— Почему — руки? — разочарованно, а может, и с презрением спросил кто-то.

— Не слушайте его: ведь он же скрипач!

— Скрипач? Значит, он всю жизнь перепиливает скрипку и никак перепилить не может. Выходит, и в его руках прока нет.

Олег понял, что в данной компании сказать «руки» было большой политической ошибкой: урологи сразу потеряли к нему интерес. Сделал это Олег по двум причинам. Во-первых, из чувства противоречия решил избежать того, что они хотели услышать, и, во-вторых, он был действительно уверен, что руки у мужчины важнее головы, не говоря уж о прочих вещах.

— Мы все здесь узкие специалисты, — завершал дискуссию хозяин и посмотрел на Немца. — При всей

.....

нашей симпатии к музыке и к тому, что играть на рояле или скрипке удобнее двумя руками, мы лучше знаем, какой орган у мужчины главный. Давайте выпьем за предстательную железу!

И он опрокинул в рот рюмку.

— Не напивайтесь, ребятки, нам еще ехать развлекаться.

— Куда? — с тревогой спросил Олег и строго посмотрел на жену.

— Ой, Олежек, — затараторила Нинель, — совсем забыла тебе сказать: все купили билеты в цирк. В кои-то веки российский цирк на гастролях в нашей калифорнийской дыре. Тряхнем стариной, ну пожалуйста!

— А где это?

— В Окленде, отсюда полчаса.

Между тем гости, поглядывая на часы, стали группками и по одному выбираться на улицу и плюхаться в машины. Перепившие послушно пускали за руль жен и укладывались на заднем сиденье подремать. Те, кто не знали дороги, пристраивались в хвост тем, кто дорогу знал. Если на мосту Бей Бридж тогда вдруг возникла пробка, то произошло это только потому, что полсотни машин, принадлежащих одной компашке, жались друг к другу на хайвее в Окленд.

Там, возле парка, толпа людей уже двигалась пешком и на велосипедах к огороженной временным забором поляне. Народец победнее старался запарковать машины подальше, чтобы не платить за стоянку. Люди состоятельные, вроде гостей доктора-новобранца Ольшанского, въезжали вблизи цирка на дорогую парковку. Среди публики было много черных, поскольку цирк расположился в таком жилом районе, и, само собой, много детей. Тут пахло морс-

.....

кими водорослями, полынью и специями из соседних ресторанов. А в центре поля вырос купол, растянутый тросами. Гудели кондиционеры, накачивая под купол прохладный воздух. В вагончике продавали билеты.

Под куполом громыхнула такого качества музыка, переносить которую ушам Олега было трудно и даже вредно. Он не был в цирке, наверное, четверть века и, откровенно скучая, лениво блуждал глазами по сторонам. Люди простой породы, а их было вокруг абсолютное большинство, поедали зрелище, попкорн, мороженое и запивали все кока-колой и пивом. Любая американская аудитория, как известно, жизнерадостна и доброжелательна, прием русского цирка не был исключением. Зал то и дело вспыхивал аплодисментами, даже если на арене не происходило ничего выдающегося.

После парада, акробатов, дрессированных собачек, фокусника, который умело перепилил свою ассистентку в миниюбке и максидекольте, после вынудой из матрешки бескостной женщины, выделявавшей замысловатые акробатические фигуры на вращающемся в воздухе сверкающем шаре, шталмейстер возвел руки к небу и объявил следующий номер программы:

— А теперь, леди и джентльмены, перед вами — Владан!

Олег, до того момента слушавший вполуха, потряс головой, чтобы сбить сонливость, ибо был уверен, что ему почудилось. Зазвучало танго, мелодия которого ушла из памяти, но, оказалось, ушла не совсем. Горло у Немца сдавил спазм. Он стал жадно глотать кислород, будто воздух из-под купола цирка вдруг откачали.

-
- Повтори имя, — прошептал он жене.
 - Владан, кажется, а что?
 - Владан?! — выдохнул Олег.
 - Тебе плохо? — с тревогой спросила Нинель. —
Опять сердце поджимает? Сейчас найду таблетку.

Подложил Олег под язык таблетку, но это не помогло. Он закрыл ладонями уши, и время спрессовалось. События в памяти дрогнули и замелькали, замельтешили, закрутились — Немец едва отслеживал происходившее на арене. Впрочем, видел он именно то, что однажды прожил полвека назад. Будто последующая жизнь отодвинулась в сторону и ничего не осталось, кроме детства...

Посреди тусклой и грязной весны военного сорок четвертого года хмурый уральский городок неожиданно расцвел яркими афишами, к которым, скользя по мокрому льду, устремились не избалованные такого рода событиями аборигены. Разинув рты, они разглядывали красавцев и красавиц, расклеенных по заборам. Из афиш местные огольцы вырезали ножами, что понравилось, но вскоре на те же места наклеивались свежие полотнища.

На одной из афиш усатый фокусник, одетый во все голубое, с черной повязкой на глазах, смело стоял в огненном кольце. Рядом с ним женщина в белоснежном бальном платье, будто она только что сошла со страницы старого романа, держала в руках шляпу; из шляпы выглядывал пушистый щенок. На другой афише несколько разъяренных тигров, облизываясь, смотрели на красотку-дрессировщицу. Тигр держал в пасти ее голову, а красотка изо всех сил улыбалась. На третьей — человек в черном плаще, похожий на мушкетера, на ковре-самолете опускался с неба на землю.

.....

Е Ж Е Д Н Е В Н О

— было написано красным вверху этой афишы. А внизу шесть толстых черных букв с тремя восклицательными знаками:

В Л А Д А Н !!!

Слово запомнилось и сделалось вдруг в целом городе самым незаменимым.

— Влада-а-ан! — кричали уличные мальчишки, бегая по рынку.

— Влада-а-а-ан!! — орали ученики на переменах.

И толком никто не мог объяснить, что это такое — «Владан». Люди пожимали плечами, ибо гастролы цирка еще не начались.

В те дни за парту с Олегом Немцем посадили новичка. Он слушал, как все в классе кричат, а сам лишь улыбался. Строгая учительница с усами записала его в классный журнал и для памяти раза два громко повторила:

— Ахмет Ахметжанов. Ахмет Ахметжанов... Ты, значит, из цирка?

Ахмет кивнул. Класс загудел.

— Дети, тихо! — прикрикнула учительница. — Ничего особенного! Он в классе будет временно, пока цирк не уедет.

Олег придвинул к Ахмету тетрадку с домашним заданием и положил осколок от фугаски.

— Бери! Бери насовсем!

Новенького эта вещь не заинтересовала. Вскоре выяснилось, что у него были дела поважней. После школы Олег с Ахметом вместе вышли на улицу и остановились у афиши.

.....

ТРИ — АХМЕТЖАНОВЫ — ТРИ

— сообщала афиша и ниже поясняла:

ЭКВИЛИБРИСТЫ С ШЕСТАМИ

Отец Ахметжанов шел по проволоке, держа наперевес шест или, как объяснял Ахмет, баланс. На плечах отца Ахметжанова стояла Ахметжанова-жена, то есть мать Ахмета. У нее на плечах стоял мальчик — новый друг Олега Ахмет, который числился старшим сыном в труппе цирковых артистов Ахметжановых. Два его меньших брата, близнецы Сурен и Булат, тоже бегали и прыгали на арене, но на канат их допускали пока только на репетициях.

— И впятером будете выступать? — спросил Олег.

— На репетициях уже давно работаем, но бывают срывы...

Итак, Немец сидел на одной парте с живым артистом цирка, чему все завидовали. Скоро он знал об Ахмете абсолютно все. Как тот жил в детском приюте в Ташкенте, как его усыновил Ахметжанов-старший. Всех троих детей он и его жена взяли из детских домов.

А как много Ахмет умел! Стоило Немцу произнести на уроке слово, и он получал замечание. Сосед же его мог болтать так, что училка ничего не слышала. Ахмет и Олега научил говорить, почти не шевеля губами. Таким способом Ахметжановы переговаривались на арене, незаметно для зрителей.

— В цирк вечером желаешь? — спросил новенький, когда после уроков они прощались на улице.

— А можно? — глаза у Олега загорелись.

.....

— Приходи к служебному входу ровно в полвосьмого. Войди и стой.

Олег прибежал заранее, обошел цирк кругом, отыскал табличку «Служебный вход», осторожно вошел и стал ждать у двери.

В половине восьмого Ахмет, одетый в черную бурку, вышитую бисером, подошел к вахтеру и, положив руку Немцу на плечо, важно сказал:

— Это ко мне!

Они поднялись на верхний этаж, пробежали по длинному коридору, потом лезли по винтовой лестнице и пробирались мимо ящиков, набитых реквизитом. Олег вслед за Ахметом вскарабкался по железным ступенькам на узкий балкончик и замер: в полутьме перед ним открылся купол — цирковое небо, увешанное канатами. Ахмет между тем солидно пожал руку осветителю и показал на Олега глазами.

— Вот мой друг. Пускай тут посидит, ладно?..

Осветитель кивнул. Он возился с прожектором и даже не взглянул на Олега, видно, привык, что к нему подсаживают зайцев. Ахмет хлопнул Немца по плечу и исчез.

До представления оставалось еще минут двадцать. В зале было пусто, прохладно и полутемно. Униформисты в зеленых мундирах, перекликаясь, раскатывали на арене ковер. Когда крики стихали, снизу доносилось рычание тигров. Тех самых тигров, что красовались на афишах недалеко от Владана.

Сидя в углу балкончика верхом на перевернутом старом прожекторе, Олег смотрел на арену. Зал постепенно заполнялся народом. Осветитель защелкал выключателями. Толстый, гладко прилизанный че-

.....

ловек в черном фраке, который не сходился на пузе, шагнул вперед и произнес красиво и громко слово, знакомое и непонятное:

— Вла-дан!

Оркестр грянул танго. Осветитель рядом с Олегом засуетился. Свет в зале потух. Потом луч прожектора высветил под потолком ковер-самолет, точь-в-точь, как на афише. На ковре сидел человек в черном плаще. Ковер-самолет стремительно летел вниз. Теперь луч прожектора осветил пятно в центре арены.

Там медленно вращался круг. Человек в плаще прыгнул с ковра-самолета на круг. Его черный плащ взметнулся и улетел в темноту вместе с ковром. Артист остался в белой рубашке с бабочкой, узких брюках и — босиком. Он застыл. Он ждал, когда кончатся аплодисменты. Затем он прошел по краю круга, раскланялся и уселся в кресло, будто устал после дальней прогулки.

Шталмейстер снова выдвинулся на арену и объявил:

— Художник, рисующий ногами, — Владан!

В зале вспыхнул яркий свет. Под танго, слегка пританцовывая, на арену выбежала женщина в белоснежном бальном платье. Она тоже раскланялась, поставила перед Владаном мольберт и укрепила лист бумаги. Владан поднял босые ноги, и только теперь стало видно, что рукава его рубашки висят по бокам тела, и эти рукава пусты. Художник рисует ногами, потому что рук у него нет.

Оркестр умолк. Правая нога Владана мелькала над бумагой, в тишине зала был слышен скрип углей, которыми Владан рисовал. Делал он это быстро. Через несколько секунд музыка заиграла сно-

.....

ва. Женщина сняла с мольберта только что созданный пейзаж и понесла вокруг арены. Олег сидел выше всех, но даже он разглядел пальмы, море, дома на берегу.

И началось! Владану подавался новый лист бумаги, и он мгновенно набрасывал новый сюжет. Пока его помощница обходила круг, новый рисунок уже был готов. В конце пути ассистентка вручала каждую картину зрителями, и лист бумаги начинал свое путешествие из рук в руки вдоль ряда или наверх, до самой галерки.

От высоты, с которой приходилось смотреть на арену, и ряби разноцветных огней, с которыми орудовал осветитель, а может, еще от дыма и треска вольтовых дуг в прожекторах у Олега кружилась голова.

Внезапно музыка оборвалась, свет в зале потух. В луче прожектора на арену опустился ковер-самолет. Он поднял Владана с его помощницей и унес в темноту. Оркестр загромохал марш, перекрывая шум аплодисментов. Зрители захлопали неистово, требовали повторить. Владан не вышел.

Все в тот вечер казалось Олегу невероятным — ведь он первый раз в жизни был в цирке. Но ни его друг Ахмет Ахметжанов, который, скинув бурку, по тонкой трубе ловко взбирался на двадцатиметровую высоту и там делал стойку на руках, ни силовые акробаты брата Чертановы, ни наездники, ни даже тигры, которые ласково лизали щеки дрессировщицы, — никто не поразил Олега так, как художник без рук Владан.

Днем дома, после школы, когда мать была на работе, Олег решил повторить номер Владана. Он спрятал руки в карманы, уселся на стул и пытался под-

.....

нять с пола босой ногой карандаш. Ничего не получалось. Тогда он рукой вставил карандаш между пальцами ноги и начал рисовать на куске бумаги, прикрепленном к стене. Получалась мазня: нога упорно не слушалась и не хотела создавать шедевра. Люська сидела рядом и умирала со смеху. Мать узнала об эксперименте и сказала, что Олег сходит с ума. Даже отец этого никогда не делал, а ведь он художник. Олег ей отвечал, что если б она побывала в цирке, ей тоже захотелось бы попробовать.

— Только цирка мне не хватает! — воскликнула мать.

Ахмет часто брал Немца с собой в цирк. Мать не возражала, считала, что лучше сидеть за кулисами, чем слоняться по улицам неизвестно с кем. Олег дома без конца повторял куплеты, которые пели клоуны: «Тут и там — Гитлера там-там! Там и тут — Гитлеру капут», и другие гениальные стихи. Мог бы Олег как шталмейстер объявлять номера, ничего не перепутав, не хватало ему только такого же представительного живота, на котором не сходиллся фрак, не говоря уж о самом фраке.

Олег прирос к цирку. А Владан по-прежнему оставался загадочным существом, прилетавшим на ковче-самолете из неведомого мира.

Раз Ахметжанов-старший ушиб руку, и номер их в тот день отменили. Ахмет очень обрадовался, что сегодня не надо выступать, затащил Олега в пустую артистическую, они стали рубиться в шахматы. Играл Ахмет так, что не успевал Олег опомниться, как его королю угрожал мат. Немец не обижался, но скоро ему надоело раз за разом беспросветно проигрывать, тем более что на арене в это время шло представление.

— Ахмет, айда лучше смотреть...
— Ты же видел десять раз!
— Ну, все-таки глупо сидеть в цирке и не смотреть!
Они помчались по коридору к лестнице, когда их позвали.

— Ахмет! — слышался сзади хрипловатый негромкий голос. — Зайди!

Ребята остановились.

— Владан зовет, — сказал Ахмет и пошел к открытой двери.

Посреди комнаты стоял невысокого роста молодой парень в белой майке и мятых пижамных брюках. Он растерянно улыбался.

— Владан, это Олег немец, мой друг.

Ахмет подтолкнул Олега вперед. немец, как взрослый, протянул руку, чтобы поздороваться, но тут же сконфузился, потому что у Владана вместо рук торчали короткие обрубки возле плеч. Локтей у него не было. Олег растерялся, но Владан захохотал и тем сразу его простил.

— Будем знакомы, — представился он, наклонился и, сведя оба обрубка на груди, сдавил ими Олегову ладонь. — Меня звать Слава.

— А где же Владан? — растерянно спросил Олег.

— Это и есть Владан, — засмеялся Ахмет. — На арене Владан, дома Слава. Ты зачем нас, Слава, звал?

— Вы Майю случайно не видели? Куда она пропала? Понять не могу... Ребятишки, сложите мои вещи в шкаф, а то я спотыкаюсь.

Волшебник, рисующий ногами, стоял посреди комнаты в майке, лохматый и растерянный, размахивая короткими культяпками рук, а вокруг на полу было разбросано его барахлишко. Ахмет ловко собрал

и сложил в шкаф белье и одежду. Олег, как мог, ему помогал.

— В шахматы сыграем? — спросил Ахмет Владана, когда они немного прибрались.

— Давай! Только сперва с гостем. Идет?

Олег кивнул не очень уверенно.

— Расставляйте фигуры.

Шахматная доска стояла на полу. Олег делал свой ход, Владан, сидя на диване, тут же протягивал ногу и, ухватив фигуру между пальцев, опускал ее точно на нужную клетку. Он быстро обыграл Немца и сказал:

— Приходи почаще — выиграешь.

С того вечера Олег, можно, пожалуй, сказать, подружился с Владиславом Даниловым, или, сокращенно, Владаном, как тот значился на афишах. И очень этой дружбой гордился. Олег бегал к Владану почти каждый день, теперь чаще, чем к Ахмету. Он гонял для него на рынок за махоркой, научился скручивать сигарки из газетной бумаги, которые вставлял Владану в губы и потом давал огонька. Догоревшую его сигарку научился ловко тушить в тарелке с надписью «Госцирк», которая заменяла пепельницу. Он и уроки делал, сидя у Владана, а тот его кормил, чем было.

Однажды днем Олег весело вбежал к Славе.

— В шахматы сыграем?

Владан промолчал.

— Что с тобой?

— Без рук, брат, тяжело, — грустно ответил он. — Беспомощность унижает. Жить неохота...

Он был мрачней тучи.

— Мне бы водки стакан... Достань, браток, а...

Кивнув, Олег помчался домой, помня, что у матери под кроватью стояла добытая неведомо откуда

.....

бутылка. К счастью, дома никого не было. Олег за-
вернул ее в газету и притащил Владану. Тот сидел в
полузабытье на диване в той же позе.

— Где взял?

— У матери...

— Спасибо, друг! Налей.

Олег налил ему полстакана.

— Добавь еще.

Стакан заполнился до краев.

— Теперь закупорь, заверни бутылку в газету и не
забудь взять домой. Не то я всю допью.

Стиснув стакан обрубками рук и не пролив ни кап-
ли, Владан опрокинул его в рот, не морщась и не заку-
сывая, как будто это была вода. Он сидел и ждал, пока
лекарство подействует. Олег погладил ему обрубки.

— Это... на фронте?

Владан взял его за плечи обрубками рук и сжал.

— Я ведь водителем был. И руки мои остались в
бронетранспортере.

— Как это? — не понял Олег.

— А так. Драпали мы из окружения. Чувствую,
вязнут гусеницы, болото, надо обходить. Стали кру-
жить и напоролись на минное поле. Помню только,
ребята меня вытаскивают, я кричу: «Руки, руки мои
возьмите!» Больше ничего...

— Понятно, — растерянно протянул Олег.

— Если понятно, браток, не откажи в любезности
— сходи за Майей! Видишь ли, дело какое! Нас на
фронт везут...

— Тебя — на фронт?

— Номер наш включили в программу бригады,
которая едет на фронт выступать.

Конечно, Олег знал, где живет Майя: Владан не
раз посылал за ней. Это было довольно далеко от цир-

ка, за железнодорожной станцией. Если трамвай не ходит, а он ходит редко, то пешком минут сорок. И Немец отправился к Майе.

Чем больше Олег привязывался к Владану, тем непонятней была для него Майя и их отношения. Познакомился Владан с ней в Ташкенте, в госпитале, где лежал после ранения. Курносая веснушчатая Майя забегала к нему в палату.

Она была беженка, эвакуированная, вся семья ее погибла. Она ведь была старше Владана на одиннадцать лет. Владана взяли в танковую школу из Суриковского художественного училища, где ему прочили славу нового Репина. И пока Владан лежал полгода в госпитале, нашел он себе занятие: в связи с отсутствием рук рисовал ногами. Потом его подобрала проезжая цирковая труппа, поскольку артистов для программы не хватало. Владан уговорил Майю ехать с ним.

Она стала помогать ему на репетициях, гримировала его, начала понемножку выступать вместе с ним. Владан с Майей расписались в ЗАГСе и жили в артистической: спали на диване, а ели за гримерным столом. Они проехали много городов, и вдруг все рухнуло.

Первым делом Майя расклеила на заборах объявление, которое сама написала: «Цирк снимет комнату для артистки». И такая комната нашлась. На вопросы Владана отвечала, что уходит в частный дом, потому что устала скитаться. Дом, хоть и чужой, все-таки дом. Она не жила с ним больше, но приходила на работу. Тут, после представления, Олег слышал, как они ругались. Владан ходил хмурый, наткнулся на стулья и матерился.

— Ты что — хочешь совсем уйти? Пропадешь!

- Мне здесь надоело...
- А номер? Как же наш номер?
- Мне все равно!

Хлопнув дверью, она вышла, а в коридоре натолкнулась на шталмейстера. Он был в парадных брюках, но вместо фрака в зеленой полосатой пижаме. Шталмейстер схватил Майю в охапку, пытаясь успокоить.

— Ахметжановы больны. Эти скандалят. Представление срываете! Да на фронте за такое вы бы пошли под трибунал!

Не отвечая, Майя вырвалась, убежала. Номер их в программе пропустили.

С большой неохотой Немец бежал к Майе.

Дверь, в которую он стучал, долго не открывалась. Олег уже хотел уйти, когда наконец вышла Майя в халатике, гребешком продолжая расчесывать длинные вьющиеся волосы.

- Ну, что тебе? — устало спросила она. — Опять? Скажи Владану, что я больше не приду. Понял?
- Нет, не понял! — замотал головой Олег.
- Не понял, ну и не надо!

За спиной у Майи появился большой человек в трусах. Олег знал его. Этого тяжеловеса в цирке объявляли как силача — чемпиона среди силачей. Он поднимал огромные гири немислимого веса, а потом свет гас, и униформист собирал эти гири в охапку и бегом уносил с арены.

— Слушай, малец, — усмехнулся тяжеловес. — Майя сейчас занята.

— Он велел передать, — продолжал Олег, — что едет на фронт...

— На фронт? — удивилась Майя и пожала плечами. — Ну и пускай едет!.. Я-то тут при чем?

.....

Обратно Олег бежал, терзаясь сомнениями. Как же быть: сказать Владану Майины слова или нет? Если Владан это услышит, ему будет плохо. А если врать, то как?

— Ну что? — спросил Владан, едва Олег переступил порог.

— Майи нету! — сказал Олег.

— Где ж она?

— Куда-то уехала... Совсем...

Владан сжал губы. Олег скрутил ему сигарку, положил в губы и дал прикурить.

— Дела... — пробормотал Владан.

Он лег на диван и отвернулся лицом к стене.

На другой день цирковая труппа уезжала: часть на фронт, а часть в какой-то другой цирк. Прощаясь, Ахмет подарил Олегу новую афишу. На ней вместо «Три — Ахметжановы — три» красовалось: «Пять — Ахметжановы — пять». От Владана Олегу достались рисунки. Не те большие, которые он делал на арене для зрителей, а маленькие, которые он делал для себя. Рисунки долго висели у Немцев дома. Когда уезжали в Америку, таможня рисунки не пропустила, и Олег от обиды их порвал.

Слегка оглохший от громовой музыки Немец сидел в цирке, вжав голову в плечи и ладонями прижав уши. Время развернулось и примчалось назад. Нинель тревожно на Олега поглядывала, не понимая что случилось. На арене молодая женщина снимала с мольберта пейзажи, сделанные художником, который полулежал в кресле и рисовал ногами. Пустые рукава его белой рубашки развевались на сквозняке. Только этот артист, прилетевший на ковре-самолете в черном плаще, был совершенно седой.

Разволновавшись, Олег плохо видел происходившее на арене и, едва номер кончился, поднялся.

— Мне... ну, в общем, надо за кулисы, — сбивчиво сказал он Нинель. — Надо поговорить с этим человеком...

— А сердце твое в порядке?

— В порядке... Не волнуйся...

И Немец пошел по проходу, то и дело спотыкаясь о чьи-то ноги и изредка механически извиняясь.

Пожилая черная уборщица, узнав в чем дело, указала ему на дверь.

Перед зеркалом, спиной к нему, сидел старик с седой гривой волос, и женщина в белом передничке держала перед его губами бумажный стаканчик так, чтобы он мог пить. Олег подождал, пока старик напьется.

— Слава, — тихо позвал Олег.

— Тут я, — весело отозвался человек и повернулся во вращающемся кресле.

— Раз отзываетесь на это имя, значит, это вы.

— Конечно, я — это я. А вы, простите?..

— Мне трудноато объяснить... Я несмышлениш, с которым вы играли в шахматы и... посылали к Майе... Меня зовут Олег Немец.

Некоторое время они молча, изучающе смотрели друг на друга.

— Война? — спросил Владан, как спрашивают секретный пароль.

— Война, — подтвердил Олег и вздохнул.

— Since this's your friend, I'll be back in few minutes, — промолвила женщина и вышла.

— Что она сказала? — спросил Владан.

— Она отойдет на несколько минут, — перевел Олег.

— Я знаю, здесь нельзя курить, — Владан подмигнул. — Но пока эта леди, которую ко мне тут прикре-

.....

пили, вышла, достань мне сигаретку во-он из той сумки. Мы ведь на «ты», да? Как не поднять по такому случаю?

Чиркнув зажигалкой, Олег дал Владану прикурить и закурил сам.

— Видишь, я в том же амплуа, — сказал Владан и закашлялся.

— Кто же тебе помогает?

— Да кто попало... Они у меня не задерживаются, — Владан вдруг запел. — Менял я женщин, как, терьям-терьям, перчатки...

— Приятно тебя видеть здоровым и в форме, не смотря ни на что!

— Здоровым?! — печально усмехнулся Владан. — Тебя не удивляет, что я вообще жив? Мне ведь за семьдесят. А ты? Ты-то как?

Олег скупно рассказал. Он был растерян и от этого глуповат.

— У тебя семья, а я вот как жил, так и живу бобылем, если не считать случайных эпизодов. Не живу, а существую...

— Как Майя? Может, это неприятно вспоминать?..

— Майя, представь себе, пришла на наше представление в Нью-Йорке. Живет с мужем на Брайтон-бич.

— Он тоже был циркачом?

— Сейчас служит швейцаром в гостинице. Ведь не мальчик... Меня раньше за границу никогда не выпускали, — советские люди не должны быть уродами. Сейчас к вам сюда только ленивые не едут. Знаю, все халтурят, но, поверь мне, кроме циркачей: на канате под куполом на шармачка не поработаешь... Послушай, Олег, ты же по-английски сечешь. Погляди, что тут про меня пишут?

Кивком головы Владан указал на стол. Немец взял свежий номер газеты «Сан-Франциско экзаминаер». На фото Владан был в своей рабочей позе на арене. Заголовок гласил: «Русский артист, который ногой рисует лучше, чем другие художники рукой».

— Я-то газет не читаю, — сказал Олег. — Оказывается, о тебе уже не первый раз здесь пишут. Вот послушай: в связи с появлением талантливого русского художника без рук газета решила провести конкурс среди читателей: какой орган у мужчин самый важный.

Только теперь до Олега дошло, почему спорили у Мирона гости!

— Какой же? — спросил Владан, кося глаза в газету.

— «Читательницы охотно откликнулись, — переводил Олег. — Одна молодая женщина заявила, что постановка вопроса неправильная: у ее друга ей нравятся все органы. Одна феминистка заявила, что у мужчин нет важных органов вообще, все второстепенные, а все важные органы только у женщин. Она и получила первую премию на конкурсе: бесплатную подписку на газету «Сан-Франциско экзаминаер»».

— Боже мой! — воскликнул Владан.

— Вот еще, — Олег продолжал читать. — Тебя будут показывать по телевидению на всю Америку. Готовься! Знаменитая Барбара Уолтерс специально прикатила в Сан-Франциско взять у тебя интервью для передачи «Twenty-twenty».

— Зачем мне все это?

— Поздно, брат, ты — знаменитость. Вот письма читателей. Послушай-ка, тебе делают предложение. Некая Стефани Боксер готова утешить тебя в

.....

одиночестве. Она пишет, что отсутствие рук у Владана — не помеха и что готова выйти за тебя замуж. Женишься — останешься в Америке.

Владан улыбался. Но в глазах его стояли слезы.

— Это что, серьезно? Такого мне в жизни никто не предлагал. В молодости я хотел любить женщин руками, понимаешь, и очень страдал, что не мог... Мопассан говорил, пока у него есть хоть один палец, он мужчина, а у меня нет ни пальцев, ни даже тех мест, из которых они растут. Кому я нужен — жалкий калека, жертва той тупой, идиотской войны, обрубок человека?

Я ведь тоже не состоялся из-за войны, хотел сказать Олег. Но это было неуместно, и он промолчал.

— Владан, давай я заберу тебя к нам домой, — вместо этого произнес он. — Отдохнешь... Расслабишься... Погуляем на океане... А потом привезу обратно. Идет?

— Нет, Олег, нет! Все это не для меня. У меня только две точки существования: арена и гримерная с диваном. Тут или там я и помру. А теперь прощай, дружище. Мне надо принять снотворное и лечь.

— Тогда вот мой телефон, — Олег набросал на клочке бумаги номер. — Отдохнешь — позвони, я за тобой приеду и...

Владан кивнул. Олег обнял его за плечи, понимая, что звонка не последует. Пустые рукава владановой белоснежной рубашки колыхнулись и замерли.

Олег вышел на улицу. Представление давно закончилось, и пространство вокруг цирка опустело. В Тихом океане садилось солнце, оранжевое, тяжелое и равнодушное. Никакой разницы с тем солнцем, которое Олег видел в деревне накануне войны, не было.

Нинель одиноко стояла у входа в цирк и ждала мужа.

11. Квартира №1

Немало помотался по свету Олег Немец. А в город, где родился, никак не мог выбраться. Было к тому объективное препятствие, ибо давно переселился Олег на другой континент и сделался американским подданным. Он все надеялся на гастрольную поездку, но пути оркестра туда не лежали.

И вот, после очередного концерта в Москве, в предотъездный свободный день, душный и полный бензиновых паров, Олег отчетливо понял: если он немедленно не съездит, то после уже не увидит свой город никогда. Договорились они с женой, трепавшейся на радостях с утра до ночи со старыми подругами, встретиться в десять вечера того же дня на Центральном телеграфе, у входа.

Билетов на ранний рейс на аэровокзале, конечно, не было. Но для тщательно выбритого, вальяжного господина, во все ненаше одетого, с американским паспортом, а главное, за двойную цену в твердой валюте билетик случайно нашелся. Вскоре Олег уже протопал через магнитную ловушку в Быкове на посадку. Если все будет нормально, меньше часа полета, и там у него будет несколько часов.

Подремывая в дребезжащем самолете, тесном для его располневшего тела, Немец подсчитал, сколько он не был в родном городе. Вышло около полувека. Для всеобщей истории человечества его вояж не имел существенного значения, но история не происходит сама по себе. Она то течет мимо, то втягивает нас в водоворот. Мы выкарабкиваемся, обсыхаем на солнышке, и кажется, что история снова независимо течет мимо. Она-то легко может течь без

.....

нас, да мы без нее не живы. Подобные философемы приходят только человеку, пребывающему в полетном безделье. Ну, и день был непростой, набухший предчувствием.

Сел самолет, когда наступило самое пекло. Не выходя из приземистого здания провинциального аэровокзала, Немец повесил на плечо сумку, плащ и первым делом втерся в очередь поближе к кассе. Заскандалившему было старику он дал доллар, и тот сменил гнев на милость. Олег купил за три пачки российских банкнот обратный билет на вечерний рейс в Москву. Пока что ему везло. Чтобы разом на весь день отрешиться от мирских забот, в стекляшке напротив аэровокзала он взял две порции жутких вареников, похожих на вареных мышей. Однако есть их не стал, отдал бедной женщине, которая проворно слила их в пластиковый мешок.

Немец взял такси, через полчаса очутился в центре и побрел, повинуюсь внутреннему компасу.

Ничего Олег не узнавал, а все-таки к старому чугунному мосту пришел, никого не расспрашивая. У моста он замедлил шаги. Грузная решетка, покрашенная по ржавчине, бугрилась волдырями. Вот здесь, за поворотом, должен стоять ларек, чуть поодаль женщина в белом фартуке, а перед ней лоток, полный разноцветных подушечек по три копейки штука. Немцы, отец и сын, отправляются на прогулку. Сын трясется по булыжнику на двухколесном велосипеде. У ларька прислоняет велосипед к решетке. Отец берет кружку пива, а на сдачу сын покупает у лоточницы подушечки. Олег сосет аккуратно, чтобы они дольше не лопались. Едва только вытечет повидло — конфете конец.

Олег ощутил во рту кисловатый вкус этого по-видла, но, завернув за угол, ни пивного ларька, ни лоточницы не увидел: они стояли здесь до войны. Вместо булыжника кругом лежал асфальт, и асфальт этот давно успел обрасти змейками трещин. Немец ускорил шаг. Тут уже близко.

Жили они в узком кривом переулке возле церкви Андрея Первозванного. Церковь была полуразрушена, из-под штукатурки вышла кирпичная кладка, на колокольне, ближе к макушке, торчали железные балки. Колокола сбросили по приказу наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе. Ветер давно снес железо, и луковицы оголились. Кресты стояли, словно стыдясь, наклонив плечи, будто им так лучше был виден весь кривой переулок.

Каждый день Олег с приятелями торчал возле обрешеченных окон церкви. В ней, в отсеках, разделенных низкими фанерными перегородками, работали скульпторы и мастера, отливающие из гипса готовые статуи. В окнах, через квадраты решеток, виднелись неоконченные монументы вождей без рук, торсы да бюсты. Ленин держал на поднятой руке свою собственную голову, словно снял ее, чтобы передохнуть от напряженных мыслей о судьбе человечества.

Но толпились пацаны возле окон не из-за Ленина. Самым волнующим зрелищем было, когда удавалось подглядеть процесс созидания скульптур ткачих и колхозниц, ударниц труда. Рядом с монументом за пятьдесят копеек в час стояла на возвышении сисястая натурщица, и на ней, в отличие от скульптуры, никакой одежды не было. Зрители у окна, отпихивая друг друга в борьбе за лучшее место, вслух комментировали зрелище.

.....

Натурщица, как правило, не обращала на шпану внимания и болтала, а иногда уходила под занавеску и там занималась то с одним, то с другим скульптором совсем другим искусством, о котором Олег имел тогда весьма смутное понятие. Иногда скульпторы пускали двух старших ребят внутрь. Те местили глину или таскали воду из колонки на улице, стараясь пройти как можно ближе от натурщицы, а если повезет, задеть ее локтем. Та начинала хохотать и строго говорила:

— Ну, чего варежку-то развесил? Анатомию что ли в школе не проходил?

На доме, в котором росли Олег с Люськой, штукатурка затекла от дождей ржавыми полосами, но стены были крепкие. В прошлом веке тут часто бывали пожары, кругом оставались пепелища, а этот дом выстаивал целехонек. Он видел Наполеона.

В квартиру вело широченное, из прогнивших досок, крыльцо, крытое резным навесом. Люська с маленьким Олегом и кошкой сидели на протертых ступенях и втроем мурлыкали на солнышке. В обшарпанной двери была прорезана щель. Над щелью отец масляной краской красиво вывел: «Кв. №1». В щель почтальон засовывал газеты, и они падали в коридорчик. Звонок над щелью, если крутануть, весело тренькал.

Комнату украшала старинная изразцовая печь, которую мать топила из коридорчика. У окна, закрывая подоконник спинкой, стоял диван. На нем спали отец с матерью. У другой стены втиснулись две кровати — Люськина и Олега. К ним примыкала шаткая этажерка с деревянным ящиком, из которого доносилась хриплая музыка. Когда приходили гости, отец хвастался, какие далекие станции

.....

принимает новый приемник — даже иногда Ленинград.

Больше всего на свете Олег любил гостей. Как только умещалась у Немцев такая тьма народу? Отец был самым веселым в самой шумной компании. Он потешался над всеми и над собой, пел арии из опер, танцевал вальсы, сажая детей на руки. Перестав смеяться, он становился хмурым и говорил, словно оправдываясь:

— Очень смешно!

Иногда Олег не понимал шуток, ему казалось, отец обижает мать. Но она звучно била отца по спине и сама смеялась.

Он работал ретушером, отец. Орудиями его труда были тонкая кисточка, молочное стекло в разводах туши да лупа. Из издательства он приносил пачки снимков. Симпатичных людей с бракованных фотографий Олег после вырезал.

Однажды в дверь позвонили. Вошли двое в форме НКВД. Отец стал белым, как бумага, а мать глотнула воздуха, будто хотела им заpastись, и прижала ладони к шее.

— Гражданин Немец? Пройдемте в комнату, — сказал один из вошедших отцу. — А вы, гражданка Немец, заберите детей и идите гулять.

— То есть как? — переспросила мать.

— Разве не по-русски сказано? Уходите на улицу.

Мать безысходно зарыдала, одела детей и увела во двор. Было ясно, что отца уводят. Стоял тридцать седьмой. Но часа через полтора энкаведешники ушли. Один из них на прощанье даже козырнул матери. Она побежала в дом, готовая к худшему. Отец тихо сидел на своем рабочем месте, уперев локти в стол и тупо глядя в стену. На вопросы матери он не

.....

отвечал, словно онемел. О том, что произошло в доме, отец все же поведал матери. Мать молчала почти двадцать лет и рассказала Олегу, словно случайно вспомнив.

Оказывается, энкаведешники посадили отца за стол и стали по обе стороны, будто готовились выкручивать ему руки. Один из них открыл портфель, извлек из него большой конверт с сургучной печатью и вскрыл его. На стол перед отцом легла фотография — крупным планом лицо с усами, изъеденное дырками оспы. Узнать лицо было нетрудно, оно глядело со страниц всех газет, но, конечно, без оспы.

— О вас имеются данные как о лучшем ретушере, — сказал другой незванный гость. — Можете убрать с этого лица лишнее?

— Могу, — еле выговорил отец.

— Делайте!

— Но это большая работа.

— А мы не спешим...

Они стояли над ним, следя за каждым его движением, а он работал медленно, потому что руки у него дрожали. Когда оспа исчезла и кожа на щеках стала гладкой, как у младенца, один из гостей ловко вытащил фотографию из-под отцовского локтя и спрятал ее в портфель. Перед отцом положили бумагу, на которой ему велели написать, что он был посвящен в государственную тайну, разглашение которой карается по всей строгости советских законов. Впоследствии, вспоминала мать, они с отцом никогда и нигде снятой с такого близкого расстояния фотографии этого лица не встречали. Отец предполагал, что запрещенное фото извлекли в связи с новым заказом для скульпторов, но скульпторам видеть натуральное лицо было недозволено.

— Ты ему, не дай бог, оспинку где-нибудь случайно не оставил? — с беспокойством спрашивала после мать. — Заберут ведь!

Но обошлось.

Отец и сам любил щелкать затвором. Печатал фотокарточки ночью, расставляя на столе, возле ребячьих кроватей, ванночки. Подынешь веки — все в странном розовом свете. Одно фото висело на стене: сидят на диване мать, Люська и хохочущий отец. Олег стоит рядом, держа в руках смычок и скрипку. Отец посадил их тогда на диван, аппарат укрепил на треножнике, протянул к дивану нитку и сел сам.

— Ну, смейтесь, как положено! — крикнул отец, захохотал и дернул за нитку.

Вспыхнул магний, затвор щелкнул. Все улыбались, как надо, а Олег напряженно следил за ниткой. Так он и получился.

Война для Олега началась с мелочей. Приемник велели сдать на почту и выдали квитанцию. После первых налетов отец сказал:

— Придется вам эвакуироваться.

Олег радовался. Кто-то ему ляпнул, что на Урале, куда шли эшелоны с детьми, полным-полно камней-самоцветов, и Олег ехал собирать красивые камушки. Мать плакала. Отец остался на перроне. Художников объединили в группу красить зелеными и желтыми пятнами крыши для маскировки. Ретушеров записали художниками.

Мать с двумя детьми привезли в маленький городок с зелеными палисадниками, тихий и бедный. С бревенчатых стен маленькой комнаты косами свисала пакля. Мать прибежала с работы, когда от темноты и голода у Олега и подраставшей Люськи

.....

слипались глаза. Отворачивая лицо от дыма, мать растапливала печь, варила и, пока они уничтожали еду, грела возле печки их одеяла, мечтательно приговаривая:

— Вот погодите, скоро наш отец вернется...

От отца почтальон приносил письма, иногда по два-три сразу. С конвертов Олег срезал марки. После стали приходиться конверты без марок. Потом пошли треугольники. Вскоре и треугольники приходиться перестали. Засыпая, Олег видел: мать сидит на кругляке и, оцепенев, глядит на догорающие угли.

Война кончилась. Летом они втроем вернулись в родной город. На месте крыльца с резным навесом оказалась просто дверь. Вдруг мать побледнела, сжала Олегу руку и долго стояла не шевелясь. Над щелью, заменяющей почтовый ящик, хотя краска немного облупилась, было видно выведенное отцовской рукой: «Кв. №1».

Мать опомнилась, опустила чемодан, дотянулась до ручки, дернула. Дверь не открылась; попробовала мать покрутить звонок — он едва скрипнул.

Люська показала Олегу вверх на стену. Окон их квартиры не было, сама стена была новая, криво сложенная из обломков кирпича, и шла она наискось. От этого дом выглядел временкой и совсем перестал быть похожим на те особняки, которые видели императора Наполеона.

Оставив детей стеречь чемодан, мать ушла за угол и постучала в квартиру к соседям. Оттуда вышла женщина в пуховом платке. Она нехотя объяснила, что старые жильцы в начале войны разъехались кто куда. Въехали новые. Бомба тут упала еще в первый год войны и разрушила часть дома. Жильцов переселять было некуда, а трещины ползли дальше. Стену дота-

.....

чали, чтобы дом не рухнул, и первой квартиры нынче фактически нету. То есть дверь-то в нее осталась, это так, да она никуда не ведет. Крыльцо давно на дрова пошло.

Женщина ушла и тщательно заперла за собой дверь. Мать стояла в растерянности, переминаясь с ноги на ногу. Олег и Люська на нее смотрели, а что она могла решить?

Приютила их тетка Полина, троюродная материна сестра. Она никуда не уезжала и сторожила свою комнату всю войну. Жила она на окраине одна, но все равно Немцам необходимо было думать о своей конуре.

Прописаться матери не удавалось, потому что не было квартиры, а в очередь на квартиру райисполком не ставил без прописки и характеристики с работы. На работу же никуда не брали без прописки. Зато по случайно сохранившейся квитанции на почте выдали отобранный в начале войны приемник. Тоже выдавать не хотели: квитанция-то была на имя отца, а отец пропал без вести. От прописки зависела остальная жизнь.

Безо всякой надежды мать ходила в домоуправление, и раз паспортистка Зоя Ивановна сжалилась, намекнула, что если участковому подмазать, он закроет глаза на то, что квартиры №1 фактически нету и в ней пропишет.

— А как ему отдать деньги? — спросила мать. — Вдруг не возьмет?

— Да как все дают? — удивилась паспортистка. — Вложи в детскую книжку и скажи: вот, мол, подарок вашим детям.

Мать взяла взаймы у Полины денег и подарила участковому книжку «Дядя Степа», в которую вло-

.....

жила всю наличность. Участковый был немолод и толст.

— Почитаю, — надув щеки, сказал он.

Через неделю, когда мать пришла за ответом, участковый, разглядывая ее паспорт, строго сказал, что прописать уже почти можно, но замначальника по паспортному режиму смущает ее фамилия.

— Да уж какая есть, — равнодушно в тысячный раз объяснила мать.

— Может, с национальностью спутали? А если так, что это за немцы у нас в городе после войны? Но начальник тоже детские книжки любит...

Брать взаймы было не у кого. Мать сняла с руки и положила на стол участковому часики. Тот поморщился, но быстро убрал их в ящик стола. Через неделю у матери в паспорте стоял штамп прописки в квартире №1, которой вообще-то не существовало.

Устроилась мать на работу счетоводом в какую-то артель. Куда ж еще ей было деваться с такой плохой фамилией?

Олег понимал, что отец не вернется, хотя похоронки так и не пришло. Мать притихла, руки у нее стали шершавыми. Они жили впроголодь, потому что на первые две зарплаты мать купила в комиссионке треснувшую скрипку. Олег сам ее склеил и вдруг стал играть без понуканий. Когда Олег переставал играть на скрипке или у него были неладья в школе, глаза матери наполнялись слезами. Она не говорила ни слова и быстро отворачивалась. Иногда она плакала без видимых причин.

— Что ты все про одно: дети да дети, — поучала ее Полина, которая была лет на двадцать старше. — О себе подумай!

Не отвечала мать, будто не слышала.

В коммуналке у Полины они прожили некоторое время. Потом вечером пришел участковый. Пыхтя, спросил разрешения присесть (целый день, мол, на ногах), но надо взглянуть на документы. Полины не было, детей мать только что уложила, Олег делал вид, что уже спит. Выложенный матерью на стол паспорт участковый открывать, однако, не стал.

— Выпить чего не найдется? — вдруг спросил он.

Просьба такая даже обрадовала мать: не будет он принимать мер, выпьет да уйдет. Он сам откупорил поставленную перед ним четвертинку водки, влил в себя полстакана, закусил хлебной корочкой, валявшейся на столе, слил в стакан остальное и допил.

— Хорошо! — сказал он, совсем раскраснелся и расстегнул шинель.

— Ну, и слава богу! — пробормотала мать. — У нас с документами все в порядке, можете не беспокоиться.

— А как насчет по женской части? — и он сжал материну руку.

— В каком смысле? — оторопела мать.

— Да в прямом. Я мужчина сильный, сама понимаешь, что мне надо.

Он поднялся, шатнувшись, и схватил мать за вторую руку. Она отстранилась, как могла.

— Нет, не надо, пожалуйста, дети ведь смотрят, — запричитала мать.

— Тогда в коридор пойдем, да не бойсь, я шинель подстелю, она теплая.

В это время тихо вошла тетя Полина.

— У, да тут веселье гудит, — все поняв с первого взгляда, зашумела она. — Но надо и честь знать, гости дорогие, хозяйке спать пора, завтра чуть свет на работу.

.....

— Ладно, вдругоря еще приду, — угрюмо объявил участковый, отпустил материны руки и нетвердой походкой направился к двери.

Уткнувшись в Полинино плечо, мать рыдала.

Через неделю участковый еще пришел. Но теперь мать была готова к отпору. Он выпил свою дозу, пытался облапить мать, но та ухватилась для своей защиты за Олега. Обняв, поставила сына впереди себя. Участковый рассвирепел, схватил со стола пустую четвертинку и грохнул об пол.

— Тебе же хуже! — заявил он матери. — Соседи давно в милицию сигнализируют, что вы живете в одном месте, а прописаны в другом.

Он хлопнул дверью, и несколько дней было тихо.

Мать уже ложилась спать, когда в дверь позвонили. Из милиции пришли двое, один был в штатском. Забрали у матери паспорт, велели за ним прийти. Вскоре мать получила паспорт обратно. Прописка была ликвидирована. Матери дали подписать бумагу — в течение сорока восьми часов покинуть город вместе с детьми, а если останется, посадят за нарушение паспортного режима, а детей — в колонию.

— Сын! — решила мать. — Хочу с тобой посоветоваться... Ты у нас единственный мужчина.

Раньше она так никогда Олегу не говорила.

— Не знаю, как и быть, — она замолчала, искала слова. — Выселяют нас. Ездил я в деревню, где мы на даче жили. Думала, может, Паша возьмет нас к себе. Да два года, как она умерла... Снимать здесь разные углы и скрываться? Я уже искала. Как спросят фамилию — смеются, а как узнают, что прописки вообще нету, не сдают, боятся. И сама куда ни пойду, все отец, отец... Тут набережная — мы с ним

.....

на лыжах катались. Там дом, где я тебя родила и он меня с цветами встречал. Нет нам здесь места без отца...

— Чего же ты хочешь?

Хотя Олег считал себя почти взрослым и мать давно уже не называла его Олей, как девочку, предложить он ничего не мог.

— Заставляют второй раз эвакуироваться, — сказала мать с отчаянием. — То немцы были виноваты, а теперь потому, что мы сами Немцы. Уедем туда, где жили в войну. Там у нас... отец еще был жив... Помнишь, он всегда сердился, когда я тебя Олей звала? Я и не зову.

Не все понял тогда Олег, ею сказанное. Где жить, ему было все равно. Там остались шпанистые приятели, с которыми они играли на огороде в войну, зимой гоняли на коньках, цепляясь проволочными крючками за грузовики, а летом дергали морковь на соседских огородах. Здесь он так и не успел ни с кем толком подружиться. Во дворе ворье. Одни приходят из лагерей, другие уходят. Те и другие зовут тебя фрицем и бьют. Люська тоже рвалась ехать немедленно. Там у нее был почти что жених Нефёдов.

Немцы уехали обратно. Люська вскоре вышла замуж и родила двух дочек. Олег кончил музучилище, открывшееся после войны, и попал в симфонический оркестр областной филармонии. Он тоже женился, родил сына. Однажды первая скрипка, секретарь парторганизации филармонии, когда они после концерта выпивали, сказал Олегу:

— Если хочешь расти, вступай в партию. Без партии хорошим музыкантом тебе не стать.

Пришлось послушно влиться в партию — отчего ж не вступить, если обещают блага? И действи-

.....

тельно, скоро его сделали третьей скрипкой. Для плана оркестр выезжал в соседние колхозы и воинские части, чтобы массы овладевали классической музыкой. Заработал коммунист Немец квартиру через пять лет. Немного погодя купил мебель и на книжную полку поставил собрания сочинений русских и прогрессивных западных классиков, чтобы было, как у всех. Еще через несколько лет построил летний домишко на выданном ему филармонией садовом участке. Стоял в очереди на «Москвича». Постепенно сыну Валеше исполнилось столько, сколько самому Олегу было перед войной.

Нельзя сказать, что Олег жил счастливо, хотя и неплохо. Можно сказать, жил лучше многих других, но энергичная жена его Нинель, окончившая в Москве Институт народного хозяйства имени Плеханова и служившая старшим экономистом в проектном институте, однажды спросила:

— Ответь мне, пожалуйста. Кто у нас в семье мужчина?

— Допустим, я, — осторожно сказал Олег. — А что?

— А кто у нас в семье Немец?

— Так ведь только по фамилии...

— Видишь, как получается: все равно ты. Конечно, лучше бы ты был настоящим немцем или евреем, но что поделаешь? В общем, ты мужчина, ты Немец, а в русских очередях стоять мне. И мне надоело!

— Что-то я не просекаю, — пробурчал он, хотя уже вполне догадался. — Куда ты клонишь? К разводу? Хочешь обзавестись фамилией поблагозвучней?

— Ни за что! Я клоню к Америке или в крайнем случае к Германии, — сказала жена. — Все едут.

— Разве? — спросил Олег, который в практической жизни был далек от всего, кроме пиликанья на скрипке. — А почему?

— Потому что выпускают, — исчерпывающе объяснила жена.

Это был могучий аргумент.

— Конечно, я уже все прощупала, — продолжала наступление Нинель. — Выпускают в основном евреев, но и немцев, и армян. Если подсуетиться, думаю, с такой фамилией, как у нас, мы тоже вызов получим. Напишем, что ты не только немец, но и еврей. А уж я с тобой кем хочешь буду. Подумай только: вырвемся — и никогда в жизни у тебя больше не будет прописки!

Это доконало его нерешительность.

Из партии Олег Немец вышел в общем-то почти так же легко, как вошел. Из филармонии его мгновенно ушли по собственному желанию. Время было для отъезда благоприятное, так называемый детант, и Немцы, прождав несколько месяцев, в общем потоке получили приглашение от незнакомой тети в Израиле. Неизвестно, была ли она тетей или дядей, но дай ей или ему Бог долгих лет жизни. Люська со своим Нефёдовым и дочками осталась. А мать, поколебавшись, поехала с Олегом.

Скромность скромностью, но теперь выяснилось, что он не просто талантлив, но даже очень, ибо посредственных музыкантов в хороших оркестрах на его новой родине не держат. С тех пор он много поколесил по свету с тремя оркестрами, в которых пришлось работать, но никто никогда ни в одной стране, кроме той, первой, не смеялся над Олегом Немцем, что у него такая фамилия. Ну, а у сына Валешки, который кончил университет в Америке и работает компью-

.....

терщиком, этой проблемы вообще нет: русское слово Nemets по-английски ничего не значит, а и значило бы, так что? Самое близкое к нему слово nemesis означает «возмездие» или «кара». При желании можно рассмотреть тут некую символику, но на практике она не работает.

А работало то, что Олега Немца все же безотчетно тянуло туда, где он родился, в квартиру №1. Жизнь он прожил в квартирах с разными номерами, но первая была у него одна. Может, как ни глупо это звучит, дело в том, что он в ней был прописан?

Прописка Олегу больше не нужна. И по всему свету он ездит без виз. Только в ту страну, где у него была прописка, ему надо получать визу, платить угрюмым чиновникам за то, чтобы они выдали клочок бумаги, разрешающий навестить родину.

Шагая по жаре в костюме и при галстуке, Олег взмок. Он стянул пиджак, замотал его в плащ, расстегнул воротник: воздуха не хватало, дышалось тяжело. Но когда до дома остался один квартал, Олег не выдержал, зашагал еще быстрее, побежал. Мог бы и не спешить: если дом не снесли за полвека, он стоит еще пять минут.

Дом стоял на месте. Немец остановился и вздохнул. Переулок превратился в тупик. Новая улица пролегла в стороне, вдоль набережной. За церковью, поперек проезда, распластался бетонный корпус, весь в стекле и алюминии. В нем разместилось, судя по обилию автомобилей у подъезда и милиционеров, гуляющих вокруг, серьезное учреждение.

Церковь обросла лесами. Покрывившиеся кресты выпрямили, луковицы облепили жестью и покрасили в яркий желтый цвет, заменяющий позолоту. Олег заглянул в окно через решетку. Скульп-

.....

торы и скульптуры исчезли. Внутри стояли унитазы и ящики с кафелем для санузлов — склад. Олег мог опоздать: неподалеку сгрудились бульдозеры. Вот-вот ничего не останется от всего переулка, кроме церкви, на которой появилась плита, похожая на могильную: «Охраняется государством. Повреждение карается законом». Повредить, однако, уже было нечего.

Дверь их квартиры по-прежнему висела над землей. И надпись еще можно было разобрать: «Кв. №1». Дверь забита горбылем крест-накрест. Немец обошел дом вокруг, спотыкаясь о ломаные кирпичи, с любопытством осмотрел новую стену, которая отсекала часть дома, и решил позвонить в квартиру №2. Долго никто не открывал, потом послышался старческий голос:

— Чего надо?

— Из стройуправления, — сказал Олег первое, что пришло на ум, стараясь свой тихий голос превратить в грубый и деловой.

— Чего надо-то? — повторил голос за дверью.

— Ввиду сноса... Осматриваем помещение.

Два замка повернулись, щеколда отодвинулась. Старуха в грязном, когда-то цветастом халате подозрительно оглядывала Олега. Но он был одет прилично, и на лице у него ничего криминального написано не было.

— Гниет дом, будем сносить, — сурово сказал Немец. И стараясь не придавать значения словам, прибавил. — Почему дверь первой квартиры заколочена?

Они стояли по разные стороны порога. Женщина долго не отвечала. Сунув в рот заколку, она прибрала волосы. Держась рукой за дверь, вытянула шею, гля-

.....

нун на дверь квартиры №1, будто впервые ее заметила. И сказала то, что Олег давно знал: дом бомбили в войну, трещины пошли, и тут поставили новую стену.

— К вам, мамаша, можно войти, взглянуть, нет ли трещин?

— Входи, коли поручено. Только у меня со вчерась не прибрано.

Беспорядок и грязь в комнате, в которую он попал, были монументальны. «Вы слушали песни о нашей родине и марши», — радостно сообщил диктор. Олег внимательно осмотрел стену, отделявшую затхлые старухины апартаменты от несуществующей квартиры №1. Он глянул в окно, зарешеченное ржавыми прутьями, и сообразил, что старухина стена не достигает до новой кирпичной кладки. Там остается промежуток, часть дома, в которую не войти.

Для виду Олег вынул блокнот, накарябал закорючку и поблагодарил старуху. Она спросила, скоро ли ее переселят, сколько ж можно обещать?

— Скоро, — успокоил ее Олег. Не удержался, добавил. — Можно не убираться.

— Вот и я так считаю, — согласилась хозяйка. — Чего ж мыть, если выселяют? Большая вам благодарность, родненький.

— Не за что!

В домоуправлении Олег разыскал слесаря. Крепкого сложения, но опухший от фруктово-выгодного, тот полулежал на старом диване в маленькой комнатке с раковиной и унитазом. Слесарюга долго не мог взять в толк, чего пришельцу надобно. Ворчал, что пристают с ножом к горлу из-за разной ерунды, а у него важная проблема утечки в бачках.

.....

— На кой ляд тебе далась эта дверь, скажи ты мне, тогда запусу...

Олег вытащил из кармана полиэтиленовый мешок с толстой пачкой денег.

— Хватит?

Пролетарская гордость помаячила в зрачках слесарюги, но не настолько долго, чтобы дать клиенту возможность передумать.

— С этого и надо было начинать, — назидательно сказал слесарь, небрежно спрятав в карман мешок сушеных рублей. — Просить — все просят, а я один.

Прошли они к дому кратким проходным двором, о котором Олег не подозревал. Раньше такого хода не существовало. Остановились у квартиры №1. Слесарь поставил на землю чемоданчик, оглядел дверь.

— Дело серьезное, — сказал он, набивая цену. — Сперва надо обмозговать.

Он не спеша закурил. Олег ждал. Потом вынул свои сигареты и, чиркнув зажигалкой, тоже закурил.

— Сам-то кто?

— Скрипач.

— Во, дает! — захохотал слесарь. — Скрипач... Все мы скрипим. Артист, что ли? То-то смотрю, бумажник набит. Да нет там антиквариата за дверью-то! Как в войну забили, так и стоит.

Отшвырнув окурок, гегемон пнул ногой чемоданчик, и тот открылся. Из него была извлечена большая связка ключей на проволоке.

— Может, сперва доски оторвешь? — осторожно предложил немец.

— Доски успеют.

Слесарь стал примерять ключи. Ни один не подходил, а может, просто заржавело. Поглядывая на Олега косо, слесарь медлил. Его тревожила возможность подвоха. Если там ничего нет, на кой ляд ему авансировали пачку, а не несколько бумажек, как всегда?

— Твоя как фамиль-то?

— Немец.

— Из Германии?

— Фамилия, говорю — Немец.

— Странная фамилия... Яврей, что ли? И че те рыскать там? Будут скоро сносить, приходи да гляди.

— Я приезжий.

— Откуда же?

— Из Сан-Франциско. На гастролях тут...

— Гастролер, значит! Как говорится, бывший из-менник родины, а теперь наш друг и брат. Паспорт-то предъявь...

Усмехнувшись, Олег дал ему синий паспорт. Слесарь его с любопытством покрутил так и сяк.

— Что-то тут не по-нашему. Значит, ты какой же нации?

— Американец.

— А фамилия, говоришь, Немец. Чудно!

Следствие становилось утомительным.

— Ну что? Открываешь или...

Надоело это Олегу. Он вырвал из рук слесаря паспорт и вытащил из кармана скример — коробочку с полицейской сиреной, которую кто-то ему посоветовал купить перед отъездом в Россию.

— Это шо за штука? — удивился слесарюга.

— Щас облучу тебя — станешь импотентом. Деньги на бочку, другого найду. Включить?

— Здесь я хозяин, — обиделся тот. — Зачем так круто?

Слесарь нагнулся и вытащил из чемодана топор. Гвозди заныли, и горбылины рухнули. Топор втиснулся в щель, побряхтел и, наломав щепы, зацепил дверь. Она запищала, захрипела и открылась. Пахнуло сыростью и гнильем.

— Валяй, пачкай костюмчик, коли охота взяла...

Закусив от волнения губу, Олег ступил на порог. Паутина и тусклые гирлянды пыли свисали с потолка, шевелясь, будто живые. Под слоем кирпичной крошки и мусора на полу виднелись бумажки. Олег поднял их, отряхнул, вытер ладонью. Это были два брошенных через почтовую щель в двери и никем не взятых письма: одно треугольное, другое в конверте. Он сунул их в карман и, вобрав голову в плечи, шагнул вперед.

В коридорчике, засыпанном обломками кирпича и цемента, было полутемно. Дверь из коридора в комнату оторвана, проем перегороджен упавшей балкой. Отодвинуть балку Олег не смог и пролез под ней, перемазавшись. Дальше наступила сплошная темнота. Выставив руки, как слепой, Олег сделал шаг, еще один. Под ногами заскрипело, хрустнуло. Он нащупал в кармане зажигалку, чиркнул. Оторвал со стены клочок отслоившихся обоев, поджег край и, когда бумага разгорелась, бросил на пол.

Пламя разошлось медленно. Затем весь кусок обоев вспыхнул, осветив стоптанные половицы, когда-то крашенные. Олег поднял глаза: перед ним стоял кусок изразцовой печи в выбоинах от осколков. Разноцветный кафель этот с позолотой он видел с пеленок, картинки на нем заинтересовали его чуть позже. Синие музыканты. Танцы синих дам с синими кавалерами, проводы после бала — синие кареты и синие лошади.

.....

Только тут Олег глянул на пол и сообразил, что он раздавил каблуком. Внизу лежали кусочки белого стеклышка с черными разводами. Он подобрал осколки стекла письмом и высыпал в карман.

Клок обоев догорал. Олег оторвал со стены еще полосу, разорвал пополам и подбросил в огонь. Копоть полетела хлопьями, запахло горелой краской с пола. Теперь стало видно, что от печи начиналась новая стена, кривая, наспех сложенная из обломков кирпича. Простенок остался узкий, метра полтора, и в глубине сходил на нет, примыкая к стене старухиной квартиры. В простенке, погнутые и прижатые к стене, стояли ржавые кровати — Люськина и Олегова. Отблеск пламени, перед тем как погаснуть, осветил темный прямоугольник над кроватью. Фотографию эту Олег, хотя и ободрал ногти, оторвать от стены не смог, так прочно была она приклеена. Мать обычно ворчала, когда отец клеил фотографии на стены. А отец отвечал:

— Обои — ремесло, фотография — искусство...

Зажмурившись, Немец вышел наружу. Слесарь сидел на чемоданчике и курил.

— Дай нож! — приказал Олег.

Тот повел бровью, но молча привстал и вытащил из чемоданчика нож, вернее, заточенный обломок пилы, наполовину обмотанный изолентой. Олег попытался поджечь еще кусок обоев; сколько он ни чиркал зажигалкой, газ в ней кончился. Касаясь руками стены, Олег двинулся вперед, нащупал на стене фото и, просовывая нож между штукатуркой и обоями, вырезал с большим запасом кусок. Он вынес фотографию на солнечный свет и, когда глаза привыкли, увидел, что почти не повредил ее, срезал лишь уголок.

.....

Слесарь курил, сидя на чемоданчике в позе мыслителя.

— Похож? — спросил Олег слесаря и ткнул пальцем в мальчишку с белым бантом на шее, скрипкой в одной руке и смычком в другой.

— То-то ж! Немец, американец... Я сразу проник. Жил здесь?

— До войны. А после — только прописан. Прописан только, а жил...

— Сидел, небось? — слесарь гнул свои мысли. — Все на тебе написано. Думаешь, я твоей коробочки испугался? Пожалел тебя, вот что! Немцев всех тогда сажали. На скрипочке теперь пиликаешь, а мы тут за утечку в санузлах отвечаем.

Он осмотрел Олега с ног до головы, оценивая, потом снова поглядел на фото и подобрел.

— Страхни паутину-то!

Немец похлопал себя по плечам. Спросил без интереса, просто чтобы не молчать:

— Семья есть?

— Была гдей-то.

— Это как?

— А так, что лучше не знать где, чтоб с алиментами не чикаться. Ты хоть и скрипач, а темный. Без практики, видать, живешь. Знаешь что? Дай мне еще пачку — у тебя их в сумке вона сколько, я видал!

Ясно, что жена будет за это корить, как за всякую другую непрактичность, но еще пачку Олег отвалил. Гегемон повеселел, поднял топор, загнал обухом дверь на место, навесил горбылины крест-накрест, как было, поднял чемодан и, не кивнув даже, бодро затопал. Через несколько шагов он обернулся.

— Если что, приезжай. Я всегда здесь. Опять вскрою.

— Так ведь снесут...

— И-и!.. Уж сколько годов сносят, а все никуда не дается.

В слесаре вдруг проснулось чувство юмора.

— Можно, небось, и вообще не сносить, — осклабился он. — Смотря кому и сколько заплатишь...

В соседнем дворе на вытоптанной клумбе играли дети. Скамейка рядом, в тени, была свободной. Олег сел, закрыл глаза и попытался собраться с мыслями. Они шли вразброд. Жжж-иих! — раздалось позади него. Пацаны ломали сирень. Ломали, бросали на землю, топтали ногами и гоготали. Олег вздохнул, вытащил письма, которые давеча сунул в карман, и стал их разглядывать.

Письма покоробились и выцвели, треугольник еще и заплесневел. Олег поворачивал их и щурился, сясь разглядеть надписи. Некоторые слова исчезли, остались голубые разводы. На конверте одного письма выгорела бурая полоса. Видно, солнце через щель добралось. Наискосок красовался черный штамп полевой почты, номер ее. Фиолетовая печать с гербом «Просмотрено военной цензурой» тоже сохранилась, будто свежая.

Вскрывать письма Олег не спешил. Он прикурил у прохожего, затянулся. Письма на мгновение исчезли в облачке дыма. Олег взглянул на имена. Оба письма были адресованы матери, а она уже пятнадцать лет как умерла в госпитале в Сан-Франциско. До конечной минуты она была уверена, что отец жив. Жив и вернется — вопреки здравому смыслу, времени, вопреки всему. Люська, бросив на неделю внуков и мужа, на Олеговы деньги прилетала ее похоронить.

Резким движением развернул Олег треугольник, и тот превратился в пожелтевший тетрадный листок.

.....

Фамилия и имя в конце, под текстом, — Виктор Румянцев — ничего ему не напомнили. Человек, который написал письмо, был в одной роте с Немцем-отцом. На моих глазах, писал он, отец был убит, сражаясь за родину и товарища Сталина. И солдаты поклялись отомстить немцам за смерть нашего боевого товарища, лишь случайно носившего такую плохую фамилию Немец. По штампу выходило, что это произошло не позднее конца октября сорок первого.

На втором письме была марка и штемпель — сорок шестой год, и Олег поспешно разорвал его. Листок внутри конверта хорошо сохранился. То ли Олегу показалось, то ли на самом деле — пахло от листка лекарством.

Писал тот же Виктор Румянцев, но почерк был мельче и торопливей. Сообщал, что вот уже четыре года находится в психиатрической больнице после контузии. Весь организм целый, и чувствует себя хорошо. Но из больницы не выпускают, потому что он все время говорит про ужас, через который прошел, что докторам не нравится. А он не может забыть, и все тут. Не может забыть своего погибшего друга, с которым они делили хлеб и водку. Тогда, с фронта, он написал не всю правду, потому что боялся написать, за это расстреливали. Сейчас здесь письма тоже проверяют, как на фронте, но это письмо вынесет и отправит верная медсестра, которая не продаст.

Мой друг, писал Румянцев, погиб ни за что. Пустили на фашистов толпу невооруженную, и нас буквально изрешетили пулями, будь он трижды проклят, ублюдок товарищ Сталин. Меня только то спасло, что я сзади моего друга был и сам тоже сразу упал, будто убитый. Так лежал дотемна. Из гимнастерки его вытащил я бумажник и положил содержимое в свой.

.....

Руки на груди ему я сложил, уполз в лес, вышел к своим. Бережно хранил я фотографию, где мальчик со скрипкой, дочка и жена. Была также открытка, в которой отец поздравлял сына Олега с днем рождения, но отправить не успел.

Облизав пересохшие губы, Олег поморгал растерянно и стал дальше разбирать выцветшие слова. Еще, писал Румянцев, там был кусочек бумаги завернутый, а в нем засушенный цветок — от сирени, наверно, но лепестков не четыре, а шесть. Все думал я, что кончится война, смогу повидать родных моего друга и вам это отдать, но когда была контузия, все это вместе с моей одеждой исчезло, и концов не найти. Часто мне снится теперь сон, все один и тот же: мы с моим другом Немцем сидим в цирке, а на арене дерутся Гитлер и Сталин. Все норовят друг другу в зубы угодить или подножку подставить. Зрители тихо сидят, не видать реакции. Никак я не могу узнать, кто победит — Сталин, Гитлер ли: каждый раз просыпаюсь, когда на зал оглянусь, потому что все зрители — мертвецы. Мертвецы все в солдатской форме. И мой друг по фамилии Немец рядом со мной сидит мертвый и не шутит, как он делал всегда, а все на меня валится. Еле сил хватает мне его труп держать. В цирке мертвая тишина. Только я один в зале живой.

В конце письма Виктор Румянцев извинялся, что не может семью друга навестить и все рассказать, но что надежды не теряет выйти из больницы, хотя потери сознания все чаще бывают, а как выйдет, напишет еще. Еще письма не было. Да и это, последнее, странно, что почтальон бросил в щель: квартиру-то уже разбомбило. Одна дверь осталась.

Олег спрятал письма в бумажник и аккуратно вернул карман. На ладони лежали кусочки белого стекла, покрытого разводами черной туши. Разводы эти на белом стекле сделала отцовская кисточка. Когда отец садился ретушировать фотографии, белое стеклышко всегда лежало перед ним. Оспу товарища Сталина скрыла эта самая тушь. На стеклах запеклись капли крови. Подержав на ладони осколки, Олег высыпал их под скамейку. Только тут он заметил, что порезался, когда стекла собирал. Пососал царапины на двух пальцах и сплюнул: порез был глубокий.

Вокруг скамейки, на которой он сидел, бегали, галдя, дети. Жара спала. Пахло сиренью. Люська, когда приезжала к Олегу в Калифорнию, в саду у него сразу бросилась к сиреневому кусту и с удивлением обнаружила, что в нем сколько угодно пяти- и шестизвездных цветов, приносящих счастье.

— Просто здесь такой сорт, — засмеялся Олег.

— Странно только, что запаха почти нету. А помнишь?..

Люська не договорила, и глаза ее набухли слезами.

Олег почувствовал, что устал, и потряс головой, чтобы взбодриться. Надел пиджак, плащ перекинул через плечо. Фотографию, наклеенную на кусок обоев, свернул в трубку. Он заставил себя встать и сосредоточиться на текущей жизни. Остановил такси и, сев на заднее сиденье, поехал в аэропорт. Все! — решил он по дороге. Завтра день в Москве, а потом домой в Сан-Франциско. Сантименты детства надо забыть. Некоторым везет с детством, другим — нет. Бывает детство, в которое лучше не возвращаться — ни в памяти, ни физически. Ничего это не дает, кроме постоянной травмы, страдания от прошлой убо-

.....

гости и бессмысленных потерь, вековой обиды и комплекса неполноценности, травмирующих всю последующую жизнь. Вычеркнуть черное прошлое хотя бы из собственного бытия, изъять, ликвидировать, забыть.

Однако не очень был уверен Олег, что это ему удастся. Перед тем как вылезти в аэропорту из такси, он развернул мятую пожелтевшую фотографию — последний привет детства. Сидят на диване трое Немцев: сияющая от молодой женской силы мать, слегка дурашковатая Люська и счастливый, хохочущий отец. Сбоку стоит четвертый Немец — пухлощекий мальчик. Он торжественно держит в руках маленькую скрипку и смычок.

1968—1998,

Москва—Остин (Техас)—Дейвис (Калифорния)

**Вторая
жена
Пушкина**

микророман

Аллюзии запрещаются.
*Департамент Цензуры
штата Калифорния*

Претензии по аллюзиям
принимаются с 8 до 17,
перерыв на обед с 12 до 13,
кроме субботы и воскресенья.
*Адвокатская контора
Kopper and Son*

1.

Засуетились в пятницу около полудня. Лекции накануне кончились, впереди экзамены — время для немедленного загула в этом узком промежутке идеальное. В поисках повода для тусовки кто-то из друзей просек, что у Тодда Данки сегодня день рождения. Мерзавец пытается утаить данный факт от общественности. Плевали мы на его стеснительность!

Тут же скинулись, у кого сколько было. Двое отправились за едой и питьем в ближайший супермаркет. Набили там пакетами полный багажник и заднее сиденье, а когда прикатили обратно, парни стали готовить и раскладывать все по цветным бумажным тарелкам на столах в гостиной и во дворе. На портике установили бочонок пива и ящик с бумажными стаканами. Пробку вытащили, ввернули помпу. Она славно кричала, выдавая пенистую хмельную жидкость.

Снимали они впятером трехспальный дом с просторной общей гостиной и двумя ванными на улице Монро, от университетского кампуса в двадцати минутах езды на велосипеде. Хозяин за домом не присматривал: он уехал из Калифорнии на другой конец Америки, в штат Мейн, и требовал только регулярно платить. Дом не запирался. В гостиной иногда спали посторонние, кому негде было переночевать, — это никого не волновало. Пожара, который легко могли устроить лоботрясы, владелец не боялся, поскольку старый дом был застрахован.

.....

У четырех из пяти постоянных жильцов наличествовали постоянные подружки. Дом на улице Монро я хорошо знаю, потому что мой сын — один из четверых. Пара, которой не хватило отдельной спальни, свила гнездо в мансарде, под крышей. Значит, всего населения в доме номер 440 по улице Монро было девять персон. Именинник Тодд Данки жил один в гараже.

Тодд был на шесть лет старше, уже сдал пятьдесят два экзамена и кончал аспирантуру, но по всем прочим параметрам оставался студентом. Гараж свой он сделал довольно уютным: притащил с помойки соседнего отеля продавленную кушетку, на которой спал, укрываясь теплым шотландским пледом. В пледе на случай холодной ночи было вырезано две щели: для глаз и для одной руки, чтобы держать книжку и гасить свет. Еще у него было кресло с остатками позолоты, выброшенное из очень богатого дома и сменившее бесчисленное количество хозяев, а с университетской свалки Тодд приволок списанную книжную полку. Кроме двери на улицу, имевшейся в бывших воротах, он пропилил прямоугольную дыру в стене, и, таким образом, мог, как змея, пролезать из гаража в гостиную, не выходя наружу.

Весть о том, что на улице Монро будет party, в мгновение ока распространилась через e-mail по всему кампусу Станфордского университета. Те, кто собирался отправиться на побережье с аквалангами или кататься верхом, срочно меняли планы, ибо Тихий океан в обозримом будущем никуда не денется, а тусовка сегодня. Публика, знакомая и случайная, на велосипедах, машинах, мотоциклах, роликовых коньках и просто пёхом повалила на улицу Монро. Состоятельные прихватывали с собой закуски, коробку коки или бу-

.....

тылку вина, безденежные рассчитывали поужинать на халяву. Запарковать машину удавалось не ближе, чем в двух кварталах. Некто прикатил на электрической инвалидной коляске, одолженной у соседа, и первым делом потребовал провод, чтобы подключить ее заряжаться для обратной дороги.

В тот чудный июньский вечер даже непьющие оказались под градусом, или, точнее сказать, под процентом, ибо в градусах алкоголь в Америке не меряют. Впрочем, кто-то разъяснил ситуацию:

— Надо спешить выпить как можно больше! Внутри кампусов алкоголь уже давно запретили. Теперь ходят слухи, что алкоголь запретят для студентов вообще, как курево запретили для врачей. Врач закурил, и его лишают права практиковать, что правильно. Студент выпил — так что же? Вот как: с бутылкой пива будут фотографировать и гнать из университета. Пора начинать борьбу с тоталитаризмом!

Оратора высмеяли, но как сложатся обстоятельства, никто не ведал. Свободная страна Америка, стало быть, в ней свобода и для запретов тоже. Но это значит также, что все еще остается, между прочим, и свобода возможностей. Забыл сказать, что город Пало-Алто, где назревала гульба, — самый дорогой в Силиконовой долине. На плохонькую квартирку в старом доме здесь угрохает сумму, на которую в других местах Америки купишь дворец. Тут, в компьютерной калифорнийской Мекке, выворачивают мозги наизнанку ради поиска невероятных идей, питающих прогресс электронных технологий во всем подлунном мире и дальше, аж до черных дыр во Вселенной. Здесь как нигде спешат жить, ибо свеженький компьютер, купленный вами, становится старым, как только вы затворили за собой дверь магазина.

.....

Мальчики с соображалкой, которым еще и повезло, выскочив из университета, богатеют быстро. Но пашут по несколько лет без сна и отдыха, следовательно, и без личной жизни. Душ они принимают на работе, а то и остаются в офисах ночевать. Из-за этого в компьютерных фирмах Силиконовой долины явный перебор одиноких тридцатилетних мужчин, которые могут купить самолет, но не имеют лишней ложки. Они мечтают о семье, однако женщинам нет к ним доступа: флирт на службе нынче чреват серьезными неприятностями, досуга у этих невольных холостяков нет. Может, потому четверо студентов в доме на улице Монро обзавелись подружками заранее и спешили нагуляться впрок.

Пятый, Тодд, в отличие от своих соседей и многочисленных друзей-компьютерщиков, был гуманитарием. Лишняя ложка у него была, но стать обеспеченным ему не светило. Молодых людей с диссертациями по литературе и искусству пруд пруди, соответствующие университетские кафедры маленькие, давно и прочно укомплектованы. Надежды юношей и в Калифорнии питают, но приходится идти за стойку в банк, жарить мясо в «Макдоналдсе» или развозить по домам пиццу. Неохота об этом думать в день рождения, ибо, пока ты студент, жизнь прекрасна. Как говорили прабабушки нынешнего поколения, I'm in the pink — я в розовеньком, читай: все отлично. Раз, еще в бытность мою в Москве, я гордо употребил эту штучку в разговоре с американским журналистом; он начал хохотать, ибо с тридцатых годов так никто не выражается. Я подцепил I'm in the pink в советском учебнике «Современный английский», выпущенном в семидесятые.

Часть собравшейся толпы узнала, кто из присутствующих именинник, когда тусовка уже раскалилась

.....

до определенной температуры, и Тодда Данки, в строгом соответствии с принятой тут академической традицией, начали чествовать. Его привязали во дворе к сосне, и каждый получил право выразить ему свою любовь по случаю тридцатилетия.

Поначалу Тодда просто кормили и поили от души, поскольку собственные его руки держала сосна. Потом начали расписываться кетчупом, кремом и мороженым на его рубашке и джинсах. Затем пошла витаминизация именинника: на голову и за шиворот ему выдавливали сок из помидоров, апельсинов, грейпфрутов и лимонов. Лапшу на уши вешали и итальянские длинные макароны. Поливали пивом, чтобы лучше рос, сделали погоны из эклеров. Кончилось тем, что перевернули ему на голову несъеденный торт, и шоколадная лава медленно поползла по лицу и ниже. Записки с едкими пожеланиями под гогот зачитывались вслух и приклеивались к Тодду горчицей или соусом терьяки. Вскоре он стал похож на круглую тумбу, где вешают объявления. По подбородку сползали остатки салата, на бровях висели розовые взбитые сливки. Теперь понятно, что Данки был в самом прямом смысле *in the pink*. В переносном — и вообще вся эта компания, *they all were in the pink*.

Вокруг именинника, привязанного к сосне, начались танцы. Потом водили хоровод. Наконец девочки решили прекратить это надругательство. Одна из них размотала шланг для мойки автомобилей и начала обмывать Тодда сильной струей воды.

Покуролесив до четырех утра, толпа стала также весело разъезжаться. Кому далеко и кто боялся садиться после поддачи за руль, устраивались на половиках в гостиной или, раздобыв одеяло и пачку старых газет, находили местечко на траве под деревьями. Трое ухит-

.....

рились укатить на одной инвалидной коляске, которая к тому времени хорошо подзарядилась. Дом долго продолжал гудеть, как улей, в который вернулись пчелы. В темноте слышались сопение, обрывки фраз, пение и стоны любви. Наверняка соседи звонили в полицию, и не раз, просить, чтобы утихомирили этих скоморохов.

Я и сам, было дело, звонил в полицию, когда по соседству шла студенческая гульба, а мне утром предстояла лекция. Пойти и попросить не галдеть нельзя: это вторжение в чужую личную жизнь. Полицейские тоже только стучат в дверь и вежливо просят сбавить децибелы. Но они все-таки представители закона и после десяти вечера имеют на это право. Так вот, я как-то позвонил, в полиции дежурная ответила:

— Сейчас передам в патрульную машину. Постараемся помочь, но конец семестра, сами знаете. Ваша жалоба номер сто тридцать девять, а на весь город патруль один.

Они действительно приехали, но к тому времени все исчерпалось само собой.

Короче говоря, гульбе на улице Монро никто не помешал. И завершилось все по своей естественной усталости. Тодд, которому пришлось принять горячий душ с шампунем, чтобы стереть с себя масло, кремы, сливки, отделить свои волосы от чужого шоколада да еще смыть липучий соус терьяки, долго лежал в своем гараже, тупо глядя в потолок, и слушал разные звуки, доносившиеся из комнат его приятелей. Он, как уже было сказано, единственный спал без подружки.

Аспиранта Данки все любили. Мужик он открытый и улыбочивый, белобрысый, с рыжей, даже когда не вымазана в красном кетчупе, бородкой, ростом чуть выше среднего и неплохо сложенный. Любил плавать и даже изредка гонял на океан, натягивал гидрокос-

.....

тум, когда вода холодная, и занимался серфингом. У него было одно уязвимое звено: все в компании уже перебивали boyfriend'ами по нескольку раз, сходились и расходились легко, болезненно или по случайности, а он, по всеобщему подозрению, в свои с сегодняшнего дня тридцать оставался непорочным. Впрочем, похоже, что страдали от девственности Тодда больше его приятели, чем он сам.

Под него пытались, причем не раз, подложить какую-нибудь охочую до этого занятия студентку. Тодд сперва вез ее на горное озеро Тахо (или она его везла) — пять часов коленка к коленке; гулял вдоль берега, любуясь бездонной голубизной воды, просаживал с ней десяток долларов в казино для развлечения, без азарта. Вел в ресторан обедать (согласие женщины, особенно молодой, на ресторан в американской транскрипции часто означает, хотя она, несомненно, сама уплатит за себя, что она готова к дальнейшим отношениям). Но потом, вместо того чтобы просто, как делают все, снять номер в первом попавшемся мотеле по принципу «куй железо, пока горячо», Тодд предлагал взять напрокат четырехколесный велосипед, чтобы покататься по заповеднику или отпралялся с ней в кино, и ночью пять часов ехали обратно в Пало-Алто. Он завозил ее домой (или она его). Там у нее или тут, возле его гаража, после выжидательной паузы она целовала его в щеку и исчезала.

Приятели начали подозревать его в некоторой голубизне (прославленная Калифорния все-таки), но этим и не пахло. Женщины ему нравились и он им, однако как-то не так Тодд к ним подступался. Смушался что ли, или говорил не то, не вовремя, или слишком много, или в нужный момент руки его парализовывала дьявольская сила? Казалось бы, чего проще в наш

.....

суперэмансипированный век? Но в каждый отдельно взятый раз у него недополучалось, и это превратилось в комплекс.

Притом у Данки был один секрет, о котором он никому не говорил: раз он уже был женат, но неудачно. Почему Тодд держал свой брак в тайне, вопрос особый, пойдем и до него. Факт остается фактом: он скрыл это от друзей, ибо признаваться казалось ему как-то стыдно.

В субботу утром, после загульной ночи, все слонялись по дому на улице Монро сонные, как овцы в жару. Надо было бы опохмелиться, но этот жанр в Америке еще не развит. В конце концов, когда проспавшиеся гости разбегались, хозяева, кто в халатах, кто в купальниках, кто в шортах, постепенно собрались за столом на кухне для принятия кофе. Доедали вчерашние остатки, сунутые наспех в холодильник, разбросанные в гостиной и по двору. Когда Тодд влез змеей через отверстие из гаража, все вдруг замолчали. Он не обратил на это внимания, открыл стиральную машину и стал бросать в нее свою одежду, в засохших пятнах от крема, соков и шоколада, налил из банки мыла. А они переглядывались так, будто вчера недошутили и готовили ему еще сюрприз.

Налив себе кофе, ухватив со стола корочку сыра и не особенно вникая в разговор, Тодд нажал кнопку, и старая стиральная машина заурчала, недовольная тем, что белье такое грязное.

— Слушай, Данки, — крутя свою длинную косу, обратился к Тодду Брайан, когда Тодд подсел к столу. — Мы тут вроде как обмозговываем некий весьма заманчивый проект... В общем, подарочек для тебя.

Брайан приехал учиться в Станфорд из Южной Африки, только что получил магистерскую степень по компьютерным наукам и уже оседлал место в маленькой компании в Сан-Хосе. Все у них в Претории были

.....

умельцами по части шуток и розыгрышей или он был частным экземпляром, не знаю, но занятие это увлекало его больше учения и службы.

— Ну и как вам мозгуется с похмелья? — уточнил Тодд, развалившись в своем скрипучем кресле.

Кружку с кофе он поставил на пол.

— С похмелья, да, с трудом, но мозгуется по спирали. Идем на поиск десятого члена нашего коллектива. Ты как — за?

— Да у нас и так тесно, — пробурчал Тодд, сразу ухватив намек, и стал намазывать на хлеб арахисовое масло.

— Сэр не понимает, — Брайан переглянулся со своей курносой подружкой Лесли. — Это нам тесно, а тебе свободно. Мы даем объявление в сеть Интернета, что ищем молодую леди определенных кондиций, каковые мы сейчас с тобой обсудим. Тебе, старик, в принципе какие больше нравятся: большие или маленькие, толстые или худые? Сформулируй, уж мы...

Тодд отмахнулся.

— Опять вы мне навязываете бабу. Я же решил сперва доконать диссертацию.

Компания загалдела, возмутьившись.

— Обижаешь! — Брайан надул губы. — Слишком ты серьезен, старина, и это твоя беда. Где игра живого и любознательного ума? Сделаем так, чтобы получить как можно больше объявлений. Может, тебе чего-нибудь да подойдет, а нет — глядишь, нам. Намто тоже обновляться пора, правда, девочки?

Девочкам показалось это пошловатым, но возмущаться было нелепо, и они захихикали.

— Шучу, — подмигнул своей Лесли Брайан. — Многоженство в Америке пока запрещено.

- И охота тебе тратить время, — ворчал Тодд.
- Главное, охота подурачиться. Жизнь без игры напоминает конвейер по производству зубных щеток, которым управляют роботы.
- Если подурачиться, то валяйте. Я-то тут при чем?
- Ты нам составь свои требования. Только и всего.
- Зачем же ломать голову? — Тодд открыл воскресное приложение к газете «Сан-Франциско кроникл». — Тут все формулировки и размеры. «Свободно сердце настоящего мужчины...». Или: «Спортивный и жизнерадостный хочет познакомиться с обаятельной...». Годится? Или вот: «Ищу подругу, с которой можно...».
- Что можно? — все заготовали.
- Какой размер бюста желаете? — уточнил Брайан. — Большой, средний, маленький?
- Ну, допустим, чем больше, тем лучше...
- О'кей! Так и укажем... И писать кандидатки со всего мира будут тебе. Мы-то все пока что заняты, а ты свободен, как птица. Я смотрел филиппинский брачный журнал: там обычно дается рост и размеры бедер, талии и груди. Но это скучно. Что бы добавить духовного? Предложить кандидаткам сделать чего-нибудь эдакое? Думай, Сократ, думай! Ты у нас один кандидат в философы...
- Пускай сочинят стихи и пришлют, — предложил Тодд.
- Предложил потому, что сам баловался стишатами, хотя мало кому их показывал: стихами мир нынче не удивишь.
- А что, идея! В качестве экзамена: достойны ли они полюбить нашего интеллектуала Тоддика? Пусть пройдут тестирование.
- К тому же поэтессы у нас тут не хватает, не так ли? — оживилась Лесли. — Ну и добавь в текст: «Же-

.....

лает познакомиться для устойчивых отношений». Это всегда привлекает.

— Лучше написать, — Брайан гнул свое, — «для неустойчивых отношений»...

— Нет, надо чем-то привлекать, — Лесли погладила Тодда, словно приучала к этой мысли. — И чтобы это выглядело солидней, допиши «...и возможной женитьбы».

— Вы что, серьезно? Катитесь вы к дьяволу! — взорвался Данки. — Никакой женитьбы не надо! Сыт по горло. Ничего хорошего, одни неприятности.

— Вот как?! Ты об этом никогда не заикался...

— Не говорил потому, что мечтаю забыть.

Если человек не раскрывает карт, не пытаться же его. Тодд не допил кофе, в сердцах вскочил, вытащил из машины белье, бросил в сушилку и потащил свое ког-да-то золоченое кресло через двор к себе в гараж.

Когда Данки ушел, Брайан, помолчав, сказал:

— Шикарная идея, но он против. Почему, собственно, мы должны его слушаться? Свободная страна... Пошлем без его согласия, и пускай разбирается... Ему какие больше нравятся? Давайте напишем: «блондинка».

Брайан вытащил из сумки lap-top, маленький компьютер, с которым не расставался, подсоединился к телефону и запустил объявление во всемирную сеть.

2.

В городе Санкт-Петербурге, в Музее-квартире Пушкина на Мойке, дом 12, поставили компьютер.

.....

Зачем поставили, никто не понимал. Пушкину он вроде бы ни к чему, кассирше тем более: у нее были прекрасные вечные счеты — костяшки на проволочках. Но как было не взять компьютер, если спонсоры себе купили новый, а старый широким жестом поднесли музею?

Экскурсовод Тамара оказалась в этой области самая продвинутая. Антон, муж ее, служил программистом в морском пароходстве. Тамара принесла игры, и теперь, отдыхая между экскурсиями, когда директор на горизонте не виднелся, сражалась с компьютером в карты. Возмущение исходило от Дианы Моргалкиной: играть в квартире, где Пушкин умер, кощунственно.

— Что тут такого? — возражала Тамара. — Пушкин карты любил и нам завещал.

— Бездельничать тут стыдно! — ворчала Диана.

— Какая зарплата, такая и работа, — отвечали ей.

Впрочем, до компьютерной эры Моргалкина возмущалась, когда тут рассказывали анекдоты. Не любили Диану, но терпели, ибо экскурсовод она прирожденный и с охотой работала за себя и за других.

Моргалкина была существом со странностями, но вовсе не плохим. Не большая, но и не маленькая, не юная, но не старая, худая, но неплохо сложена. Лицо правильное, без заметных дефектов, только неухоженное. Кожа без крема, волосы без прически, ресницы без краски. Зубы все свои; могли бы быть белее и ровнее, впрочем, тут вина не ее, а неразвитой отечественной стоматологии. Слабина Дианы состояла в другом. При такой профессии она была не очень — или, точнее — очень не общительна. Внешняя холодность, отчужденность от окружающих этих самых окружающих от нее отпугивала.

.....

Ни с кем она не делилась бабскими секретами. Никто ни разу не был у нее дома. Никому она не делала вреда, даже плохо ни о ком не говорила, но негибкая, не способная адаптироваться, как другие, к непрерывно меняющейся житейской ситуации, она всегда оставалась в проигрыше. Моргалкина окончила филфак, потому что любила книжки читать, говорила, что хочет стать журналисткой, но ни одной статьи в жизни написать так и не собралась, уверяя себя, что вся ее энергия уходит в устное слово. Она состояла при Пушкине, была у него на содержании; он ее не только кормил, как ни мизерна была ее зарплата, но стал опорой, — в нем одном сосредоточился смысл ее существования. Дома день за днем вела она дневник. Только с этой тетрадкой и была откровенна. И через эту тетрадку откровенна с Пушкиным.

Восемь лет назад у Моргалкиной созрел роман с известным в узких кругах пушкинистом Конвойским. Но скоро она поняла: любил он не ее и даже не Пушкина, а только свои сочинения о нем, и ни о чем другом не говорил. Он ходил по комнате и громко читал ей свои научные компиляции. Их интимные отношения были странными, без существа интимности, в котором Конвойский почему-то не нуждался. Своей скользкостью и занудством он отвратил ее от других мужчин. И когда он Диану оставил, обожание ее еще больше сосредоточилось на Пушкине. Бестелесность этой преданности тоже несколько смущала, но преимущества были неоспоримы. Пушкин, в отличие от Конвойского, любил ее преданно и, что важно, всегда в зависимости от ее настроения, а никак не его, Пушкина.

В отличие от коллег Диана смотрела на все серьезно. Хотя работали они в одном учреждении, называемом Музеем Пушкина, они служили государству, она Пушкину. Они за деньги — она, хотя получала такой же,

как Пушкин говаривал, «паек невольника», трудилась от души. Они, побыстрее закончив экскурсию, норовили подольше посидеть в тесной комнатке, попивая зеленый чай из пиалок, привезенных кем-то из Самарканда. Они трепались о чем угодно, только не о работе, в обед спешили смыться на Невский и пошляться по магазинам (не купить — на то заработок слишком мал, — только поглазеть). Моргалкина даже домой в обед не ходила, хотя жила неподалеку, на Миллионной. Договаривая последние слова в кабинете поэта, она плакала, потому что поэт в конце экскурсии умирал. И, проводя восемь идентичных экскурсий в день, восемь раз плакала в конце.

Родителей у Дианы давно не стало, брат, у которого имелась своя семья, поехал за границу на заработки. Никто на службе, кроме Тамары, с Моргалкиной не сближался, да и Тамара была не подруга. Так, одно название. Но она единственная относилась к Диане по-божески, с теплом и беззлым юмором. Тоже не такая уж устроенная, но все же с непьющим мужем, дочкой-школьницей и без собственных комплексов, Тамара еще пребывала неумной жизнелюбкой. Ей про все хотелось узнать, везде побывать, надо всем посмеяться.

— Поглядите, девки, вокруг, — говорила Тамара. — Если все серьезно воспринимать, лучше сразу повеситься.

Байками и сплетнями она обеспечивала треть Питера и всегда знала, кто из артистов и писателей кого бросил и с кем живет.

Муж научил Тамару гулять по Интернету, но и там ее любопытство не могло насытиться. Она не раз талкивалась на брачные объявления. Естественно, у нее возникали соображения насчет одинокой Дианы. Пару раз Тамара ей предлагала:

— Давай, Моргалкина, ответим чего-нибудь кому-нибудь. Вдруг кто клюнет? Спятишь ведь без мужика...

Но Диана и слушать не хотела, не то что втянуться в игру.

Как-то раз, когда погода была несносная и количество экскурсий к вечеру резко убывало, а домой начальство раньше бы не отпустило, Тамара играла с мышкой, гуляя из одного интернетовского сайта в другой. Вдруг, прочитав объявление, хмыкнула и решила поддразнить Диану. Бесенок в ней сидел, в Тамаре, и водил ее рукой. Бесенок накатав кокетливый ответ на предложение познакомиться, сообщив данные, соответствующие требованиям и даже превосходящие их. Там требовалось еще сочинить стихотворение. Бес вильнул хвостом, почесал темечко между рогов и приписал стихи.

Все сообщают о себе только хорошее, и мало кто эту тягомотину читает, подсказал Тамаре бесенок. Подпиши письмо: «Лицемерная Диана». Может, того мужчину хотя бы заинтересует, почему лицемерная, и он спросит. Поскольку Тамара все делала несерьезно, то последствия ее не волновали. Нажав клавишу, она отправила письмо, выключила компьютер, и бесенок, сидевший на мониторе, захлопал в ладоши.

3.

В Пало-Алто, на улице Монро, подписавшийся именем Тодда Данки студент Брайан, получил шестьдесят два предложения познакомиться с кандидатками со всех континентов. Все они прислали стихи собственного сочинения и письма разной степени романтизированнойнос-

.....

ти. Часть писем была взята из справочников, издающихся для этого в странах, где наличествует перебор невест.

Когда Брайан бросил на стол Тодду отпечатанную принтером пачку писем, Тодд возмутился. Но все подшучивали, и драматизировать проделку было глупо. Данки опять притащил из гаража в гостиную свое аристократическое кресло, уселся в него и вместе с друзьями стал изучать полученные тексты, по ходу дела ставя плюсы и минусы возле размеров бюстов и прочих достопримечательностей, указанных в письмах.

Большую часть стихов, написанных по-японски, по-китайски, на хинди и еще на каком-то, вообще неизвестном языке, никто читать не стал, хотя среди студентов нетрудно было найти любых толмачей. Одно стихотворение заинтересовало Тодда и было прочитано только потому, что текст оказался русский, русский же был для Данки будущей профессией. Стихи без названия описывали, по-видимому, некую гипотетическую сексуальную ситуацию.

Она подходит, он лежит
И в сладострастной неге дремлет;
Покров его с одра скользит,
И жаркий пух чело объемлет.
В молчаньи дева перед ним
Стоит недвижно, бездыханна,
Как лицемерная Диана
Пред милым пастырем своим;
И вот она, на ложе хана
Коленом опершись одним,
Вздохнув, лицо к нему склоняет
С томленьем, с трепетом живым,
И сон счастливица прерывает
Лобзаньем страстным и немым...

.....

Русский у Тодда был хорошим, но не настолько, чтобы понять нюансы, старомодность этого стиля и ощутить подвох. Он как мог перевел стихи приятелям. Слова «одр» и «чело» отыскал в словаре, «ложе» и «лобзание» объяснил приятелям из контекста. Друзья загалдели.

— В твоём паршивом гараже, — прокомментировал Брайан, — она к тебе лицо склоняет и осуществляется... что? Лоб-за-ни-е. Да какое! Страстное и немое. Представляешь? Идеальная женщина: с одной стороны, страстная, с другой — немая... И размеры подходят!

Стихи Тодд показал на кафедре своему научному руководителю профессору Иосифу Верстакиану, русского происхождения с армянскими корнями. Тот поглядел и усмехнулся:

— Хорошие, даже замечательные стихи. Знаете, кто автор?

— Конечно, — кивнул Тодд, — одна моя знакомая.

— Одаренная у вас знакомая! — сказал Верстакиан. — Прямо-таки талантливая фантазерка. Ведь это стихи Пушкина.

Данки изумился и не поверил. Он потащился в библиотеку и полдня перелистывал том за томом собрание сочинений Пушкина. Профессор Верстакиан оказался прав. Тодд истолковал плагиат по-своему. Значит, у корреспондентки есть чувство юмора, раз так шутит. Это уже кое-что. Остальные-то кряхтят рожают пошлые стишки о любви сами.

Диссертация Тодда Данки писалась, хотя и медленно, на весьма актуальную тему: «Феминистские тенденции в творчестве Александра Пушкина». Верстакиан, который предложил своему аспиранту столь изящную тему, хорошо понимал, что если тенденции

и были в творчестве Пушкина, то, на взгляд, скажем, сегодняшней образованной американки, только антифеминистские. Пушкин, если следовать логике феминисток, по всем параметрам был типичный male chauvinist pig. Но Верстакян также хорошо понимал спекулятивные тенденции в американском сравнительном литературоведении. Феминизм моден, под него сегодня охотно дают деньги на исследования, и легче выйти (о, великий и могучий!) в дамки.

Мне, пишущему эти строки, как, наверное, профессору Верстакяну, немного стыдно и грустно, что на свободном американском континенте выражение «сейчас надо писать о...» действует столь же призывно, как на одной шестой суши при каком-нибудь Никите Виссарионовиче Брежневе. Поистине, ирония не знает границ. Аспиранту Тодду Данки предстояло накатать страниц триста научного обоснования, что Пушкин был первым феминистом России, развивал женскую литературу, боролся за эмансипацию русских женщин, за их равные права с мужчинами в политике и, конечно, в сфере секса, — в общем, способствовал прогрессу общества по феминистской части. Для сбора материалов Данки надо было отправиться в Россию, засесть в библиотеки и архивы.

Не то чтобы Тодд загорелся, получив e-mail из Петербурга, но и не остался совсем холодным. Во всяком случае, поколебавшись, решил ответить.

В сочинение писем, наполненных неким флиртом, втянулась и Тамара, не таясь от мужа, даже наоборот, советуясь с ним насчет кобелиной психологии: как лучше раздражить клиента, чтобы клюнул на живца.

— На кой тебе? — спросил Антон.

— Жить скучно, вот на кой! — объяснила она.

Но подписывалась всегда Дианой, которой об этом баловстве сперва тоже честно рассказывала в подро-

.....

ностях. Потом перестала, ибо никакого энтузиазма со стороны Моргалкиной не ощущалось.

Данки говорил, что переписка с девушкой из Петербурга нужна ему для языковой практики. Может, так оно и было, но он втянулся. Друзья стали уговаривать Тодда поехать в эту медвежью Россию, собственными глазами посмотреть на результаты тяжелой работы по эмансипации, которых добился Пушкин, и заодно на лицемерную Диану. Данки сопротивлялся, сперва активно, потом по инерции. Тогда приятели скинулись и положили ему в гараже на подушку билет. Визу он купил сам. Само собой, летел он по делу, деньги на которое отпустила аспирантура, и Тодд их вернул приятелям. Но переписка добавляла в поездку острого кайянского перчика.

Сообщив в Петербург, что прилетает, Тодд получил интригующий ответ с намеками на большие удовольствия за той же подписью: «Лицемерная Диана».

4.

Тамара твердо решила ничего не говорить Диане, ибо убеждать ее бесполезно. Она упертая, как коза. Но накануне приезда Тодда, в перерыве между экскурсиями, глянула на нечесанную и без маникюра неряху Моргалкину и вдруг не выдержала.

— Посмотри, что у тебя на голове: ни цвета, ни укладки. Давай отведу тебя к Косте.

— Зачем мне?

— Директор недоволен. Что о тебе и обо всем нашем музее экскурсанты думают, когда тебя видят?

— Главное — духовная пища...

— Какая же духовная пища от огородного чучела? — она подтащила Диану к зеркалу и открыла французский журнал. — Сравни этих куколок с собой. Не хочешь выглядеть прилично, не надо. Но директор тебя уволит и возьмет попримичнее. Этого ты доби- ваешься? Глянь, какая безработица кругом! Куда де- нешься?

Диана молчала. Не нашлась, что возразить.

— Вот, душа моя, — не дала ей опомниться Тама- ра. — Пойдем вместе к Косте. Мне тоже надо сде- лать укладку. Сегодня, сразу после работы!

Тамара дождалась, когда в комнате никого не бу- дет, и позвонила дамскому мастеру Косте. Какие-то отношения у нее с этим Костей были раньше. Теперь осталась рациональная дружба.

— Я подругу к тебе приведу. Ее надо случайно сде- лать блондинкой.

— Это как? — спросил Костя. — С тобой, Тома, не соскучишься.

— Господи, какой недогадливый! Краску перепу- таешь, и все.

— А если она на меня потом в суд подаст?

— Не бойся, не подаст.

— Ну, глаза за это выцарапает...

— Сделай, Костя, что сказано. Ничего не будет, я за нее ручаюсь. Она еще тебе спасибо скажет... К ней жених из Америки причаливает, ему сказали, что она блондин- ка. Понял, болван? Только не говори ей заранее, и все!

Из музея Тамара с Дианой отбыли вместе. И часа два сидели в очереди в парикмахерской. Диана уже решила встать и уйти, когда Костя усадил ее в кресло.

— Давненько рука подлинного мастера к вам не прикасалась, девушка, — замурлыкал он возле ее

уша. — Сделаем вас красивой. Доверяете моему вкусу?

— Делай, Костя, — Тамара его торопила. — Делай скорей!

— Может, оставить вас лохматой? — продолжал он, как бы невзначай проведя пальцами по ее шее. — Лично мне вы и так нравитесь.

— Прекрати свои глупые шутки, — оборвала его Тамара.

Костя надел на Диану пластмассовую накидку и толкнул ее голову в раковину под кран.

— Вода очень горячая, — пробормотала Диана, булькая.

— Надо помолчать, не то захлебнетесь, — Костя уже ее намыливал.

Еще через час, когда она вернулась к зеркалу и Костя снял капюшон, на Диану посмотрела мрачная блондинка.

— Что вы наделали? — взвизгнула Моргалкина. — Кто вас просил?

— Как кто? Вот она! — сразу заложил Тамару Костя. — Но вообще-то вам идет. Это я как эксперт говорю. Хоть прямо под венец!

— Улыбнись, — приказала ей Тамара, — и держи улыбку до тех пор, пока не выйдешь замуж.

— Не хочу я замуж! — крикнула Диана, и женщины в очереди засмеялись.

Глаза ее вдруг расширились, и в них застыла догадка. Неряшливый вид всегда был ее защитой от проблем внешнего мира, полного опасностей. Но воевать было поздно: она теперь блондинка.

— Он что — едет? — спросила Моргалкина.

— Кто? — Тамара сделала вид, что не поняла, но вопросу обрадовалась.

.....

— Не прикидывайся, я не ребенок. Этот... из Калифорнии...

— Поздравляю! — сказал Костя, усаживая в кресло Тамару и начиная вокруг нее колдовать.

С Моргалкиной случилась тихая истерика. Успокоить ее им обоим не удавалось.

— Глупенькая! — просто заявила Тамара, расплачиваясь между тем с Костей. — Воешь, будто тебя в гарем персидского шаха продают. Да кому ты нужна? А счастье было так возможно, так близко...

За превращение в блондинку, хотя это было чистое надругательство, пришлось Диане раскошелиться. По дороге она заявила, что встречаться и не подумает.

— Как хочешь... — был ответ Тамары. — Вообще-то теперь товар соответствует требованиям заказчика. Блондинка. Грудь требуемого размера... Я думала, ты взрослая баба. А ты живой труп. Моя гражданская совесть чиста. Я свое дело сделала — ты хоть звание Героя России за свое целомудрие пробивай!

Диана продолжала всхлипывать. На том они расстались.

5.

Тодд Данки прилетел в Питер под вечер. В Пулково его с объятиями встретили приятели, с которыми он законтачил, когда студентом стажировался полгода тут в университете. Сонного его повезли в гости.

В самолете он поклялся себе, что не возьмет в рот ни капли спиртного, и эту клятву повторял в машине

.....

по дороге в город. Быть аспирантом на славянской кафедре тяжелее, чем на любой другой. Не потому, что приходится ежедневно много читать. Если хочешь иметь дело с русской культурой, надо научиться пить. И Данки этой частью культуры вполне овладел. В прошлый раз петербургские кореша устроили ему проводы (на его деньги, само собой); возвращаясь домой, он упал на тротуаре и очутился в вытрезвителе. Когда проснулся, все деньги и билет на обратную дорогу исчезли, джинсы заменили на рваные китайские, а ему пригрозили, что если он заикнется об этом, то никогда не уедет. Словом, славист-алкаш прошел кое-какую спецподготовку.

Вернувшись тогда в Пало-Алто, Данки остался приверженцем ежедневного употребления алкоголя по известному принципу: «С утра выпил, и целый день свободен». Соседи по дому решили выставить его, потому что один алкаш среди трезвых раздражает. Он то и дело брал займы на выпивку, хотя отдавать было не из чего. К тому же Тодд не мог платить свою долю квартплаты. Из гаража его выселили, сдав место приехавшему на стажировку аспиранту из Сорбонны. Но сжалились, оставили в доме, и Данки стал спать где попало, раскручивая ночью на полу спальный мешок и утром пряча его в камин, который из-за лени никогда не зажигали. Так продолжалось года полтора. Потом друзья нашли ему работу, давили на него ежедневно так, что пить он перестал, и когда гараж освободился, вернулся в него.

Но с первого же дня его теперешнего пребывания в России в каждом питерском доме, едва он появлялся на пороге, первым делом ставили на стол пузырь водки. У него была целая книжка адресов не только своих собутыльников, но и знакомых его станфордских при-

.....

ятелей, которые раньше побывали в Питере, и он поплыл. Неделю Тодд не просыхал, таскаясь из одних гостей в другие, и все ему объясняли, что алкоголь очень способствует прогрессу человечества во всех областях и развитию филологических наук в особенности. Чем больше водки, тем быстрее прогресс. Ему оставалось, к радости хозяев, каждый раз произносить одну банальность, которую он услышал в санфранцисском колледже от учителя немецкого и русского языков, большого любителя поддачи и знатока алкогольного фольклора: «Кто не пьет, тот стукач».

Днем Данки заехал к дружку, служившему в редакции журнала «Питерский бомонд». Там как раз пили по случаю получения денег от спонсора. Когда разошлись, заморосил мелкий дождь. Зонт и кепку Тодд оставил утром в общежитии. Был конец октября, рано осели сумерки. Шел он по Мойке в направлении Невского и вдруг остановился. Дверь в Музей Пушкина была закрыта, и на ней висела надпись «Открыто». В музее известного русского феминиста, это ему понятно, Данки уже отметил в прошлый приезд в Петербург. Тодд пребывал в сильном подпитии, в противном случае опять в музей его удалось бы втащить только в наручниках и с кляпом во рту, чтобы не сопротивлялся и не орал. Но он вспомнил про глупую переписку с некоей лицемерной Дианой, которая тут должна работать экскурсоводом.

Пока он колебался, войти ли, дождь полил сильнее. Данки ввалился и в нерешительности застыл у дверей.

— Проходи, сынок, — пожилая кассирша поманила его. — Как раз экскурсия началась.

— Как имя экскурсиониста? То есть экскурс... — Тодд запнулся, не зная как сказать.

.....

Русский он освоил хорошо, но говорил на нем хуже, чем по-французски или по-испански, особенно спьяну. Кассирша поняла.

— Дианой звать. Да тебе какая разница? Все они хорошие, дело знают.

— Вам что дать? — спросил он. — Доллары или рубли?

— Доллары, — быстро сообразила кассирша.

Данки вынул пятерку.

— Хватит?

— Конечно, иди с Богом! Вот сюда, к лестнице. Да тапочки, тапочки на ботинки подвяжи...

Одной рукой кассирша указала ему, куда идти, другой резво спрятала пятерку за лифчик.

Пришлось привязать к грязным башмакам грязные шлепанцы. Топая в группе экскурсантов и озираясь, Тодд время от времени икал. Голова у него подкруживалась. Он то и дело толкался, наступал на чьи-то ноги и громким шепотом произносил:

— Извиньте, п-п-пжалуста...

Экскурсовод, симпатичная, как ему издали показалось, блондинка, держала указку наперевес, упирая острый конец ее в живот ближайшего экскурсанта. Она обводила взглядом группочку человек двадцать и хриловатым голосом тараторила что-то про эту квартиру, в которой Пушкин прокантовался около четырех месяцев.

Тодд попытался зайти сбоку, чтобы увидеть ноги блондинки — мешало длинное платье. Значит, решил он, либо тут так теперь модно, либо под платьем блистать особенно нечему.

В тесном кабинетике Пушкина экскурсовод остановилась перед диванчиком, подождала, пока посетители переместятся, заполнят пустоты и затихнут.

Выдержав паузу, загробным голосом она произнесла фразу, от которой спазм свел ей горло:

— Вот на этом диване лежал смертельно раненный поэт. Пушкин попросил морошки, которую очень любил. Двадцать девятого января тысяча восемьсот тридцать седьмого года в два часа сорок пять минут дня у него упал пульс, похолодели руки. Пушкин, не вынеся мучений, скон... скончался...

На глаза ее навернулись слезы. Она попыталась сдерживать их, вынула платок, приложила к векам. Слезы всегда непроизвольно текли — так живо она представляла себе каждый раз мгновение смерти. Но сегодня она рыдалась. Наверное, нервы стали никуда.

— Ну, не надо... Зачем же ты так, дочка? — попыталась ее утешить пожилая женщина, по виду учительница. — Ведь это давно было...

— Для вас давно, — всхлипывая, резко возразила ей экскурсовод. — Для меня как сейчас...

Экскурсанты в смущении стояли, задерживая следующую, подпирающую их группу. Сзади кто-то потопал к выходу. Наконец экскурсовод успокоилась. Маленьким платочком она вытирала покрасневшие глаза.

— Если у вас есть вопросы, — всхлипнув, произнесла она, — я с удовольствием отвечу.

— На любые вопросы? — спросил Тодд с улыбкой, стараясь смотреть ей в глаза и пряча акцент.

Тодд просто так, от скуки спросил. Ответа не ждал. Моргалкина сразу догадалась, что это он. Губы сжала, чтобы виду не показать, но щеки зарумянились.

— Что именно вас интересует?

— А где кровать?

— Зачем вам кровать, молодой человек? — растерявшись, переспросила она.

— Не мне! Я имею в виду, что поэту с его женой нужна кровать. Может, я ошибаюсь...

Экскурсанты заулыбались. Кто-то засмеялся.

С каждым, кто говорил о Пушкине не только непочтительно, но без должного пафоса, Диана просто переставала знаясь навсегда. Проходила мимо, затаив злобу, и отворачивала лицо. Тут был иностранец. Может, он не понимает, что такое для нас Пушкин? Тем не менее после небольшой паузы она строго произнесла:

— Это музей, молодой человек. Не...

— Что «не»? — не понял он.

— Ничего!.. Вам к выходу направо.

Диана смотрела на него с неприязнью:

— И вообще, пить надо меньше!

Резко повернувшись, она ушла в комнату для экскурсоводов.

Рабочий день кончился, сотрудники разбежались по домам. Тамара, конечно, издали определила, что за лицо мужского пола беседовало с ее подружкой. Поглядев ему вслед, она зашептала Диане:

— Дура ты! Шикарный парень, притом настоящий американец. Не чета эмигрантам, не говоря уж о тутошних...

Диана ничего ей не ответила. Закуталась в плащ, на миг остановилась перед выходом, приготовила зонтик, чтобы сразу открыть его за дверью, и нырнула в уличную слякоть, смешанную с темнотой.

Дождь перестал, но влага висела в воздухе, и с деревьев падали набухшие капли. Моргалкина топала как всегда большими шагами и весьма решительно. Она не оглядывалась, но через некоторое время почувствовала, что ее преследуют. У метро она замедлила шаги и резко обернулась. Тодд чуть не налетел на нее.

— Чего вам от меня надо?

Он вспомнил, что летел в Петербург, чтобы пополнить эту лицемерную Диану, и в самолете ему в подробностях приснилось, что и как они с ней делают. Хотел было сказать: «Всё!». Но теперь стоял возле этой обшарпанной блондинки почти вплотную, и никаких электрических искр в теле его, пропитанном водкой, не возникало.

— У меня вообще-то еще есть вопросы, — Тодд смотрел на нее с максимальной серьезностью. — Например, зачем у вас в России столько музеев Пушкина?

— Но ведь это Пушкин!

— О'кей! Допустим, он жил в ста местах. Что же, везде музеи делать? Одного мало? Ведь это ж деньги налогоплательщиков, а жизнь у вас трудная. Вон, для Ленина сколько музеев сделали, теперь разрушаете. Может, лучше не на Пушкина, на уличные туалеты деньги потратить?

— Как это? Что вы такое себе позволяете?!

Тут Данки сообразил, что про туалеты он зря сказал. Это не романтическая тема.

— Извините за выражение, — он вспомнил заученный когда-то оборот.

— Не извиняю!

— Но все-таки вот, в Ирландии, в Дублине. Я летом был. Мои предки оттуда. Маленькая страна и небогатая. Там сделали один музей для всех писателей. Зато налогов с писателей не берут вообще, государство поддерживает журналы и издательства. У вас все калории идут на мертвых писателей, а живым, насколько я вижу, жизни нет!

Он дружески взял ее за пуговицу, которая была плохо пришита. Она его руку решительно отвела, но не нашлась, что ответить, и поэтому пробурчала:

— Ничего вы не понимаете!

Повернулась резко на каблуках и поспешила от него прочь. Тодду хотелось еще порассуждать, но он остался посреди тротуара один. Смотрел ей вслед, крутя в пальцах оставшуюся ее пуговицу.

Хмель прошел, но одиннадцатичасовая разница во времени с Калифорнией все еще давала себя знать. Данки хотелось только завалиться в постель и уснуть.

6.

В музее тек обычный день. Директор ругался с кассиршей, которая, не отрывая билеты, прикарманывала деньги. Кассирше на директора и на музей было наплевать: она давно вышла на пенсию и прирабатывала не на таком уж доходном месте. В коридоре толпились посетители, ожидая, пока к ним выйдет экскурсовод. Сами экскурсоводы кучковались в своей комнатенке. Там стоял обычный женский треп. За столом заполнялась ведомость на зарплату. Елись бутерброды, наводился марафет, девицы курили одну сигарету «Мальборо» на двоих, затягиваясь по очереди. Тамара играла с компьютером в карты. Диана ободрала палец о пружину, торчащую из старой кушетки, и приклеивала пластырь, когда забренчал телефон.

— Диана! — крикнули из противоположного угла комнаты. — Тебя. Между прочим, мужской приятный баритонец и вроде бы с иностранным акцентом.

Вздыхнув, Моргалкина поднялась со стула и взяла трубку.

-
- Кто это?
 - Тодд.
 - Какой Тодд? — она сделала вид, что не узнает.
 - Тот, который вас вчера пытался проводить. Может, увидимся?
 - Зачем это?
 - Хм... Чтобы отдать вашу пуговицу.
 - Какую еще пуговицу?
 - Она осталась у меня в руках. Я хочу попросить у вас прощения, что лишил вас пуговицы. Если согласитесь, то вместе пообедаем... Ну, как?
 - Нет, я занята.
 - Тогда можно я еще позвоню? Вдруг вы освободитесь?
 - Звонить в музей каждый имеет право.
- Комнатенка притихла. Всем было интересно, кто такой в кои-то веки появился у Дианы, что посреди дня ей звонит и куда-то зовет, а она кривляется. И даже, в общем-то, хамит.
- По-видимому, голос в трубке настаивал, и она ответила:
- Не знаю. Может быть. Если смогу... Если будет свободное время... Но только взять пуговицу!
- И повесила трубку.
- Сослуживицы попереглядывались и вернулись к своим делам.
- Не глупи, Диан, — не отводя глаз от расклада карт на компьютере, заметила Тамара.
 - На что он мне?
 - Вдруг он с серьезными намерениями?
 - Не нужны мне его намерения — ни серьезные, ни легкие. Знать его не хочу...
 - Блондинка к старости строга к мужчинам стала, — прокомментировал кто-то, и все захохотали.

— Пошли, девочки! — раздался другой голос. — Тут персональные дела, но надо работать: директор в коридоре — слышите, гневается.

Тамара задержалась, пытаясь обыграть компьютер, но опять ничего не вышло.

— Слушай, подруга, не мудри...

Моргалкина сидела на своем любимом коньке:

— Никто мне не нужен! И вообще, Диана — символ девственности.

— Ты что, девственность свою до гроба сохранить хочешь? Так там ведь по одному лежат.

Пожав плечами, Тамара вырубил компьютер, поднялась и, хлопнув дверью, вышла. Спорить с ней было трудно: Тамара за словом в карман не лезла. И Диана, как всегда, надулась.

Оставшись одна, Моргалкина поразмышляла еще немного и убедила себя, что на свидание пойдет. Исключительно для того, чтобы забрать у этого жалкого американского алкоголика свою пуговицу от пальто. Такую сейчас ни за какие деньги не купишь.

Данки действительно позвонил еще раз. После работы она с ним встретила. Тодд был совершенно трезв и ужасно обходителен. Он проштудировал карту Петербурга и нашел хорошее место, где можно пообедать. Через полчаса они уже сидели за столиком в ресторане «Белые ночи». Тодд изучал Диану, она это не без некоторого любопытства чувствовала.

— Почему вы все время улыбаетесь? — спросила она.

— Меня так учили.

— Где?

— Я подрабатывал на учебу контролером в системе супермаркетов «Сейфвей». У них все, кого нанимают, обязаны пройти специальную школу, в которой учат улыбаться.

— Мне тоже не мешало бы в такую школу походить, — вдруг посветлела она.

— Может, в России это нормально, быть всегда печально-серьезным. Но у нас могут уволить за такое выражение лица. Покупателю должно быть приятно, когда он в магазине. Одевшись похуже, я должен был ехать в другой город и идти в «Сейфвей» обыкновенным покупателем, лучше вечером, в час пик, когда продавцы устали и все спешат. Брал в магазине какую-нибудь ерунду, например, пачку печенья или банку бобов, ставил перед кассиром и тут говорил: «Ой, я забыл взять растворимый кофе».

— А кассир? У него же очередь...

— Кассир ждал, он уже ввел мой счет в компьютер. Я неторопливо шел за кофе. Принес кофе — вижу, что к моему продавцу очередь человек пять, но он мне по-прежнему улыбается. Подхожу и говорю кассиру: «Принесите мне французский багет». Он посылает за хлебом для меня, улыбается и говорит: «Сию секунду все будет сделано. Может, вам еще что-нибудь нужно?» Но не дай Бог, если он рассердится, что я копаюсь так долго. Тогда я вызываю менеджера и оказываюсь контролером. Через пять минут этот кассир уволен.

— Да вы, Тодд, страшный человек!

— Для кого? Для плохого работника? Зато покупатели всегда уверены, что их обслуживают по самым высоким стандартам, и не пойдут в другой магазин. Служащие могут опасаться, что любой простой покупатель окажется контролером. Всегда приходится улыбаться и вообще держать марку.

Рассказывая про себя, Тодд опустил одну деталь: улыбаться-то его научили, но вскоре выгнали за пьянку, и пошли его беды. Теперь он лицемерную Диану

.....

разглядывал и думал: удастся сегодня или нет? Он решил, что именно сегодня. Во что бы то ни стало он должен достичь цели. Почему сегодня, он не смог бы объяснить. Он был на взлете и трепался обо всем на свете. Она слушала, и он был уверен, что ей с ним интересно. Со стороны это выглядело как самое полноценное охмурение. Может, оно таковым и являлось?

Как ни удивительно, их хорошо кормили, и они выпили две бутылки «Цинандали». Диана несколько расслабилась, и у него прибавилось уверенности, что будет, как задумано.

На улице подсохло, но было пасмурно. Сырость липла к коже, пробираясь через щели в одежде. Они медленно шли вдоль витрин с опущенными железными решетками.

— Поедем ко мне, — решился предложить он.

— Это куда? — насторожилась она.

— У меня комната в университетском общежитии.

— Зачем я там нужна? — спросила она, и вопроса глупей придумать было трудно.

— Покажу мою диссертацию, — предложил Тодд.

— Все-таки это близкая вам тема: феминизм Пушкина.

— Да? — вежливо удивилась она. — Но ведь это на английском.

— Тогда кофе попьем...

— Мы с Тамарой выпиваем по семь чашек кофе за день — между экскурсиями.

— Кто это — Тамара?

— Моя подруга. Не знаете? Она вам письма посылала...

— Разве не вы? — Тодд остановился и взял ее под локоток.

.....

— Конечно, нет... Я бы ни за что не стала! Ну, мне пора домой.

Типичная недотрога... Но в ее холодности и постоянной отстраненности есть какая-то тайна, некая причина, ему непонятная. Повторное предложение прозвучало жалобно. Не надо было говорить, но само вырвалось:

— Может, все-таки поедем ко мне?

— Что за шутки? Ведь я замужем. Я другому отдаю и буду век ему верна.

— Кто ваш муж?

— Пушкин.

— Остроумно. Стало быть, он не умер?

— Для всех умер, для меня жив.

Он смотрел на нее с осторожностью.

— Хорошо, — проговорил он, помедлив. — Но у Пушкина другая жена.

— Была, — согласилась она. — Умерла. Я — его вторая жена. Вы — первый, кому я сказала, что Пушкин мой муж. Эту тайну я никому не открывала.

— Понял. Буду молчать, как рыба, — прошептал он серьезно и только потом улыбнулся.

— Мне пора.

— Я вас провожу.

— Незачем, я тут недалеко живу.

— Тогда пока...

Он попытался прижать ее к себе и поцеловать, но лицемерная Диана напрягла мышцы и испуганно отстранилась.

Дверцы подкатившего автобуса открылись. Моргалкина, переступив через валяющуюся бутылку от кока-колы, встала на ступеньку. Тодд шагнул за Дианой, протянув на ладони пуговицу. Пуговицу она взяла, и двери захлопнулись.

.....

Черт с ней, с этой лицемерной блондинкой! Ни поцеловать, ни обнять, не говоря уж о том, что ему надо, а ей, похоже, не надо вообще. И юмор у нее какой-то гробовой. Тоже мне, жена Пушкина!.. Ну и холодуга тут у них! Данки поднял воротник, сунул замерзшие руки в карманы и, чертыхаясь, побрел искать вход в метро.

7.

Моргалкина была влюблена в Пушкина до самозабвения. Она и стихи, посвященные ему, сочиняла, но однажды, когда прочитала в письме к Наталье, что он запрещает ей сочинять, собрала все до единого и сожгла. Подлинная любовь требует абсолютной преданности. Если бы он шел по снегу, она собирала бы снег из-под его подошв и ела. Она была абсолютно уверена, что Пушкин принадлежит ей лично, а уж она ему само собой. Самозабвенная любовь к нему давали ей энергию жизни и счастье от обязанности быть с ним всегда — и днем, и ночью. Однако реально она входила в коммуналку, отпирала дверь в свою комнату и оставалась одна.

У нее был знакомый художник Дасюк, в высшей степени гений, как сам он себя оценивал. Дасюк спился и работал плотником в БДТ. Что-то у него было с кожей на почве алкоголизма: красные с синим отливом пятна украшали лицо, шею и руки. Прошлой зимой Диана наплела ему с три короба про какую-то выставку. Они вместе выбрали рисунок, с которого Дасюк обещал сваять Пушкина во весь рост.

-
- Черт с тобой, вырежу из фанеры.
 - Из фанеры? — огорчилась она. — Я думала...
 - Хорошей фанеры достану, толстой, авиационной. Будет лучше живого.

Неделю спустя после работы Диана поехала к Дасюку. В захламленной мастерской позади сцены перед ней стоял, прислонившись к электропиле, ее родной Пушкин, только без одежды. Дасюк раскрасил лицо и тело, приклеил парик — кудряшки настоящих черных волос с пролысиной. Бакенбарды — так даже гуще настоящих. Не забыл мэстро вырезать и приклеить все, что покоится под одеждой. Моргалкина вспыхнула, увидев это, сердце у нее забилось. Она потребовала немедленно оторвать сию мерзость. Дасюк издал звук, похожий скорее на кудахтанье, чем на смех:

— Почему же мерзость? Ты чего? Хочешь, чтобы я его кастрировал? Не буду! Не позволю надругаться над нашим культурным достоянием! Как у всех, так и у него. Так Всевышний распорядился. Я это с себя творил, с натуры. Не веришь — хочешь покажу?

— Нет, нет, ради Бога! Тебе это нужно, а ему-то за чем?

— Он что, не мужик? Ну, это ты брось! Или сама делай что хочешь! Вот тебе нож, кисть, палитра — замазывай. Хоть фиговый лист присобачь, хоть вообще ликвидируй, что тебе не по душе! Валяй, уродуй произведение высокого искусства!

Красные с синим отливом пятна на щеках и лбу Дасюка стали от нервного напряжения коричневыми, глаза налились кровью.

Моргалкина взяла в руки нож, но прикоснуться к этому месту не решилась.

- Одеть его нельзя? — робко спросила она.
- Купи костюм да одень.

— Шутишь? Ему ведь мундир положен. Где ж такой достать?

— Он кто был? — Дасюк опять закудахтал. — Кажись, камер-юнкер?

— Камер-юнкер, — обиделась Диана, — был, между прочим, по уровню статский советник!

— Ты меня не путай! Бутыль за это будет? В костомерной они наверняка три шкуры сдерут.

— У меня есть деньги. Брат переправил.

— Откуда?

— Из Мексики.

— Чего он там не видал?

— Работает. Туда русские геодезисты бегут, потому что там платят.

— Может, и мне в Мексику податься? Что я, слабже Сикейроса? Такое могу намазать, что закачаются!

Косолапый Дасюк вразвалочку пересек мастерскую, пнул ногой дверь и скрылся. Моргалкина в панике, прижав ладони к шее, осталась наедине с обнаженным Пушкиным.

— Видите, как получается, Александр Сергеич, — сказала Диана, стараясь отводить глаза от нагого изваяния. — Я понимаю, что вам холодно. Потерпите чуток.

От Пушкина пахло олифой.

Моргалкина стащила свое пальтишко и накинула на Пушкина, обвязав вокруг его талии пояс. Теперь, хотя вид у поэта был странный, на него стало удобнее смотреть. Диана вытащила из сумочки флакончик с духами «Climat», давно ей подаренный пушкинистом Конвойским, и прыснула Пушкину на небрежно раскиданные каштановые локоны. Пушкин поморщился, наверно, ему не понравилось, что духи женские.

Дасюк вернулся, волоча пластмассовый мешок.

.....

— Всю костюмерную бабоньки перевернули. Насилу нашли. Был, говорят, у них спектакль по Пушкину, давно не идет. Куда костюмы подевались, никто не помнит. Может, говорят, давно сперли. И вот нашли все-таки. Надо будет с ними расплатиться...

Открыв сумочку, Диана вынула деньги, оставив себе на такси.

Она сдвинула на столе пустые бутылки, корки хлеба и аккуратно разложила парадный мундир темно-зеленого цвета с красными обшлагами и высоченным воротником. Золотое шитье с падающими по краям кисточками придавало вид торжественный. К мундиру прилагались белые суконные рейтузы, слегка поношенные и сильно мятые. Дасюк бросил на пол башмаки и извлек из кармана белые чулки. Диана нашла в мешке мятую шляпу, тоже обшитую золотом. К шляпе, в подвязанном к ней пластмассовом мешочке, прилагался белый плюмаж.

— Плюмаж не надо, это украшение для лошади, — Дасюк оторвал плюмаж от шляпы.

Положив Пушкина на стол, она натянула на него белые рейтузы, потом поставила и надела мундир.

— Совсем другое дело! — сказала она, любуясь им. Пушкин стоял босой.

— Сапоги не забудь, — напомнил Дасюк, — с собой возьми.

— Да он же замерзнет, холод на дворе.

Дасюк посмотрел на Диану внимательно, но возражать не стал. Она натянула Пушкину чулки, потом сапоги. Он не сопротивлялся, наоборот, она чувствовала, старался ей помочь.

— Красавец твой Пушкин, — наклонив голову набок, глядел на них Дасюк. — А в жизни-то был уродом.

— Сам ты урод!

— Слушай, — Дасюк посмотрел на ее счастливое лицо с подозрением. — Если взаправду, зачем он тебе? Мужика что ль нету? Я лучше могу, чем этот фанерный... Давай прямо сейчас, а?

Он взялся волосатой рукой за пряжку ремня.

— Не болтай глупости! — сухо отрубил Моргалкина, не рассердившись, но и не приняв предложение за комплимент. — Сказано тебе, для выставки. У тебя всегда только одно на уме.

— Обижаешь! — фыркнул Дасюк. — Я и выпить всегда хочу.

Он помог ей вынести свой шедевр на улицу и свистнул такси.

— Куклу куда? — спросил шофер. — В багажник? Попролам согнется?

— Да вы что! — возмутилась Диана. — Мы на заднем сиденье вполне вдвоем вместе устроимся.

Александр Сергеевич не сгибался, поэтому поместился несколько наискосок. Одной рукой держа его под руку, другой Диана пошевелила пальцами Дасюку.

— Бутыль когда завезешь? — крикнул Дасюк, захопывая дверь.

Она не ответила.

— Для демонстрации что ли? — не оглядываясь, спросил таксист, выруливая в поток машин. — Или для витрины?

Городского извозчика ничем не удивишь. Спросил он не потому, что заинтересовался, просто для разговора. Вместо ответа она сухо назвала улицу, и он больше не возникал.

В лифте Пушкин с Дианой стояли рядом, плечом к плечу. Моргалкину волновало, как он найдет ее ком-

.....

нату, которую она давно не убирала. К счастью, был поздний вечер, и в коридоре соседей не оказалось. Она с ними не очень ладила и старалась общаться как можно реже. А теперь вообще никого на порог не пустит.

Прислонив камер-юнкера к шкафу, Диана положила ему руки на плечи.

— Ну вот мы и дома, Александр Сергеич. Вам здесь нравится? Покушать желаете? Сейчас я чего-нибудь сготовлю. С прислугой, извините, проблемы...

Она только теперь почувствовала, как голодна: с утра, кроме кофе, ничего во рту не было. Заглянула в холодильник, там у нее был вчерашний суп, вынула кастрюльку, побежала на кухню. Вернулась, быстро поставила две тарелки, ему и себе, отрезала хлеба, передвинула Пушкина к столу, начала есть. Он стоял совсем рядом и неотрывно смотрел на нее.

— Не хотите со мной есть, ну и не надо, — она обиженно скривила губы. — Я понимаю, вы человек избалованный. Но вообще-то привыкайте. В рестораны вы водить меня не будете. Знаете, какие сейчас цены? Лучше становитесь домоседом. Ведь вы всегда мечтали обо мне, и вот я перед вами.

Бледная Диана

Глядела долго девушке в окно.

(Без этого ни одного романа

Не обойдется; так заведено!),

— продекламировала она. — Ну, от шампанского вы, надеюсь, не откажетесь?

Она вытащила из холодильника бутылку, купленную заранее, поставила два бокала, с трудом, пустив пробку в потолок, открыла и неловко налила. Шампанское зашипело, пена поплыла через края на клеенку.

— Извините, что дешевое. Зато импортное, из Венгрии. Давайте выпьем, Александр Сергеич! Выпьем за то, чтобы все у нас с вами было путем, как у людей!

Он кивнул. Диана выпила свой бокал, глядя Пушкину в глаза, закашлялась и, поскольку второй бокал оставался полным, выпила и его. Пузырьки защекотали в носу. Стало хорошо и легко. Кастрюльку с супом она поставила обратно в холодильник. Подошла к Пушкину, обняла за шею, прижалась к нему, поцеловала в щеку.

— Фу, как от вас краской пахнет! И нафталином... Можно, я вас еще подышу? Замечательные духи, другие, тоже французские. Брат из Мексики прислал. Только опять женские... Вы знаете, сколько сейчас? — спохватилась она. — Полночь. Для вас, конечно, только начиналось бы гулянье, а мы в это время уже должны баеньки. Завтра-то на работу..

Диана ласково погладила его по волосам, и он тоже нежно к ней прижался.

— Хотите меня? Знаю, знаю, все вы одинаковые... Потерпите немного. Сейчас ляжем.

Она поспешно раздвинула диван, постелила чистую простыню, достала из шкафа подушку с одеялом.

— Теперь, Александр Сергеич, отвернитесь, я разденусь.

Но он не отвернулся. Она раздевалась, он смотрел. Диана скинула одежду, попрыгала, стаскивая колготки, и теперь стояла перед ним. Сама удивилась, что совершенно его не стесняется. Ей хотелось пококетничать, и она пристыдила его:

— Вы мужчина, вам положено меня раздевать. А выходит, я вас...

Пушкин покорно ждал, пока она снимет с него мундир, сапоги и рейтузы. Она взяла его, раздетого,

.....

под руку и медленно повела к дивану, стараясь не глядеть на то место с курчавыми, как на голове волосами, которое столь эффектно изобразил Дасюк. Положив Пушкина лицом к себе и укрыв одеялом, она погасила свет и юркнула к нему.

— У меня никого до вас не было, — призналась она ему. — И не могло быть. Еще в школе я вас полюбила, целовала ваш портрет в учебнике. Вы — первая моя любовь, вы — последняя. Я однолюбка: всю жизнь люблю только вас! Для вас себя берегла, только для вас... Наконец-то вы это поняли и пришли ко мне! Значит, вы тоже...

Повернувшись лицом к нему, она гладила его по голове и по спине. Едва усмехнувшись, он кивнул, протянул к ней руки.

— Вы меня задушите, — прошептала она. — Я готова сейчас же умереть от счастья. Хотите? Вот я. Берите меня!

Комок подкатил к горлу. Судорога свела ее тело. Она застонала, прижимаясь к нему, покрывая поцелуями его лицо, волосы, шею, плечи, грудь.

Это была первая в ее жизни брачная ночь.

8.

В комнате поселился мужчина, что Моргалкина тщательно скрывала от соседей. Не поймут. Будут смеяться и, конечно, завидовать. Донесут в домком, что он не прописан.

Поскольку они спали вместе, нелогично было говорить Пушкину «вы». На «ты» с ним она перешла

.....

естественно, даже не заметила. И он стал говорить ей «ты».

Вечером она раздевала его, укладывала рядом с собой, утром поднимала и одевала. Он глядел, как она пила кофе, но сам не завтракал, ссылаясь на то, что еще очень для него рано. Она целовала его в губы и убегала на службу. Глядя на автобусы, забитые доотказа, она думала: стыдно, что люди едут быстро, ведь он вынужден был тащиться на лошадях. Сейчас вообще из дому не выходит. Но это мелочи. Главное, мы любим друг друга.

Много она про него знала, но ей казалось недостаточно. Она старалась запомнить больше. И все прочитанное обсуждала с ним, в том числе особенно часто глупости, которые писал про него пушкинист Конвойский.

— Он тебя совершенно не понимает. Да и другие тоже... Только я...

Читать именно Пушкина она любила с детства. Теперь она читала только Пушкина, в чтении других авторов видела измену ему.

— «Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы», — открыв томик, читала она. — Ты, Пушкин, молился в моем храме, когда был в Крыму?

— Конечно, дорогая, — отвечал он, не сводя с нее глаз.

— Теперь ты опять в моем храме, и отсюда я тебя никогда не выпущу.

Он с радостью соглашался.

Во время экскурсии Диана ловила себя на том, что, не только говорит его стихами, но и думает. Это было подлинное слияние душ, проникновение, катарсис. При этом она, стыдясь, объясняла экскурсантам:

— Знать наизусть я должна всего Пушкина, а знаю только треть.

.....

Весь день в музее она не могла дождаться, чтобы вернуться домой и попасть к нему в объятия. Когда у нее было плохое настроение (а перемены настроений от разных обстоятельств случались часто), она на него сердилась:

— Как ты мог написать, Пушкин, что я — лицемерная? Я, которая тебя о-бо-жа-ет?! Это все остальные на свете люди тебе лицемерят, и только я тебя люблю больше всего на свете, больше себя! Глаза готова выцарапать каждому, кто на тебя не молится, хочу умереть за тебя. Ты мой! мой! мой!..

И она рыдала, не могла успокоиться до тех пор, пока он не начинал ее целовать.

Она все больше фантазировала, преувеличивая роль Дианы в его жизни. Что это за таинственная любовь Пушкина, неразгаданная до сей поры? Ответ ясен: это богиня Диана. Про Наталью, свою первую жену, он написал только одно стихотворение и называл ее дурой, обо мне же писал восемь раз и в стихах, и в прозе. У Пушкина было колоссальное чувство предвидения. Он знал, что встретит меня. Наталья была мадонной только в невестах. Я — настоящая богиня, он сам сказал. Принципиальная разница!

Иногда она перемещалась во времени и говорила ему: «Тебе надо развестись с Натальей Николаевной, тогда мы...» Или: «Мы с тобой решили, что дуэль должна состояться. Ведь умереть ты не можешь». Ты всю жизнь искал идеальную женщину, Пушкин. Она являлась тебе в разных образах, и вот ты нашел меня. Я оказалась лучше того, о чем ты мог мечтать. Твоя жизнь оборвалась из-за той жены, но ты продолжал искать свой идеал. Ты не мог прийти ко мне сразу после смерти, потому что я еще не родилась. Теперь ты мой. Наталья тебя не понимала. Только я пони-

.....

маю! И буду твоей последней женщиной. Эта твоя связь навсегда!

Пушкин с Моргалкиной полностью соглашался, не спорил.

— Как быть с теми бабами, — спрашивала она его, — которые были у тебя после женитьбы?

И сама отвечала:

— То были случайные связи оттого, что Наталью ты быстро разлюбил. Не оказалось в той семье радости — вот и рыскал на стороне. Прощаю тебя...

Тема эта ее беспокоила, когда она уходила из дому.

— Больше ты других любить не будешь! — строго сказала она ему ночью, когда он лежал и смотрел на нее. — Понял? Даже не думай... Потому что лучше меня нет. Правда, квартира у нас с тобой коммунальная. Зато здесь я — твое счастье.

С этим он тоже соглашался, как ей казалось, охотно. Все же он старше стал. С возрастом, это всем известно, у мужиков меньше желания гулять.

И все же она нервничала, возвращаясь домой: вдруг он отправился гулять. Кругом женщины, и многие одеваются теперь шикарно, юбки едва ниже пупа. Ей казалось, он все время ускользал от нее. Сколько бы она ни старалась не упоминать в экскурсиях всех так называемых «адресатов лирики Пушкина» — они фигурировали в его жизни, о них спрашивали экскурсанты, она никак не могла отделаться от других его женщин.

Чтобы бороться с ними и победить, Моргалкина решила узнать о них больше, найти в мемуарах их слабые места. Она сравнивала их с собой и находила в себе явные преимущества. Она переписала «Донжуанский список», который он оставил в альбоме Ушаковой, и прибавила себя в конец. Почерк Пушкина она знала, сама отработала такой же, не отличить, — значит, это он впи-

сал ее последней. Теперь она его женщина, справедливость свершилась. Он писал, что Наталья — его сто тринадцатая любовь; Диана игнорировала эти сто тринадцать и всех последующих. Она стала сто последней.

Оставался все же некий разлад в душе. Тот Пушкин, которого она знала всю жизнь, был общительным жизнелюбом, — теперь у нее дома он постоянно молчал. Может, ему мало моего общества? Она старалась быть веселее, что ей давалось с трудом. К обычным женским играм, хотя и понимала всю важность умелого кокетства для Пушкина, Диана плохо была приспособлена.

— Почему ты лежишь со мной равнодушно? Гуляка! Тебе надо чего-нибудь свеженького. Иди, я не возражаю, иди! Сейчас проституток на Невском полно, больше, чем в твои времена. Только к ним иди, потому что тебе надо. Не провожай никого и не целуйся в подъездах, пожалуйста!

Пушкин вернулся к ней посреди ночи. Она уже спала, и он разбудил ее прикосновением.

— Наконец-то, — сказала она. — Нагулялся. Теперь ты опять мой!

Запах чужих духов возмутил ее, но ведь она сама разрешила ему. Диана поднялась, накинула халат, раздела его, положила на чистую постель, прислонив спиной к стене так, чтобы он мог видеть ее, повесила на плечики его рейтузы и камер-юнкерский мундир. Пушкин вдруг приподнялся, поднял руки и прочитал ей стихи. Возможно, не он прочитал ей, а она ему, — какая, в сущности, разница?

— Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.

Тем временем она скинула халатик и юркнула под одеяло, рядом с ним. Погрозив ему пальцем, усмехнулась:

— Что за рифма, Пушкин, «друзья — меня»?! Стыдоба! Тебя Бог наказал за то, что ты, греховодник, разбрасываешься: грудь тебе нравится моя, щеки у Флоры, ножка Терпсихоры. Бабник несчастный! Ладно уж, прощаю в который раз... А работаешь мало. Эдак вообще разучишься стихи сочинять.

Корила его Моргалкина за отлучки и за лень. Он становился перед ней на колени, просил прощения, и после притворного ворчания она позволяла ему прижаться к себе. Она как-то сразу расслаблялась, и он уже мог делать все, что хотел именно с ней. Поэтому другие женщины отступали в тень, переставали иметь для нее какое-либо значение.

Они лежали рядом, он читал ей на ухо стихи, которые она давно знала наизусть, но делала вид, что ей невероятно интересно. Даже хлопала в ладоши, но тихо, чтобы соседи не слышали.

— Что женка, не махнуть ли нам в театр? — обратился он к Диане. — Вот ужо страсть какая тоска...

— Хочешь сказать, что тебе со мной скучно, Пушкин? Нацелился меня обидеть?

— Сидение дома сводит меня с ума, Дианушка. Чего дают в опере?

Диана подала ему газету «Вечерний Петербург».

— Бог мой! — воскликнул он. — Сколько развелось театров! Глаза разбегаются. И что ж, все хорошие?

— Разные. Ты желаешь в оперу? Вот смотри: сегодня «Пиковая дама».

— Что-то знакомое, — попытался вспоминать он.

— Еще бы!

— Поехали! — он вскочил с постели. — Сейчас велю кобылку бурую запречь.

— Лучше на автобусе, — предложила Диана.

Она стала судорожно вспоминать, хватит ли у нее денег на билеты. Полезла в книжный шкаф, где в книге прятала деньги — берегла на черный день.

На этот раз Александр Сергеевич одевался сам. Давно надо было бы купить ему современный костюм, финский или хотя бы болгарский. Он кряхтел с непривычки, самостоятельно натягивая сапоги. Она его избаловала, раздевая и одевая. В шляпе он стал великолепен. Было холодно, а у него пальто нет.

— Не бойся, дорогая, — сказал Пушкин. — Я к розу привычный...

Диана надела свое лучшее, оно же единственное, вечернее малиновое платье с кружевами. На улице Пушкин загляделся на маленький флигель на углу Мошковского переулка.

— Узнал? — сообразила Диана. — Ну конечно! Здесь твой приятель Одоевский жил со своей красавицей-креолкой...

Дверцы за ними стиснулись, поехали. В автобусе толчая, в давке да полутьме на Пушкина, слава Богу, не обратили внимания. Билеты в Мариинке стоили бешеных денег, за рубли их вообще не было, пришлось купить за доллары.

В фойе уже стемнело. Пушкин шагал стремительно, Диана в длинном платье едва поспевала за ним. Двери распахнулись. Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла, все кипит. Начинает гаснуть свет. Пушкин идет меж кресел по ногам, она следом.

— Пушкин... Смотрите, Пушкин! — раздаются голоса.

Его узнают, приветствуют. Ему это явно нравится, и ей тоже.

— Кто там с ним? Ведь не Наталья Николаевна! Как же так?

— Да разве вы не слышали? Весь Петербург говорит. Это его новая girlfriend. Ее зовут Диана...

— Диана? Какое поэтическое имя! И знаете, она ничего...

— Еще бы! Не зря же он от нее без ума...

Они усаживаются в партере. Соседи им кланяются, шушукаются. Весь зал говорит только о них. Пушкин шарит по карманам, пытаюсь найти свой двойной лорнет, чтобы навести его на ложи незнакомых дам, но лорнет, который она высмотрела и купила для него на Невском в подвале у нового русского старьевщика, куда-то запропастился. Перед выходом из дому Диана передумала и специально вытащила лорнет из пушкинского кармана, чтобы на незнакомых дам он не глядел.

Тут стемнело. Появился дирижер, раскланялся, взмахнул палочкой, и грянула увертюра. Зал музыку не слушает, продолжая о них шушукаться. Поднялся занавес. Пушкин на сцену глянул, отворотился — и зевнул. Почесал бакенбарды и молвил:

— Всех пора на смену...

В антракте, едва зажгли свет, Пушкин, почувствовала Диана, забыл о ней. Глаза его разбежались от обилия красивых женщин, одетых так, как ему не снилось: полуобнаженных, источающих такие запахи, от которых кружилась голова. Они вышли прогуляться в фойе. Диана крепко держала своего легкомысленного спутника за локоть.

— Вы настоящий Пушкин или артист в гриме? — с изумлением спросила у него идущая навстречу нимфетка с длинными ногами, растущими из подмышек.

Увидев это божественное создание, Александр Сергеевич потерял голову.

— Мадемуазель! — воскликнул он. — Разумеется, я настоящий. Если позволите поцеловать вам ручку, вы в этом убедитесь. Вы — прелесть, чистый ангел.

— Зачем же ручку? — нимфетка сделала глазки. — Кто сейчас ручки целует? Поцелуйте лучше в губы.

И не дав Пушкину задуматься, бросилась к нему на шею. Пушкин обнял ее за тонкую талию и стал что-то шептать на ухо. Нимфетка обмякла, будто сейчас, здесь готова упасть с ним на пол.

Краска бросилась в лицо Диане. Господи, зачем я привела его сюда? Зачем он ожил? Ведь я его теряю! Мертвый, он был мой и больше ничей. Деревянное его тело принадлежало мне одной. И вот...

Вокруг стала собираться толпа. Диана возмутилась, вырвала Пушкина из объятий нимфетки и вцепилась в его щеку. Руке стало больно: она ударилась о деревяшку. Слезы брызнули из глаз, дотекли до рта, она почувствовала на языке их соленый привкус.

Было утро, за окном на углу скрежетал трамвай. Пушкин лежал рядом и смотрел на свою girlfriend. Надо было вставать и бежать на работу.

9.

Сомнений нет, он любит только ее, Диану, принадлежит только ей. Но этого было мало ее жадному воображению, которое требовало и логики, исторической обоснованности, и, так сказать, легальности. Как биографические детали жизни Пушкина ни обходи, невозможно им противоречить: Наталья его жена, Диана — нет. Надо получить свое законное право быть

рядом с ним. Ее совершенно не смущает, что он жил тогда, а она — теперь, когда он уже умер. Важно другое: как же стать его законной женой?

В Вербное воскресенье Моргалкина пошла к заутрене в церковь к отцу Евлампию. Познакомились они еще в университете: вместе оказались на уборке картошки, и он Моргалкину по части Самиздата просвещал. Он же ее, как только все можно стало, крестил. В миру Евлампий был Евгением, раньше простым советским экономистом, работал в Ленинградском управлении торговли, засыпался на взятках. Господь его просветил, укрыл в монастыре и послал в духовную академию.

Отстояв воскресную службу, Диана подошла к отцу Евлампию, сказала, что разговор у нее конфиденциальный. Он ее в сторону отвел, ухо наклонил. Она оглянулась, не слышит ли кто, и прошептала:

— Мне надобно обвенчаться с одним человеком, но тайно, на дому, как делали иногда предки.

Евлампий тоже историю знал, но тут сразу остерег ее, перекрестив:

— В церкви надобно, по закону, с бумагой из загса.

— Какие теперь законы? — возразила она. — Мы сперва Божеское одобрение хотим получить... И срочно надо, я заплачу, сколько скажешь. Знать никто не будет. Тут рядом.

Она долго его уговаривала, пока он по старой дружбе не согласился.

— Когда?

— Прямо сейчас.

— Тогда быстрей, — сказал он. — У меня впереди обедня и начальство из епархии грозилося нагрять.

По дороге отец Евлампий молчал, только на часы то и дело поглядывал да рясую руками над лужами

приподнимал. Моргалкина привела его домой. Она знала, что соседи все на садовые участки отбыли. Войдя в комнату, Евлампий спросил:

— Ну, где твой жених, которому так приспичило?

Тяжелая зеленая штора закрывала свет в окне. Дяна сперва молча зажгла две свечи, будто не слышала вопроса. Потом, раздвинув книги, вынула из шкафа почтовый конверт, извлекла две бумажки по сто долларов и протянула Евлампию. Деньги он опустил в карман рясы.

— Где жених-то? — опять спросил он.

Деваться было некуда, она указала на Пушкина, прислоненного спиной к шкафу.

— Да вот он.

Палец в рот от удивления положил отец Евлампий да чуть не откусил. Зажмурился, опять открыл глаза, поморгал, проверяя зрение, перекрестился, закряхтел и выдавил из себя:

— Ты шутишь, девка! Не может того быть, чтобы серьезно...

Моргалкина уже надела фату, заранее приготовленную, молча встала рядом с Пушкиным, опустив очи в пол. Ждала.

Отец Евлампий, готовый выбросить деньги и бежать, сунул руку в карман. Пошелестел купюрами, посопел, размышляя. Не в деньгах дело. Деньги вернуть можно. Чудит она, несчастная раба Божия. Конечно, в данном случае не имеется полного умственного благополучия, но ведь Господь, в отличие от людей, всегда терпим и снисходителен к человеческим слабостям.

— Боюсь я, — вслух произнес отец Евлампий и опять осенил себя крестным знаменем. — Вот ведь ситуация, прости меня Отче.

— Начинай, чего же ты?

— Вот что... Ты, Моргалкина, на кресте поклянись: этого — никому! Ни единой земной душой!

Диана кивнула. Он поднес к ней распятие. Она его поцеловала.

Отец Евлампий, все еще неуверенный, переступил через протест внутри себя и стал читать молитву, стараясь не глядеть на Пушкина. Перекрестил их обоих, спросил, согласна ли она стать женой (не сказал кого), и нарек их мужем и женой.

— А кольца? — спросила Диана, когда он повернулся уходить.

Глаза его расширились. Страх застыл в них или смущение, но скорей то и другое вместе.

— Обменяйтесь кольцами, — торопливо пробормотал он. — Обменяйтесь... Обменяйтесь... Прости, Господи, нас, грешных детей твоих...

Моргалкина открыла пожелтевшую коробочку и надела Пушкину на безымянный фанерный палец обручальное кольцо своего отца. Потом вынула второе, материно, и надела себе.

— Ну, с Богом! Я побежал, — у двери отец Евлампий оглянулся. — Смотри, дочь моя, помни о клятве. Никому! Кривая нынче жизнь...

Так Моргалкина стала второй законной женой Александра Сергеевича — Дианой Пушкиной.

Любовник он был первоклассный, божественный, лучший в мире, хотя предыдущего опыта для сравнения у мадам Пушкиной не имелось. Она стала почти счастлива. Почти, ибо один дефект в их отношениях и теперь, несмотря на жаркие ночи, когда она его обнимала, никак не преодолевался: она все-таки осталась девственницей.

В следующее воскресенье утром она опять пошла в церковь просить Господа: сделай один-единственный

.....

раз исключение, верни к жизни раба твоего. Преврати деревянное тело в нормальное, чтобы дышал, чтобы сам обнимал. Оживи хотя б ненадолго. Хоть бы единственный раз не мне с ним, но ему со мной поговорить, чтобы сам признался, как любит меня. Ведь все время только я говорю и за него, и за себя. Для меня он и так живой, конечно, абсолютно все у меня с ним замечательно. Вот только почему-то зачатия никак не происходит — ни непорочного, ни порочного. Оживи мужа мово, Боженька, чтобы показал, как меня любит. И чтобы ребенок почувствовался.

Уже начав молиться, она, однако, в испуге одумалась. Не захочет Бог оживить одного, ибо немедленно все смертные возжелают того же. Да и что получится, если сжалится Бог надо мной и Александр Сергеевич оживет, то есть превратится в телесного мужчину? Тогда ведь и вовсе контроля над ним не будет. Все-таки натура его известна. Как все живые мужики, поволочится за первой встречной юбкой. Мне станет врать или вообще исчезнет из дому, так что не дождешься. Нет уж, пускай остается фанерным, зато верным мне до гробовой доски. Обнять его я и сама могу, руки не отсохнут.

Она вышла из церкви, не домолившись. Из-за этого Пушкин не ожил.

Порой Диане казалось, что она вот-вот забеременеет от него или даже уже беременна, уже животик появился, кто-то топнул в нем ножкой, скоро рожать, глядишь, мальчик в школу пойдет, — ее и Пушкина сын. Но как она ни убеждала себя, беременности не получилось.

— Тамар, — сказала Диана шепотом, когда они остались вдвоем между экскурсиями. — Поклянись материю, что никому не скажешь!

— Ты чего это? — удивилась Тамара и с подозрением глянула на нее. — Банк грабить собралась?

— Хуже, — Диана еще понизила голос. — Мне срочно забеременеть надо.

— Вот те на!.. Ты что, мать моя, рехнулась? Все дрожат, чтобы не влипнуть, ты наоборот. Прямо по твоему любимому поэту:

Берегитесь — может быть,
Это новая Диана
Притаила нежну страсть —
И стыдливymi глазами
Ищет робко между вами,
Кто бы ей помог упасть.

— Кто бы помог? — Диана зацепилась за строку.

— Я что — сводня? Вон — кобелей вокруг тьма тьмушая.

— Да разве это мужики? Ни энергии, ни души. Ни дом построить, ни бабу соблазнить.

— Ты чего хочешь? Какая жизнь, такие и мужики...

— Вот и я о том же! Только он личность.

— Кто?

— Пушкин.

— Ой, бабоньки, не могу больше! — заголосила Тамара, хотя в комнате никого не было. — Вот и беремей от Пушкина.

В глазах у Дианы стояли слезы. Тамара погладила ее по руке, взяла за плечи, встряхнула.

— Ты вообще-то, Моргалкина, дурачишься или как? Если серьезно, то бери любого.

— Любого? Может, поговоришь со своим Антоном? Он не согласится? Один раз только...

.....

Тамара губу прикусила.

— Нет, ты просто рехнулась! Вы только подумайте?! А меня куда? В мусоропровод спустить?

— Не пугайся, я ведь только спросила, — замахала на нее руками Диана.

— И потом, мужик мой слишком ленивый, — миролюбивей добавила Тамара. — Я и сама-то Светланку на третий год еле-еле зачала.

— Кто бы помог? — заиклилась Диана. — Если очень серьезно...

— Если очень, то все равно не на улице же! Тодд твой пропадает без толку? Какой-никакой, все ж американец. И хоть знаешь человека.

— Я его отшила.

— Ну и что? Обрато пришей. Это ж идеальный вариант! Только не будь полной идиоткой и не ляпни ему, что рвешься забеременеть. От такого светлого будущего любой нормальный мужик мгновенно испарится, только его и видели. Перетрахайся с ним, он уедет в свою Америку, и дело с концом. Будет сопротивляться, напои.

— Зачем?

— Пьяный мужик на это всегда готов, как юный пионер. Звони ему...

— Страшно...

— Страшно, когда тебя насилуют. А тут... Слушай, — Тамара сжала ее плечо. — Что если он тебя в Америку возьмет? Дурой будешь, если откажешься.

— Как же я Пушкина оставлю?

— Нет, душа моя, по тебе психушка тоскует. Лучше от тебя держаться подальше...

Через знакомых в университете Моргалкина нашла телефон общежития легко и оставила просьбу позвонить в Музей Пушкина. Тодд перезвонил. Но

.....

чтобы прийти с ним домой, надо было посоветоваться с Пушкиным. Он по женщинам легко бегал — почему же ей один раз нельзя?

Вечером она вошла в комнату и первым делом его спросила. Пушкин молчал, только смотрел на нее. Наверное, растерялся. Думал и не знал, что ответить.

— Но ведь ты сам был гуляка! — настаивала Диана. — Теперь эмансипация полная. Тодд говорит, что ты всегда был феминистом. Люблю-то я тебя, он просто донор, понимаешь? До-нор! По-французски le donneur...

Пушкин еще немного подумал и разрешил. Диана поцеловала его в щеку и убежала.

10.

— Наконец-то мужика привела! — громко, ни к кому не обращаясь, изрекла соседка, идя на кухню. — Может, он тебя нормальной сделает...

Моргалкина промолчала. Тодд стоял позади нее и, видимо, не очень понял смысл сказанного. Она пошарила в сумочке, ища ключ, открыла свою комнату, впустила Тодда и сразу заперлась на замок.

Когда Диана позвонила, Данки удивился, услышав в трубке ее голос. Она была деловита, даже не спросила его, хочет ли он увидеться, сразу предложила встретиться, и у него выбора не осталось. Он не спрашивал, куда она его везет — неловко было. Теперь Тодду показалось, что в темной комнате кто-то есть, и он поздоровался. Никто ему не ответил. Диана зажгла настольную лампу: в полутьме стоял Пушкин.

.....

Данки протянул ему руку, которая осталась не пожалтой. Тогда Тодд учтиво поклонился и сказал:

— Хай, Пушкин!

Пушкин не ответил.

— Вот почему вы шутили, что замужем...

— Я не шутила, — отрезала Диана, чтобы Тодд прекратил фамильярничание.

Она быстро собрала ужин, вытащила из морозильника бутылку водки. Тодд сидел за столом и только водил глазами, следя, как она бегает по комнате.

— Хорошо у вас. Очень уютно. И книг много, — с вежливой инерцией говорил он, глядя на ужасный беспорядок, с которым можно сравнить только его собственный гараж в Пало-Алто. — Если я когда-нибудь опять женюсь, у меня обязательно будет уютно.

— Опять? — Моргалкина зацепилась за слово и на мгновение перестала хозяйничать. — Вы разве женаты?

— В общем-то нет...

— Как это? — непонятка ее озадачила.

— То есть я был женат, развелся, но жена все пытается судиться со мной. Стоит мне купить что-нибудь, например, машину, как она нанимает адвокатов, утверждая, что я при разводе утаил от нее еще некоторую сумму. Она мне просто мстит, но не понимаю, за что...

Пять лет назад еще студентом Данки летал на каникулы в Гонконг и там познакомился с вьетнамкой, которая в него влюбилась. Она — сирота, родители погибли, когда пытались переправиться на лодке за границу, девочку береговая охрана спасла. Тодд расчувствовался и решил привезти ее в Америку. Они зарегистрировались тогда же в Гонконге. Через некоторое время она приехала к нему в Калифорнию и получила статус постоянного жителя США. Жить

.....

с Тоддом, однако, она отказывалась, придумывая разные причины.

Вскоре он узнал, что у нее есть жених в Лос-Анджелесе, к которому она, собственно, и приехала, используя Тодда в качестве транспортного средства. Больше того, жена уговорила его не разводиться, пока она не получит американского гражданства, не то ее вышлют из страны. Потом она начала отсуживать у него все что возможно и невозможно, скандалить из-за каждого пенни и продолжает это делать по сей день, хотя у аспиранта Данки взять практически нечего, кроме старого кресла и спального мешка. Адвокаты в Калифорнии зубастей крокодилов и умеют кушать клиентов лучше, чем где бы то ни было еще.

Тодд ей все оставил, себе из принципа хотел взять фото матери в серебряной рамке. Рамка ему была не нужна, но сколько он себя помнил, она висела в доме матери рядом с иконой. Из какого-то глупого принципа он хотел эту рамку оставить себе. Жена упиралась: не отдаст, потому что рамка ей нравится, и все тут. Судья, то и дело ворчавшая на него, что вот эти свинские мужчины разводятся, бросают невинных женщин и прочее, когда поняла, что жена претендует на фотографию его матери, вдруг стукнула молотком по столу и изрекла нечто внеюридическое: «Не будет этого, мадам! Совесть надо иметь!»

— Теперь не знаю, — печально проговорил Тодд Диане, — надо совесть иметь или не надо.

Как ни смешно, брак его оказался без постели. Без постели для него — она-то жила с женихом. Вот почему Данки избегал рассказывать про это приятелям. Кому охота откровенничать, имея столь оригинальную форму семейной жизни? О, блажен-

.....

ное время наших советских разводов! Собственно-сти никакой, делить нечего, кроме комнаты в коммуналке, которая принадлежит государству. Счет в банке? Но денег никогда не хватало до получки. В худшем случае при разводе, как выразился один мой знакомый адвокат, придется распилить пополам люстру. Не то в Калифорнии. По закону, муж обязан содержать жену до конца дней после развода так же, как он это делал в браке. Смертельный номер для общества, если, женившись, рискуешь оказаться в западне.

Предстоял еще суд, на котором символическая жена рассчитывала получить от Тодда реальные алименты на свое содержание в будущем, потому что она ведь приехала в Америку вовсе не для того, чтобы работать. Получилось, что Тодд будет кормить и ее жениха, замуж за которого она по этой причине не спешит. Некоторые калифорнийские законы весьма удобны для некоторых нечестных людей.

— Вышел я из зала суда на свежий воздух, — сказал Тодд, — и поклялся больше не жениться никогда.

Диана сидела тихо и, не перебивая, слушала.

— Налейте, — наконец попросила она. — У нас в России мужчинам положено разливать. Выпьем за ваш развод...

И сразу, не ожидая Тодда, выпила до дна.

— Ему тоже нальем, — Тодд подошел к Пушкину с бутылкой. — А то как-то несправедливо.

Воткнув рюмку между фанерных пальцев, он наполнил ее. Пушкин держал рюмку криво, и половина водки пролилась на ковер. Тодд чокнулся сперва с ним, потом с Дианой. Он уминал все подряд, что было выставлено на стол. Через полчаса оба захмелели. Один Пушкин оставался трезвым.

— Давай выпьем на брудершафт, — сказала Моргалкина, от полноты чувств заранее перейдя на «ты». Но придется поцеловаться. Ты не против?

Нет, Данки был не против. Он перегнулся через стол, она подставила ему губы. И как-то само собой они начали обниматься и очутились на диване. Диана вдруг замотала головой, отвела его руки, вскочила и опустила платье.

— Я что-нибудь опять сделал не так? — растерянно спросил Тодд.

— Подожди. Не здесь, здесь плохо!

— Но почему?!

— Он смотрит на нас. Пойдем в другое место.

— Какое — другое?

Диана не ответила. Она вдруг осознала: зачать сына ее и Пушкина надо не здесь. Как она сразу сообразила? Обязательно в другой, только в той и ни в какой другой квартире!

— Пошли! — прошептала она, натягивая плащ.

Данки нехотя подчинился. Лифт не вызывался. Спотыкаясь, Тодд следовал за Дианой по лестнице. Выйдя из подъезда, она взяла его под руку и вывела на набережную. Ветер разогнал тучи, и на небе висела половинка луны. Шаги гулко отзывались в подворотнях.

Милиционер в Музее на Мойке, дом 12, спал, но, когда Моргалкина позвонила в парадный вход, глянул через стекло, узнал ее и спросил только:

— Тебе чего?

— Открой, Василий, — попросила она. — Мне поработать надо.

Про спутника ее он не спросил, понял, что они вместе, выключил сирену охраны, и Диана с Тоддом вошли. Располневший и в годах Василий опять уселся на стул, надвинул фуражку на глаза и вырубился.

Во тьме Диана шла по музею, как у себя дома, и тянула за руку Тодда. В кабинете Пушкина она осталась. Свет то ли от луны, то ли от уличного фонаря проходил сквозь щель между шторами.

В голове у Тодда был туман. Он уже перестал удивляться Дианиным прихотям.

— Здесь? — шепотом спросил он.

— Здесь...

Диана сняла плащ, бросила на стул, села на диванчик возле полки с книгами, стиснув коленки, ждала.

— Тут он умер? — продолжал шептать Тодд.

Она кивнула.

Тодд сделал несколько шагов по комнате и вернулся обратно. Что-то его беспокоило.

— У меня к тебе просьба, — вдруг решился он. — Если тебе не трудно... На всякий случай... Напиши на бумажке, что ты сама этого хотела.

— Как это? — она закрыла лицо руками. — Господи, стыд какой! Какой стыд!

— Не обижайся. Просто у нас в Америке все сошли с ума, и с сексуальными домогательствами очень строго. Я бы не хотел сидеть за изнасилование в тюрьме, если ты утром передумаешь и пойдешь в полицию...

— В милицию, — поправила она.

— Да, конечно, в милицию.

— Ни в какую милицию я не пойду.

— Знаю! Но пожалуйста... На всякий случай.

Диана хмыкнула, решительным шагом подошла к выключателю. Вспыхнул свет. Она наклонилась над письменным столом с фигуркой негритенка на нем и ларцом, в котором поэт держал свои рукописи. Сейчас там валялся всякий конторский мусор. Она вытащила из ларца листок бумаги.

— Что писать? — охрипшим вдруг голосом спросила она.

Тодд молчал, не зная, как по-русски пишутся официальные бумаги. Да и на английском он таких бумаг не видел.

— Напиши что-нибудь... Ну, что добровольно...

— Может быть, после?

— Нет, до...

Лицо ее вдруг озарилось.

— «Я, Диана Моргалкина, гражданка Российской Федерации, — медленно произнесла она казенным голосом и написала, — вступила в интимные...» Как лучше — «в интимные» или «в сексуальные»?

— Лучше «в сексуальные», — посоветовал Данки. — Интимные — это может быть все что угодно...

— Значит, «вступила в сексуальные отношения с гражданином США Тоддом Данки по собственному желанию. Никаких юридических и материальных претензий я к мистеру Данки не имею». Годится? Подпись... Как будто это у нас уже было, да?

Она расписалась, Тодд сложил и спрятал бумажку в карман пиджака.

— Раздеваться не будем, — строго сказала она. — Отвернись, я сниму колготки. Просто сблизимся, и привет.

— Как сблизимся? — не понял он.

— Тебе лучше знать, как...

— А твой boyfriend Пушкин? — Тодд не то чтобы пошутил, просто вырвалось.

— Он мне разрешил...

Диана опять села на диванчик, ждала. Тодд все еще медлил.

— Смотри! — она расстегнула две пуговицы и руками подала ему груди. — Неплохо смотрится при

.....

свете луны, да? Ну что же ты стоишь, как истукан? Делай что-нибудь!

— Что это — «истукан»? — он не знал такого слова.

Ее немного знобило, и она не ответила. Подняла руки, положила ладони ему на уши и держала так, пока он не ожил и не решился действовать.

— Ты что же? — через некоторое время спросил он, коснувшись губами ее уха. — Никогда?

— Никогда.

— Эх ты, а еще древнеримская богиня любви!

— Ну и что? Диана — символ девственности.

— Зачем же хранить девственность две тыщи лет?

— Дурак ты! Неужели все американцы такие? Понимаешь, сим-вол...

— Символ-то ладно. Но реально зачем?

Диана закрыла глаза и долго не отвечала. Потом прошептала:

— Так получилось...

Диванчик оказался скрипучим. Не понятно, как Пушкин на таком неудобном отдыхал. Диана ничего не почувствовала, кроме сопения Тодда возле своего уха.

— Ты что, не умеешь? — удивилась Диана.

— Не знаю, не пробовал, — пробормотал Тодд.

— Таких мужчин нету.

— Я вот есть.

— Выходит, и у тебя так получилось?

Получилось быстро, неудобно, нескладно, нелепо, глупо, противно, грязно, мерзко, вообще отвратительно. Но ведь это был не он, не ее Пушкин, успокаивала она себя, только лишь минутный его заместитель. Она быстро натянула колготки и опустила платье.

— У тебя есть пять долларов? — спросила она.

.....

Донор усмехнулся, вытащил из бумажника, протянул ей.

Диана погасила свет, взяла Тодда за руку и, держа в другой руке зеленую пятерку, повела в полутьме к выходу. Милиционер спал, она хлопнула его пятеркой по фуражке. Он встрепенулся, выключил сигнализацию и открыл дверь. Она сунула ему в руку купюру.

— Я тебя доведу до метро, — Диана взяла Тодда под руку, но тут же, вспомнив Пушкина, отпустила. — Иди за мной, а то еще заблудишься...

По тротуару они шли молча, на некотором расстоянии друг от друга. В сквере у Казанского собора Моргалкина остановилась, поглядела на небо, начала что-то бормотать.

— Ты что, молишься?

— Видишь, какая луна? Это я сама с собой разговариваю, ведь Диана — это богиня Луны. Я — Селена.

В метро «Невский проспект» в этот поздний час спешили редкие прохожие. Протрезвев от холода и дождя, поживаясь, Данки смотрел на Диану настороженно. Зря я с ней спутался: странное она существо. Не лицемерная, тут что-то другое...

— Извини меня, — сказал Тодд.

— Нет, это ты извини меня, — возразила Моргалкина, глядя в сторону. — Мне не следует тебе этого говорить... Я хотела, чтобы ты помог мне родить ребенка.

— В каком смысле? — он испугался.

— Боже, какой ты недогадливый: в прямом. Я хотела от тебя забеременеть. Наверно, я отвратительная любовница и вообще никудышная баба. Как только свет терпит таких, как я?

.....

Она резко повернулись и побежала. Тодд постоял еще минуту, тупо глядя ей вслед, в растерянности пожал плечами и вошел в вестибюль метро.

На следующее утро Данки улетел рейсом «Аэрофлота» в Сан-Франциско.

11.

Моргалкина вернулась домой в полном разладе с собой, а почему, не понимала. Ведь все получилось, как она хотела. Только гармония в душе ее нарушилась. Червь проник в душу, точил ее душу, которая и без того раздиралась сомнениями. Пушкин встретил ее молча, глядел с осуждением. Но ведь сам виноват! Сам вынудил, подтолкнул к такому шагу. Ей не хотелось ни оправдываться, ни вообще с ним разговаривать. Первый раз она не почувствовала радости, когда осталась с Пушкиным наедине. Она решила, что ляжет спать одна. Диана постелила постель, разделась, укрылась одеялом. Он, одетый в зеленый с красным камер-юнкерский мундир, стоял и смотрел. Тогда она сжалилась: поднялась, раздела его и уложила в постель.

— Я тебя ненавижу, — сказала она.

Повернула его лицом к стене и сама легла спиной к нему.

Что-то в ее счастливом браке с Пушкиным с той ночи разладилось. А ему все равно. Диана больше не говорила за себя и за него, молчала. Она сердилась и, сердясь, перестала плакать, когда на экскурсии говорила о его смерти. Так продолжалось месяца полтора, до того дня, когда она наконец поняла, что беременна.

.....

Все вернулось на круги своя. Моргалкину словно подменили. Она ожила, снова спешила домой к своему Пушкину. Она уверила себя и стала уверять его, что он и никто другой — отец ее ребенка. Скоро у меня будет живой маленький Пушкин. Он обязательно тоже станет великим поэтом! Я так хочу!

— Ты рад? — спрашивала она мужа.

Пушкин отвечал ей, что он в восторге.

— У тебя было четверо, — говорила она ему, это пятый, еще мальчик.

— Откуда ты знаешь, что мальчик? — спрашивал Пушкин.

— Знаю, знаю! Назовем Сашей, ладно?

— Но сын Сашка у меня уже был, — сказал Пушкин.

— Ну и что? Ведь тот Саша умер...

В общем, он согласился, что будет Саша. Диане осталось только выносить и родить.

Женщины в музее посплетничали вокруг нее немного. Между собой посмеивались, у нее спрашивали:

— Ну, скажи хоть от кого?

— От Пушкина, — отвечала она.

И это была ее правда.

Впрочем, сослуживицы просто так, для вида представляли: все и без нее знали, что от того приезжего американца.

С животом экскурсии ей стало водить труднее, но она почувствовала особую гордость, когда стало заметно. Блондинкой она быть перестала и даже не заметила этого. Зато важная тайна сделалась явью. Если забыть маленькую неувязку, то вот факт: она носит его ребенка, того, кто хозяин в ее комнате, самого умного и самого великого человека в России, носит нового Пушкина.

.....

Беременность протекала тяжело. Два раза Моргалкина ложилась в больницу на сохранение. Но в больнице было еще хуже, чем дома: полуголодный паек, ухода никакого и лекарств никаких, разве что самой через знакомых удастся достать. Работала она до самого конца, водила экскурсии, несмотря на летнюю духоту, боялась только, как бы в тесноте шустрый экскурсант с ног ее не сбил.

Проснувшись Диана утром затемно, почувствовав, что надо идти, а то дома сама не управится: на помощь-то мужа надежды никакой. Он лежит или стоит, облокотясь на стол, и в одну точку смотрит.

— Эх, Пушкин, Пушкин, — только и произнесла она. — Жди меня, да смотри, никого сюда не приводи!

В роддом Диана по пустынным улицам, поеживаясь от утренней сырости, дошла пешком сама. Принимать ее не хотели, так как все переполнено, посоветовали ехать в другой роддом. Ноги у нее подкосились, и она села на пол в приемной. Позвали дежурную акушерку, та на Моргалкину накричала, мол, нечего прикидываться, не ты первая, не ты последняя рожать просишься. Где на всех на вас место найти? Беременеют и беременеют, как кошки. Но, обругав и поиздевавшись, выгнать почему-то побоялась, и санитарка бросила Диане халат и шлепанцы.

В палате только и разговоров было, что все заражено стафилококком, матери болеют — детям передается, но это ничего, случается, что рождаются и здоровые дети. Диане не пришлось долго в разговорах участвовать. Положили ее на стол, дальше она смутно помнила, как и что, боль только. Да еще акушерка удивилась:

— Ты что ж, девственница? Тоже мне святая Мария... От кого ж ты так, балуясь, понесла?

— От Пушкина, — опять пробормотала Диана в полубреду.

— Хамишь, девка! — обиделась акушерка и больше ее ни о чем не спрашивала.

Моргалкина и сама не знала, что осталась невинной. Гинеколог ей после сказала, что такие беременности имеют место, когда сходятся по быстрой случайности. И многозначительно на нее посмотрела.

Не везло Диане. Роды затянулись. Хотя самому рожать не довелось, процедура эта представляется мне и в легком виде великим мучением и безвестным подвигом во имя человечества. Более серьезным, почетным и наверняка более гуманным, нежели большая часть мужских подвигов, за которые так называемому сильному полу на грудь вешают побрякушки. А уж в тяжелом виде роды — это, наверное, как пытки в застенках инквизиции, даже инструменты похожи. Американские отцы, которые на видеопленку снимают для семейного архива весь процесс, как жены их рожают, вызывают у меня изумление. Я понимаю, что это модно и будет что поглядеть потомкам из жизни их матери и бабушки, но страдание, снятое для развлечения, напрашивается на весьма жесткий комментарий в адрес мужа с видеокамерой.

Моргалкину никто на видео не снимал. Да и поскольку долго она не могла разродиться, никакой видеопленки не хватило бы. Акушерка уходила несколько раз помочь другим, возвращалась, принесла инструмент. Диана кричала в бреду, губы до крови искусила, сознание теряла. Акушерка ей нашатырь в нос заталкивала и по щекам лупила, чтобы в чувство привести.

— Мальчик! — перекричала она вдруг Диану. — Уморила ты меня... Еле вытащила...

Через четыре дня Моргалкина, бледная, как тень, тихо вышла из роддома со своим младенцем на руках. Никто ее не провожал и никто не встречал с цветами. Симпатичный, голубоглазый, курносый, с белесым пушком на макушке Саша спал у нее на руке, изредка причмокивая. Она принесла его домой.

Муж ее стоял возле шкафа в той же позе, в которой она его пять дней назад оставила. Он не взял сына на руки, хотя она гордо показала ему мальчика. Ничего не сказал, просто смотрел. Диана вдруг обиделась, хотя вроде бы ничего не изменилось в нем с тех пор, как они начали жить вместе и обвенчались.

Пушкин оставался таким же, только у Моргалкиной бытие обновилось. Из музея она ушла в долгосрочный отпуск. Сотрудницы скинулись и купили ей пеленок, сложив их в детскую коляску, которая у кого-то нашлась и была щедрой рукой отдана бесплатно. Тамара позвонила, хотела забежать в обед, но Диана, как всегда, воспротивилась, сказала, что лучше встретиться на сквере. Тамара прикатила Диане коляску и прибавила:

— Телепатия существует. Ибо еще у меня для тебя свеженький сюрприз!

Открыв сумочку, она извлекла полосатое авиаписьмо из США, пришедшее в музей. На конверте значилось: «Ms. Diana Morgalkin». Диана разорвала конверт. В нем оказался написанный ее собственной рукой документ об отсутствии претензий с ее стороны, к которому прилагалась следующая записка:

Извени за не отдавание этого бумагу ранше. Я был дурак попросить его. Теперь зделал себя немношко умней. Привет.

Тодд Данки.

Разговорный русский его был значительно сильнее письменного. Да и вообще без практики любой язык слабеет, выученные правильности ускользают.

— Что он там пишет? — поинтересовалась Тамара.

— Так, чепуха...

Диана разорвала письмо на мелкие кусочки и, не перечитывая, швырнула в тумбу для мусора. Тамара не обиделась, наоборот, посмотрела на нее с печалью и тихо ушла. Диана с коляской, в которую уложила Сашу, отправилась в загс, чтобы ребенка зарегистрировать: без бумажки сын — букашка, а с бумажкой — гражданин Российской Федерации.

Очередь была маленькая, но не двигалась. Оказалось, рядом в зале регистрировали браки. Саша молчал, потом стал сучить ножками и заорал — ни соска, ни грудь не помогали.

— Настоящий мужчина будет, — заметила сидевшая рядом с Дианой женщина, которая разводиться пришла. — До отчаяния доведет, тогда успокоится.

Через полчаса ее впустили. Саша, умница, угомонился. Регистраторша приветливая оказалась, сразу вынула чистый бланк свидетельства о рождении, спросила справочку из роддома, паспорт.

— Какое будет имя у новорожденного?

— Александр, — протянув справку и паспорт, прошептала Диана, на всякий случай покачивая коляску, чтобы сын опять не принялся кричать.

— Надо же, — сказала регистраторша, — сегодня уже четырнадцатый Александр. Или пятнадцатый, я со счета сбилась...

Диана никак не прореагировала, и женщина округлым почерком медленно вписала имя в бланк. Она промокнула чернила тяжелым мраморным пресс-па-

.....

пье, чтобы не размазать и, поглядев в справку из род-
дома, произнесла как само собой разумеющееся:

— Так... Фамилию напишем — Моргалкин.

— Как это — Моргалкин? — встрепенулась Диана.
— Его фамилия — Пушкин.

— Не дурачьтесь, девушка! — регистраторша пере-
стала вежливо улыбаться. — Если не ваша фамилия,
тогда нужен паспорт отца.

— Где же я вам сейчас возьму паспорт отца? — у
Дианы слезы выступили немедленно. — Если не на-
пишете Пушкин, я вообще не буду его регистрировать!

— Нельзя этого делать, — миролюбиво возразила
женщина. — Если отца нету, так и сказали бы. А то
сразу Пушкин... Святое имя трепать...

Тут мне придется сделать краткое заявление для тех
моих читателей, которые уже настроились по преды-
дущему тексту воспринимать Диану как женщину, у
которой, если сравнивать ее с более обыкновенными
представителями населения, нас окружающими, есть
в быту и в духовной сфере некоторые отклонения в ту
или другую сторону. В данном случае г-жа Моргалки-
на повела себя абсолютно адекватно и сделала то, что
сделали бы в подобном случае вы или я — жить-то надо,
без маневрирования не обойтись.

Некое объяснение Диана обдумывала не один день
(она же не на Луне живет), заготовила заранее и те-
перь, чтобы не дразнить гусей, изложила какую-то
муру о предках своего мужа из некой деревни Пуш-
кино. С мужем она состоит только в церковном бра-
ке. Время сейчас на дворе настало такое, что антире-
лигиозные реплики в российских официальных уч-
реждениях администрацией не приветствуются. Цер-
ковь теперь, как прогрессивные газеты нас поучают,
играет влияние и оказывает роль.

— Да! — не давая времени для возражений, будто вспомнила Моргалкина и, еще больше волнуясь, извлекла из коляски прикрытую клеенкой большую и красивую коробку с косметикой. — Вот тут самые необходимые документы...

Регистраторша на эту коробку с документами, переданными Диане братом из Мексики с оказией, бегло взглянула, вздохнув, поднялась, открыла сейф, всунула коробку на полку и тщательно заперла стальную дверцу. Диана с удовлетворением проводила свою коробку глазами и, продолжая покачивать коляску, произнесла:

— Отца моего ребенка зовут Пушкин, Александр Сергеевич.

— Бывают совпадения! — почти без иронии молвила женщина. — Вчера Антона Павловича Чехова зарегистрировала...

Было слышно, как скрипит перо, скользя по плотной гербовой бумаге. Тяжелое мраморное пресс-папье качнулось вправо и влево, после чего печать крепко поцеловала свидетельство, и оно оказалось в руках у Моргалкиной.

12.

Вот ведь какой парадокс: богиня Диана, она же Артемида, дочь самого Зевса, действительно была у греков охранительницей матерей. Ее покровительство обеспечивало женщинам благополучные роды. И Диане Моргалкиной она наверняка старалась помочь. Но сама мифическая богиня Диана, в отличие

.....

от многих других богинь, почему-то не рожала. Видимо, ехидный человек сочинял древние мифы, оказавшие столь серьезное влияние на человечество. Может, их создатель сам в них не верил? Завести бы богине Диане прекрасного мальчика, а не таскаться по лесам с луком и стрелами в надежде подстрелить лань. Но родить богиня почему-то не смогла. Может, не решила, от кого зачать? боялась гнева отца? или дурного предсказания? Та первая Диана была родной сестрой Аполлона, — не случайно на стене у Дианы Моргалкиной, над диваном, висела сильно запылившаяся, с точками от мух, репродукция со знаменитой картины Брюллова «Встреча Аполлона и Дианы». Пушкин на нее подолгу внимательно смотрел.

— Мой брат Аполлон — прорицатель, бог мудрости, покровитель искусства, — часто повторяла Моргалкина, прикрывая веки, будто вспоминала что-то, с ее собственным детством связанное. — Он — идеал мужской красоты и гармонии. Только таким будет наш с Пушкиным сын!

Год она кормила Сашу грудью, бегала в детскую кухню за бутылочками с молоком и творогом. Мыла мальчика и пеленала, стирала грязные пеленки по три раза на дню, сражаясь с микробами, тщательно проглаживала все утюгом, который приходилось греть на газу на кухне и бежать с ним в комнату. Диана пела песенки, терпеливо ждала, когда Саша встанет на ножки. Ждала, когда покажет пальцем на прислонившегося к шкафу Пушкина, когда заговорит и скажет ему «па-па», как она его каждый день учила. Ждала, когда попросится на горшок. Почему-то все задерживалось. Год прошел, мальчик не произнес ни единого членораздельного слога, ползал на четвереньках, на ноги вставать не хотел, сопротивлялся, кусал мать.

.....

Перед тем как отдать Сашу в ясли и вернуться в родной музей, без которого она уже тосковала, Диана, посадив сына в коляску, двинулась за справкой в детскую поликлинику. Там старая врачиха поморщилась, осмотрев мальчика, велела сделать все анализы. Еще раз ощупав Сашино тельце, выписала направление к невропатологу. Невропатолог тоже ничего толком не объяснила, только молоточком по Сашиным ножкам постучала и выписала квиточки на рентген и к психиатру.

— Зачем к психиатру-то? — спросила в тревоге Диана. — Я вполне нормальная, отец тоже...

Невропатолог посмотрела на Диану внимательно и как-то невнятно объяснила:

— Мальчик медленно развивается. Все что угодно может быть... Может, алкогольное зачатие... Или генетический дефект... Где работаете?

— Я музейный работник...

— Никогда не облучались?

— В музее что ли?

— Мало ли... Теперь где угодно можно облучиться, хоть в трамвае... Короче говоря, надо мальчика обследовать, тогда видней будет...

Принялись Сашу обследовать, и психиатр — как обухом Диане по голове. Сперва диагноз звучал так: «Олигофрения невыясненной этиологии, проблематично связанная с родовой травмой (щипцы)». Потом, при следующем визите, диагноз еще более ухудшился: «Болезнь Дауна, патология эмбриогенеза». Наконец в истории болезни появилось слово «имбецил», прочитав которое, Моргалкина чуть не потеряла сознание, потому что в промежутке между визитами уже книжки полистала, и там черным по белому писано про таких, что это «ребенок-идиот».

.....

— Боже мой, несчастье-то какое! — причитала она вслух по дороге домой, катя коляску и таща на руках потяжелевшего Сашу. — Какая беда на меня свалилась... За что это, Господи!..

Прохожие на нее оглядывались.

Нескончаемые хождения Дианы по поликлиникам только обнадеживали, но положительные результаты никак не проявлялись. Одни советовали массажи, другие чудодейственные средства из Тибета и акульи плавники, третьи говорили, что лучше всего специалистов-дефектологов нанять за наличные деньги и они будут с утра до вечера Сашу развивать. Где же средства взять? Тут уж никакой брат из Мексики не в состоянии помочь. Только результаты, четвертые советчики шептали ей, или будут небольшие и не скоро, или вовсе их не будет.

Диана металась. Пошла в церковь, молилась, молилась неистово, но это пока никак не помогло. Она жила по инерции, крутилась, как всегда, однако это была не жизнь. По ночам плакала, когда Саша спал, сидела возле него, уставясь в одну точку. Под утро проваливалась в сон. Черный тоннель привиделся ей, и она идет, не видя, не слыша. Саша у нее на руках, и Пушкин рядом с ней бредет молча. Шаги ее все быстрее, кто-то ее нагоняет, и тут молния, гром... Она проснулась от крика Саши. Он лежал мокрый. Глянула на календарь, приколотый булавкой к стене — 29 января, день смерти Пушкина.

Хотя для Моргалкиной Пушкин всегда был живой, день этот для нее и для всех сотрудников музея значился траурным. С утра ее самое и всю ее комнату обволокла скорбь. Весь день прошел нервно. Диана места себе не находила. Металась по комнате, вымыла пол, чего года три не делала, мебель передвинула, чуть шкаф на себя не опрокинув, но от всего этого легче не стало. Пушкин, прислоненный к стене, смотрел на происхо-

дишее с равнодушием. Саша кричал так, что у нее разболелась голова.

— Да успокой ты его! — ворчала на нее в кухне соседка. — Ночью сама рыдает — через стенку слышать и не заснуть, днем ребенок. Житья в квартире не стало!

Вечером Саша затих и уснул, Моргалкина немного успокоилась. Она села за стол, взяла свой дневник, который аккуратно вела много лет, стала перелистывать, вчитываясь в отдельные места. Потом решительно вскочила, разорвала тетрадь страницу за страницей на мелкие кусочки и выбросила в мусорное ведро. Чтобы никто не попытался извлечь и прочитать, вылила на клочки бутылку подсолнечного масла.

— Одна, печальна под окном,
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит, —

бормотала она. За окном было не поле темное, а тускло освещенная фонарями Миллионная улица. Пустой автобус, выбросив клуб серого дыма, с ревом сворачивал в проулок. Улицу покрыл снег. Машины оставляли за собой черные полосы мокрого асфальта. И лучом Диане озарять было некого.

— Ну скажи мне что-нибудь! — в исступлении крикнула она Пушкину. — Ты же отец, глава семьи!

Она стояла, протянув к нему руки, прося о помощи. Почему ее так обделила жизнь? Куда скрыться, чтобы никто не мешал, не топал грязными сапогами, не говорил глупостей о страшных болезнях, чтобы не видеть никого и обрести, наконец, с мужем и сыном полное счастье?

.....

Сперва он по-прежнему молча смотрел на нее и вдруг усмехнулся. Он ждал от нее чего-то. Она всегда действовала в его интересах, но теперь поняла: он и его сын требуют от нее еще больше любви, слияния, проникновения в мир, где находится он, мир холодного дерева и покоя. Нет другого выхода. Внезапно она осознала свою роль и свою ответственность.

На часах было около одиннадцати, когда Моргалкина это окончательно поняла. Молча, стиснув зубы, не торопясь, аккуратно одела и обула сонного Сашу, который на этот раз не сопротивлялся, закуталась в пальто сама. Прижимая одной рукой мальчика, она подхватила другой рукой фанерный контур, одетый в темно-зеленый камер-юнкерский мундир, и Пушкин послушно уткнулся ей в ухо. Дверь в свою комнату Диана тщательно заперла, спустилась в лифте и выбросила ключи в помойку.

Она бежала в ночь. Прохожих не встречалось. По темному коридору улицы летел ей навстречу смешанный с дождем мокрый снег, поддуваемый ветром с залива. Фонари едва просвечивались сквозь метель.

На Дворцовой набережной от прожекторов на крышах стало немного светлее, но ветер и дождь усилились. Диана приостановилась возле скользких гранитных ступеней, ведущих вниз, оглянулась. Никто ее не видел. Она сделала несколько нетвердых шагов по ковраму, припорошенному свежим снегом льду Невы. Вдали светился желтыми огнями шпиль Петропавловской крепости. Она спешила туда. Лед был твердый, бугристый, и она побежала, то и дело спотыкаясь, прижимая к себе одной рукой Сашу, другой Пушкина.

Впереди зияла трещина с черной водой.

Два спецназовца с автоматами на шее тяжело топтали по пустынной Дворцовой набережной и оста-

новились закурить. Спичку от ветра и дождя прикрыли четырьмя ладонями. Когда задымили, тот из них, что смотрел на Неву, молча указал подбородком другому: темная фигурка двигалась поперек реки в сторону Петропавловки. Почему не по мосту, ведь мосты не разведены? Да и нельзя перейти: в фарватере полынья — вчера ночью ледокол пробил.

Парни перевесили автоматы за плечи, перемахнули через чугунную ограду и побежали по льду. Один сигарету выбросил, у другого она прилипла к нижней губе. Бежали они осторожно, мягко ступая на лед, иногда проваливаясь в лунки, наполненные снегом.

— Баба, да еще с ребенком, — углядел один.

— И еще кто с ней? — второй продолжал на ходу попыхивать сигаретой. — Доска вроде какая-то... Может, краденая?.. Эй, девушка, назад! Дуреха! Там прохода нету!

Услышав крики, Моргалкина в панике оглянулась. Двое бегут к ней. Она заметалась, испугавшись, что помешают, не допустят ее к собственному счастью, заспешила вперед, едва не падая. Они вот уже, рядом.

— Назад! Тут лед слабый, не выдержит, — донеслось до нее.

Куски льда плавали у кромки, качаясь на волнах. Диана застыла на миг с широко раскрытыми глазами. В обнимку с Пушкиным и Сашей она резко шагнула вперед, в черную мглу. Ощутила ледяную воду, приникла губами к холодным губам мужа и, опускаясь вниз, застонала, почувствовав полное соединение с ним, какого у нее раньше не наступало. Пушкин смотрел вдаль, на подбегающих спецназовцев.

Первый парень добежал, рванул за шиворот ребенка у нее из руки. Уходя в воду, Диана оглянулась, крикнула:

— Отдайте!

Взмахнула свободной рукой, пытаясь забрать с собой выхваченного из ее рук сына, но только проводила его глазами. Второй парень протянул руку, стремясь ухватить Диану за рукав, но льдина под ним начала крошиться, и он, разжав пальцы, упал на спину, чтобы не уйти под лед. Вода колыхнулась, хлюпнула, льдины закачались, накренились, раздвинулись и опять сошлись.

Парни отступили подальше от хрустящей кромки и стояли в растерянности. Доложили по радиации начальству и с ребенком на руках, подгоняемые в спины ветром со снегом, молча затопали к берегу.

Фанерного Пушкина, ушедшего под лед в обнимку с Дианой, в устье Невы подцепили рыболовы. Камерюнкерское одеяние вода унесла, парик смыло, и голова стала лысой, краска от дерева отслоилась, вытащили на берег грязный деревянный силуэт. Рыболовы решили было, что это Ленин, выброшенный после недавней демонстрации красных. Но тут обратили внимание на сучок, торчащий пониже пояса.

— Глянь-ка, разве ж у Ленина такая штука была? — задумался один из рыболовной компании. — Ведь он же бездетный...

Он отломал сучок и бросил в костер.

Народец на берегу поспорил немного, но так и не решил загадку. Начали рубить фанерное изваяние на куски, чтобы использовать для костра. Намокшая фанера гореть не хотела, дымилась, вода капала на сухие дрова. Пришлось мокрые куски из огня вытащить. Их побросали обратно в реку, и течение унесло обломки в залив.

Труп Дианы Моргалкиной не обнаружили. Похоже не было.

13.

Тодд Данки вымучил свою диссертацию о феминистских тенденциях в произведениях Пушкина, и профессор Верстакян ее одобрил. Я тоже к этому скрипя сердце руку приложил: диссертация-то выеденного яйца не стоила, но Тодд — хороший парень, коллега Верстакян просил его поддержать. Престижное издательство «New Academic Press» согласилось издать книгу молодого ученого Тодда Данки о Пушкине под скромным названием «Первый русский феминист».

На уплотненном рынке университетского труда для столь перспективного слависта нашлось теплое местечко на кафедре иностранных языков в маленьком частном колледже в кукурузном штате Канзас, где Тодда допустили участвовать в конкурсе на должность ассистента профессора, чтобы преподавать там русский язык для начинающих. Он собрался ехать отдохнуть в Грецию: друзья его с улицы Монро договорились взять там на две недели яхту, чтобы поплавать между островами. Неожиданно Тодд передумал.

Никому не сказав ни слова, Данки отстоял очередь в российском консульстве в Сан-Франциско, купил разовую визу, взял билет на «Дельту» и в середине июля с пересадками в Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорке и Франкфурте-на-Майне прилетел в Петербург.

Звонить из Пулкова местным приятелям он не стал, боясь, что опять утонет в беспробудной пьянке, он ведь твердо решил завязать. Автобус привез его к Московскому вокзалу. На табло светилось «13:50». День был облачный и потому не жаркий. Данки за-

кинул чемодан в камеру хранения и вышел на Невский, в чем летел: в джинсах и мятой белой майке. Сонный после перелета, он отправился просто прогуляться и заодно снять номер в какой-нибудь не самой дорогой гостинице. Но через полчаса ноги привели его на Мойку, к дому 12.

Всё в истории повторяется, но иногда обновляются действующие лица. Молоденькая новая кассирша в музее сказала, что Дианы Моргалкиной нет.

— Где она?

— Сказано, нету! — кассирша не стала распространяться перед неизвестным ей иностранцем.

— А Тамара? Тамара работает?

— Тамара ведет экскурсию, ждите.

— Я ее найду.

Тодд было двинулся внутрь.

— Без билета нельзя, молодой человек! Сперва билет возьмите.

Прочитав надпись о новой цене билетов, он протянул купюру кассирше. Она посмотрела ее на свет и убрала в железный ящик.

В кабинете у Пушкина Тодд очутился позади большой группы школьников. Никаких сантиментов по поводу происшедшего с ним в этой комнате он сейчас не испытывал. Он так и не женился, но какие-то соединения осуществлял теперь периодически, нельзя же совсем без этого. Тамара заканчивала экскурсию, скороговоркой сообщая сведения о последних часах раненного на дуэли поэта. Данки никогда Тамару не видел, но она, хотя углядела его всего раз, да и то мельком, едва Тодд приблизился, неизвестным науке женским чутьем сразу его вычислила.

Завершив тур, она увела Тодда, направляя его за локоть, в служебную комнатенку, мимоходом гляну-

ла на себя в зеркало, пальцем обвела нижнюю губу, поправляя помаду, спросила:

— Вам Диану?

Он молча кивнул.

— Разве не знате? Она же умерла.

— Как это — умерла?!

— Руки на себя наложила. Вы же знаете, она чокнутая была...

— Что это — «чокнутая»? — не понял он.

— Ну, со странностями. Психика у нее была слегка того... А мальчик...

— Мальчик?

Данки привалился к стене и поднял руки, словно защищался от удара.

— Какой мальчик?

— Разве она вам не писала? Ребенок, которого она родила...

Тод поискал глазами стул, сел на него, наконец выдавил вопрос:

— Когда?

— Как это — когда?! Тогда! Мальчика забрали в детприемник. Он же числился без отца и остался без матери. Да еще больной.

— Больной как... то есть, чем?

— Не знаю точно... Может, наследственное...

Тамара изучающе на него смотрела. Тодд прикусил губу и долго молчал. Наконец спросил:

— Можно его увидеть?

— Сашу? Тогда подождите полчаса. Вернусь — попробую помочь...

Она убежала на следующую экскурсию. Тодд сидел в комнате, ждал. Входявшие женщины его оглядывали, уходили, шептались. Кто-то предложил ему пиалу чаю. Тамара вернулась, стала звонить

.....

куда-то, в конце концов записала адрес и протянула Данки.

— Найдёте?

— Покажу таксисту. Он, наверно, довезет.

— Good luck! — Тамара блеснула эрудицией, погладила его по плечу и даже приложила щекой к жидкой его бороде.

Из такси Данки вылез на окраине города перед каменной стеной, местами сильно обвалившейся.

— Во-он вход, за деревьями, — таксист показал пальцем, развернулся и уехал.

Ржавые железные ворота, когда-то покрашенные зеленой краской, оказались обмотанными цепью. Тодд толкнул калитку — она оказалась не заперта, закрипела и уперлась в землю. Он пролез в щель и потопал во двор, переступая через лужи, по тропинке, заросшей подорожником. Дом выступил из пышной пыльной зелени старый, примерно такой, как их дом в Пало-Алто, только, судя по шуму, крикам и лицам, выглядывающим из окон, населения в нем было раз в десять больше, чем у них во время тусовки. Его провели к заведующей.

Женщина без возраста, со старомодной косой, уложенной вокруг головы, одетая в когда-то белый халат, на Тодда даже не взглянула, не хотела разговаривать, буркнула, что некогда, прием посетителей завтра. Данки еще в прошлый приезд накопил кое-какой опыт сотрудничества с местными учреждениями, вынул из бумажника две двадчатки, положил перед ней. Она выдвинула ящик стола, смахнула туда деньги.

— Вы ему как — родственник?

— Я его биологический отец.

— Ишь ты! — скривила рот заведующая. — Биологический... Как же это вы ухитрились из Америки? По почте что ль?

— Да вот, — смутился Тодд, — так получилось...

Она и не ждала другого ответа, может, и вообще ответа не ждала. Больше ничего не произнесла, только шумно воздух в нос втянула, осуждая аморальность, имеющую быть на земном шаре, и вышла из комнаты, оставив дверь открытой.

Данки поглядел в окно, на подоконник, загаженный голубиным пометом и пухом. Узкий кусок неба, видный сквозь ветви, прояснился, но солнце в кабинет не пробивалось из-за тополей, росших вплотную к стенам.

В ожидании прошло с четверть часа. Тодд услышал шаги и повернулся.

Белобрысый мальчик, нескладный, с непомерно большой головой неправильной формы, похожей на чайник вверх дном, пошатываясь и волоча ноги, вошел в дверь, выставив руки вперед, словно опирался о воздух, чтобы не упасть.

— Вот ваш Александр Пушкин, — представила заведующая безо всякой иронии. — Выходит, хотя и дебилный, но все-таки наполовину американец?

— Привет, — дружелюбно сказал Тодд ребенку.

Мальчик не ответил и глядел мимо бесцветными, водянистыми глазами.

— Тебя Саша зовут, не так ли? — спросил Тодд.

Саша опять не прореагировал. Заведующая застыла в дверях и, не проявляя никаких чувств, смотрела пристально то на одного, то на другого. Вздохнув, она прошла к столу, оперлась о него двумя кулаками и изобразила нечто отдаленно похожее на улыбку.

— Сдается мне, и вправду похож. Вы, надеюсь, женаты?

— Что? — не расслышал или не понял Тодд.

— Я говорю: надо согласие жены.

— Нет, я не женат... Приехал вот, чтобы жениться на его матери, а она...

— Она была да сплыла... Ну что ж... Оформим усыновление, все по закону. Вам это обойдется в три тысячи долларов. Государству, конечно, не мне... Вообще-то он не совсем здоровый.

Тодд приоткрыл рот, всему удивленный, а она поняла это как вопрос. Повернулась к шкафу красного дерева с резными дверцами, неизвестно как тут очутившемуся, скорей всего от старых, настоящих хозяев дозаворужной поры. Заведующая вытянула с полки папку, бросила на стол, полистала.

— Ага, вот, — продолжила она, ткнув палец в бумагу. — Гидроцефалия у ребенка.

— Что-что? — опять не понял Тодд.

— Чего же вы по-русски так плохо понимаете? — не сдержала она раздражения, о чем тут же и пожалела.

— Извините, — смущенно промямлил он, несколько не обидевшись.

— Ладно уж, — пробурчала она, перелистнув пару страниц в папке, пробежала глазами по строкам, но что там было написано, не сказала, захлопнула папку и подвела оптимистический итог: — Чем черт не шутит, глядишь — у вас там в Америке его подлечат. Тогда в подростковом возрасте не умрет...

Женщина ждала от Тодда ответа. Он стоял в растерянности.

Саша смотрел в окно на взмахивающего крыльями голубя, севшего на подоконник, и то поднимал, то опускал руки: то ли делал физзарядку, то ли, подражая голубю, тоже собирался взлететь. Мальчик произнес что-то вроде «ва-ва-ва» и притих.

— Нюра! — крикнула заведующая. — Поменяй ему!
Вошла толстозадая нянька с выражением вселенской усталости на лице. Ворча, ловкими движениями она стащила с мальчика мокрые штаны, бросила их на пол, вынула из кармана халата другие и надела ему.

Тодд продолжал молчать, и заведующая, устав ждать ответа, заторопила его, постучав пальцами по столу:

— Ну что, гражданин хороший? Начнем оформлять, или как?

1997–1999,
Дейвис, Калифорния

Содержание

Суперженщина, или Золотая корона
для моей girlfriend

Роман

5

Виза в позавчера

Роман

247

Вторая жена Пушкина

Микророман

439

.....

Издательский Дом «ПоРог»

Генеральный директор

Нели Барановская

Художественный редактор

Манана Потёмкина

Художественное оформление

Игорь Резников

Подписано к печати 10.04.06

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная

Печать офсетная. Печ. л. 16,5

Тираж 3000 экз. Заказ № 0604730

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



Начните читать этот томик с конца: там микророман «Вторая жена Пушкина» – то ли дикая реальность, то ли бред, то ли розыгрыш. Если почувствуете вкус хорошей современной прозы, обратитесь к началу, к плутовскому роману «Суперженщина, или Золотая корона для моей girlfriend». Ни в коем случае не верьте тому, о чем пишет автор, ибо он большой мистификатор. Впрочем, иногда ему удается быть и до слез серьезным, например, в романе «Виза в позавчера».

«Два с половиной романа» изданы в Москве, а их автор живет в Калифорнии, вблизи Тихого океана, там, где когда-то была золотая лихорадка. Книги Дружникова выходят в разных странах.

Это «Донощик 001, или Вознесение Павлика Морозова», «Ангелы на кончике иглы», «Узник России», «Дуэль с пушкинистами», «Я родился в очереди», «Там - это вам не тут!».

Романист, историк литературы, актер (снялся в роли писателя в американском фильме) и юморист, сочиняющий злые рассказы, – таково краткое дружниковское досье.

